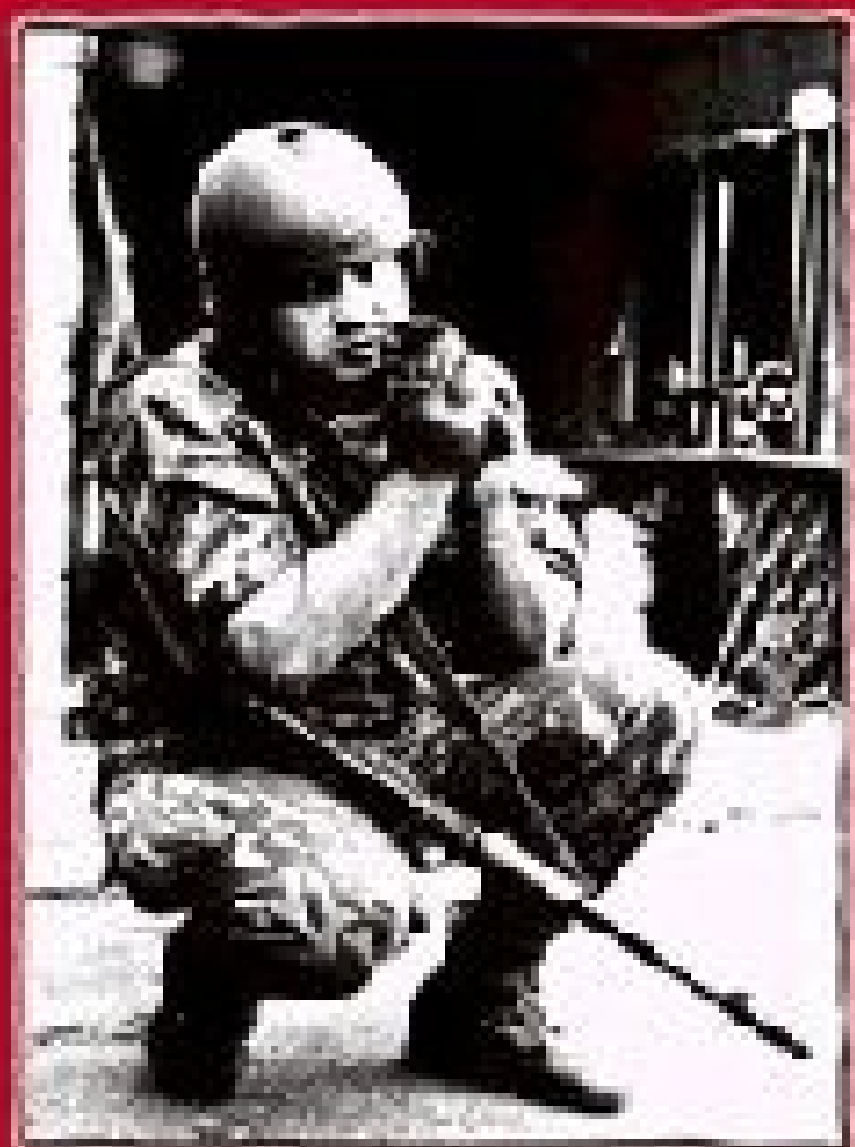


Мир

ART OF WAR

Захар Прилепин

ПАТОЛОГИИ



Annotation

Отряд спецназа работает в Чечне...

Эта книга - не боевик, а предельно откровенный рассказ о реальной военной работе, суть которой составляет взаимоуничтожение сражающихся людей.

Еще до выхода романа, его рукопись читали ветераны, воевавшие в Чечне в разных родах войск и в разных должностях. Прочитав, они повторяли почти дословно: «Будто снова попадаешь туда. Все оживает в памяти: конкретные события, образы, звуки, запахи, вкусы...»

И удивительно органично в это повествование вплетается такая же откровенная повесть о неистовой, сумасшедшей любви.

Как же так получается, что ни яростный выпад юного героя против Бога, ни жестокие военные эпизоды, ни безумные поступки влюбленного ревнивца не превращают эту книгу в сгусток надоевшей чернухи? Почему этот роман после пережитого читателем потрясения оставляет ощущение просветления?...

- [Захар Прилепин](#)
 - [Послесловие](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
-

Захар Прилепин
ПАТОЛОГИИ

Послесловие

Проезжая мост, я часто мучаюсь одним и тем же видением.

...Святой Спас стоит на двух берегах. На одной стороне реки - наш дом. Мы ежесубботне ездим на другую сторону, побродить меж книжных развалов, расположившихся в парке у набережной.

За лотками стоят хмурые пенсионеры, торгующие дешёвой, сурового вида классикой и дорогой «макулатурой» в отвратных обложках.

Большим пальцем левой руки я приподнимаю корки разложенных на лотке книг. Мою правую руку держит мой славный приёмщик, трехлетний господин в красной кепке и бутсах, обильно развесивших белые, пухлые шнурки. Он знает несколько важных слов, он умеет хлопать глазами, у него богатая и честная мимика, мы в восторге друг от друга, хотя он этого никак не выражает. Мы знакомы уже полтора года, и он уверен, что я его отец.

Сидя на набережной, мы едим мороженое и смотрим на воду. Она течёт.

- Когда она утечёт? - спрашивает мальчик.

«Когда она утечёт, мы умрём», - думаю я, и ещё не боясь напугать его, произношу свою мысль вслух. Он принимает мои слова за ответ.

- А это скоро? - видимо, его интересует, насколько быстро утечёт вода.

- Да нет, не очень скоро, - отвечаю я, так и не определив для себя, о чем я говорю, - о смерти или о движении реки.

Мы доедаем мороженое. Он раскрывает рот, чтобы сцапать последние сладко размякшие, выдавленные из вафельного стаканчика сгустки мороженого. Раскромсанную, в белых каплях вафлю доедаю я.

- Кусьно, - констатирует малыш.

Вытираю ему платком липкие лапки, почему-то в грязных подтеках липкие щеки и поднимаюсь уходить.

- Давай ещё подождём? - предлагает он.

- Чего?

- Подождём, пока утечёт.

- Ну, давай.

Он сосредоточенно смотрит на воду. Она все ещё течет.

Потом мы садимся в маршрутку, маленький автобус на двадцать

персон, плюс водитель, виртуозно рулящий и одновременно обилечивающий пассажиров, во рту его дымится папироса, но пепел никогда не упадёт ему на брюки, - пепел, достигнув критической точки опадания, рассыпется за окном, обвалившись на ветру с сигареты, вовремя вынесенный рукой водителя на безопасное расстояние.

Иногда я сомневаюсь в виртуозности водителя. Когда мы, двое очаровательных мужчин, я и приёмыш, путешествуем по городу, я сомневаюсь во всём. Я сомневаюсь в том, что цветочные горшки не опадают с балконов, а дворняги не кидаются на людей, я сомневаюсь в том, что оборванный в прошлом месяце провод телеграфного столба не дает ток, а канализационные люки не проваливаются, открывая кипящую тьму. Мы бережёмся всего. Мальчик доверяет мне, разве я вправе его подвести?

В том числе, я сомневаюсь в виртуозности водителя маршрутки. Но сказать, что я сомневаюсь, мало. Ужас, схожий с предрвотными ощущениями, сводит мои небритые скулы, и руки мои прижимают трехлетнее с цыплячьими косточками тело, и пальцы мои касаются его рук, мочек ушей, лба, я проверяю, что он тёплый, родной, мой, здесь, рядом, на коленях, единственный, неповторимый, смешной, строгий, и он отводит мою руку недовольно, - я мешаю ему смотреть, как течёт, - мы едем по мосту.

И меня мучает видение. Водитель выносит руку с сигаретой, увенчанной пеплом, за окно, бросает мимолетный взгляд в зеркало заднего вида, пытаюсь прикинуть, кто ещё не заплатил за проезд, правая нога машинально давит на газ, потому что глаза его, сотую часть секунды назад, уже передали в мозг донесение о том, что дорога на ближайшие сто метров пуста, - все легковые машины ушли вперед. Он выносит руку с сигаретой, давит на газ, смотрит в зеркало заднего вида, и не знает, что спустя мгновение его автобус вылетит на бордюр. Быть может, автобус свернул из-за того, что колесо угодило в неизвестно откуда взявшуюся яму, быть может, на дорогу выбежала собака, и водитель неверно среагировал, - я не знаю.

Визг женщины возвращает глаза водителя на дорогу, которая уходит, ушла резко вправо, и он уже не слышит крик пассажиров, он видит небо, потому что маршрутка встаёт на дыбы, и, как нам кажется... ме-длен-но... но на самом деле мгновенно, - отвратительно, как воротами в ад, лязгнув брюхом автобуса о железо ограды, то ли переваливается за нее, то ли просто эту ограду сносит.

Вода течёт. До нее тридцать метров.

Я увидел всё раньше, чем закричавшая женщина. Я сидел рядом с водителем, справа от него, на этом месте должен был сидеть кондуктор, если бы автопарк не экономил на его должности. Я всегда сажусь на место отсутствующего кондуктора, если я с малышом. Когда я один, я сажусь куда угодно, потому что со мной никогда ничего не случится.

В ту секунду, когда водитель потерял управление, я перехватил мальчика, просунув правую руку ему под грудку, и накрепко зацепился пальцами за джинс своей куртки. Одновременно я охватил левой рукой тот поручень, за который держатся выходящие пассажиры, сжав его между кистью и бицепсом. В следующую секунду, когда автобус, как нам казалось, медленно встал на дыбы, я крикнул водителю, тщетно выправляющему руль, и переносящему ногу с газа на тормоз:

- Открой дверь!

Он открыл ее, когда автобус уже падал вниз. Он не подвёл нас. Хотя, возможно, он открыл ее случайно, упав по инерции грудью на руль, и в ужасе упершись руками в приборы и кнопки. Несмотря на крик, поднявшийся в салоне, - кричали даже мужчины, только мой приёмьш молчал, - не смотря на то, что с задних сидений, будто грибы из кашолки, на лобовуху салона загремели люди, и кто-то из пассажиров пробил головой стекло, итак, не смотря на шум, я услышал звук открываемой двери, - предваряющийся шипом, заключающийся стуком о поручень, и представляющий собой, будто бы рывок железной мышцы. Я даже не повернул голову на этот звук.

Автобус сделал первый кувырок, и я увидел, как пенсионерка, так долго сетовавшая на платный проезд две остановки назад, как кукла кувыркнулась в воздухе, взмахнув старческими жирными, розовыми ногами и ударилась головой о... я думал, что это потолок, но это уже пол.

Мы, я и мальчик, съехали вверх по поручню, я нагнул голову, принял удар о потолок затылком и спиной, отчетливо чувствуя, что темечко ребенка упирается мне в щёку, в ту же секунду ударился задом о сиденье, завалился на бок, на другой и, наконец, едва не вырвал себе левую руку, когда автобус упал на воду.

Ледяная вода хлынула отовсюду одновременно. Один мужчина, с располосованным и розовым лицом, будто сахаром, посыпанным стеклянной пылью, рванул в открытую дверь, и мгновенно был унесен в конец салона водой, настолько холодной, что показалось - она кипит.

Я дышал, и дышал, и дышал, до головокружения. Я смотрел в форточку напротив, в которую как ведьма, просовывала голову жадная вода. Помню ещё, как один из пассажиров, мужчина, карабкаясь на полу, на очередном

томном, уже подводном повороте автобуса, крепко схватил меня за ноги, зло впился в мякоть моих икр, ища опоры. Я закрыл глаза, потому что сверху и сбоку меня заливала вода, и наугад ударил его ногой в лицо. Здесь я понял, что воздуха в салоне больше нет, и пальцами ног, дергаясь и торопясь, стянул с себя ботинки.

Автобус набирал скорость. Я открыл глаза. Автобус шел на дно, мордой вниз. Я догадался об этом. В салоне была мутная тьма. Справа от меня, на лобовухе, лежали несколько, - пять, или шесть, или даже больше пассажиров. Я почувствовал, что они дергаются, что они движутся. Кто-то лежал на полу и тоже двигался, я поднял ноги вверх и понял и по их относительной неподвижности, что вода больше не течет в салон, потому что он полон.

Мальчик недвижно сидел у меня на руках, словно заснул.

Я повернул голову налево, и увидел, что дверь открыта, и, толкнувшись от кого-то под ногами, развернулся на поручне, схватился левой рукой за дверь, за железный косяк, ещё за что-то, видимо где-то там же начисто сорвал ноготь среднего пальца, изо всех уже казалось последних сил, дрыгая ногами, иногда впустую, иногда во что-то попадая, двигался куда-то, и неожиданно увидел, как автобус подобно подводному метеориту, ушёл вниз, и мы остались с малышом в ледяной воде, посередине реки, потерянные миром.

Тьма была волнистой и дурной на вкус, только потом я понял, что, кувыряясь в автобусе, я прокусил щеку и кусок мякоти переваливался у меня во рту, где как полоумный атлант упирался в небо мой живой и розовый язык, будто пытающийся меня поднять усилием своей единственной мышцы.

Если бы я мог, я закричал. Если бы задумался на секунду, - сошёл с ума.

Подняв голову, я увидел свет. Наверное, никому солнце на кажется настолько далёким, как ещё не потерявшему надежды вынырнуть утопленнику.

Как легко, пацанами, мы, с моими закадычными, веснушчатыми дружками, носили на руках друг друга, бродя по горло в воде нашего мутного деревенского пруда. Казалось, что вода обезвешивает любую тяжесть.

Какая глупость!

Судорожно дергая ногами и свободной рукой, отбиваясь так же

безысходно и безнадежно от бесконечной мертвящей воды, как отбивался бы от космоса, я почувствовал, что не в силах плыть вверх, что не могу тащить на себе свои налипшие джинсы, свою куртку, свою майку, пышные наряды моего обвисшего на руке ребенка.

Не имело смысла сетовать, что я потеряю несколько десятков секунд на то, что бы снять хотя бы куртку. Если б я ее не снял, через пару минут мы нагнали бы автобус с агонизирующими пассажирами.

Не переставая дрыгать ногами, но поднимаясь в тягучую высь, думается, не более пяти сантиметров в секунду, поддерживая мальчика левой рукой за живот, я попытался вылезти свободной правой рукой из рукава. Бесполезно...

Левой рукой, в пальцах которой был намертво зацеплен мой приёмьш, я дотянулся до правой. Большим пальцем левой я зацепился за правый засученный рукав куртки, сделал несколько нервных, высвобождающихся движений правой рукой, и снова понял, что это бесполезно. Куртку мне не снять.

И тут меня осенило. Я дотянулся левой рукой до лица, и схватил мальчика в зубы, за шиворот.

...Через три секунду снятая куртка, покачиваясь, поплыла вниз.

Какое счастье иметь две свободных руки! Я сделал несколько рывковых взмахов обеими руками, и снова отвлекся на секунду от плавания, чтобы снять роскошные буцы моего мальчика. Я не видел, как они полетели нагонять мою куртку, но почувствовал, что сам немедленно ухожу вниз, и больше попыток растелешить себя и чадо не повторял.

Я бился о воду, я рвал ее на части, я грёб, и грёб, и грёб.

В какой-то момент я понял, что голову мою выворачивает наизнанку. Будто со стороны я увидел её, вывернутую как резиновый мяч, - шмоток размягченных костей, украшенных холодным ляпком мозга, ушными раковинами, синим глупым языком... и челюстью, в который был зажат кусок джинса.

Я извивался в воде как гнида, я вымаливал у нее окончания, я жил последние секунды, и никакая сила не заставила бы меня разжать зубы.

Я никогда не догадывался, что вода настолько твердая субстанция. Каждый взмах рук давался мне болезненным, разрывающим капилляры, рвущим мышцы, выламывающим суставы усилием.

Затылок мой саднило от тяжести, и рот мой обильно кровоточил. Сердце моё лопалось при каждом взмахе рук.

Задыхаясь, я уже не делал широких, полных движений руками и ногами, - я сучил всеми конечностями. Я уже не плыл: я агонизировал.

Не помню, как очутился на поверхности воды. Последние мгновения я двигался в полной тьме, и вокруг меня не было жидкости, но было - мясо, - кровавое, тёплое, сочащееся, такое уютное, сжимающее мою голову, ломающее мне кости черепа, деформирующее мою недоразвитую, склизкую голову... Был слышен непрерывный крик роженицы.

Всплыв, я, каюсь, разжал зубы, - разжал зубы и вдохнул, два моих расправившихся легких могли принять себя всю атмосферу. Но тут же все исчезло, - я снова пошел на дно.

Только потом я понял, почему это произошло: разжав зубы, я выпустил ребенка; мои, существующие сами по себе, со сведенными на смерть мышцами, руки, тут же схватили его, но тело моё некому было, кроме них, держать на поверхности, потому что ноги мои висели как две дохлых рыбы с отбитыми внутренностями.

Даже не знаю, чем я шевелил, дергал, дрыгал на этот раз, какой конечностью, - хвостом ли, плавниками, крыльями, но уже не мог я, - увидевший солнце, покинуть его снова.

И оно явилось мне.

Я вдохнул ещё раз. Я вдохнул ещё несколько раз и прикоснулся губами к темени моего ребенка, - оно было сырым и холодным.

Я лёг на спину и обхватил его за грудь. Лево́й рукой я принялся за свои джинсы. Ремень, пуговица, ширинка... Одно бедро, другое... Это отняло у меня несколько минут. Джинсы застряли у меня на коленях, и я дергал ногами, и понимал, что снова тону, что не могу больше, и по лицу моему беспрестанно текли слёзы.

Мы опять пошли под воду, но здесь это случилось уже в состоянии, которое отдаленно можно назвать «сознанием». Я успел глотнуть воздуха, и под водой снова взял мальчика в зубы. Обоими руками стянул джинсы, как оказалось, вместе с исподним, и снова судорожно вылез вверх. Наверху ничего не изменилось.

На берегу стояли люди. На балконах домов у реки тоже стояли люди. И на мосту стояли люди, вышедшие из машин. Вдоль ограды на мосту, лая, бегала вислоухая дворняжка. Кто-то закричал:

- ...ребёнок!

Кто-то уже плыл к нам на лодке, а кто-то вплавь. Но я ничего не видел и не слышал.

Нас несло течением, и я начал раздевать своего тяжелого как смертный грех, ребёнка. Курточка, синяя, с отличным зелёным мишкой на спине. Голубенькие джинсики, заплатанные колготки. Свитерок всех цветов

счастья, оранжевый и розовый и желтый, махровенький, я оставил, не в силах с ним справиться.

Вскоре меня подхватили чьи-то руки, и нас втащили в лодку.

- Дайте ребёнка! - попросила меня женщина в белом халате. Лодочник без усилия разжал мои руки.

Всхлипывая, я смотрел за женщиной, как она заново творила жизнь ребёнку. Через несколько минут у него изо рта и из носа пошла вода.

Выгружаемся. Вскрытое брюхо «борта» кишит пацанами в камуфляже. Десятки ящиков с патронами и гранатами, тушенка и рыбные консервы, водка, мешки макарон. Какие-то бидоны. Печка-буржуйка...

Грязные солдаты, срочники, с затравленными глазами курят «Астру», сидят на брезенте, смотрят на нас. Юные пацаны, руки с тонкими запястьями в чёрных разводах.

Мы всю дорогу играли в карты. Я в паре с полукровкой-чеченцем по имени Хасан. Он блондин с рыжей щетиной; нос с горбинкой и глаза на выкате выдают породу.

Хасан после армии не вернулся в Грозный, где родился, учился и всё такое. Святой Спас, так называется город, откуда мы приехали, - здесь Хасан нашёл себе невесту и остался жить. Сменил паспорт, взял русское имя. Парни все равно зовут его Хасан. Потому что он нохча - чеченец. Теперь Хасан в составе русского спецназа едет навестить родной Грозный, быть может, пострелять в своих одноклассников. Мы с ним командуем отделениями в одном взводе. Наш взводный - Шея. Кличут его так - у него голова и шея равны в диаметре. Не потому что голова маленькая, а потому что шея бычья.

Взводный спрашивает:

- Хасан, как ты в своих будешь стрелять?

Хасан смеется.

- Вот так, - говорит, - Пиф! Паф!

Он хитрый. Мы всех обыграли в карты, пока летели. Потом самолет загудел, задрожал и пошел на посадку. Мы спрятали карты. Пристегнули рожки, кто-то перекрестился. Вышли, оказалось - Моздок, до войны отсюда ещё далеко.

Мы с Хасаном отправились отлить, пока парни разгружали «борт». Выкурили возле деревянного туалета по паре сигарет.

Вернувшись, хватаем пустой бидон, и несем, нарочно подгибая колени, будто бидон тяжёлый. Возвращаемся к самолету по нелепой окружности. Пацаны все уже мокрые от усталости. Мы с Хасаном опять выбираем что полегче. Я замешкался с ящиком, и в это время Хасана унесло за водой. Он один знает, где вода, - вода на вокзале в кране, сейчас он придёт и напоит всех страждущих. Как раз, когда разгрузят весь «борт» придёт и принесёт пластиковую бутылку с водой.

Грязные солдаты курят «Астру» и задумчиво смотрят на наши консервы. Опять загружаемся - в вертушку. Следующая станция - Грозный. «Борт» похож на акулу, вертушка - на «корову».

Мне с детства был невыносим звук собственного сердца. Если ночью, во сне, я, ворочаясь, ложился так, что начинал слышать пульсацию, сердцебиение, - скажем, укладывал голову на плечо, - то пробуждение наступало мгновенно. Стук сердца мне всегда казался отвратительным, предательским, убегающим. С какой стати, этот нелепый красный кусок мяса тащит меня за собой, в полную пустоту и темень? Я укладывал голову на подушку и успокаивался, - тишина... никакого сердца нет... всё в порядке...

И я засыпал.

Появление Даши наделило меня двойным ужасом. Ещё более, чем своего, я боялся стука ее сердца. А вдруг течение ее крови уносит мою Дашу прочь, в другую сторону от меня?

Я всегда просыпался раньше ее. Утром у меня было постоянное ощущение, что я что-то не додумал ночью, запнулся на середине мысли и выпал из сознания.

По утрам Даша спала беспокойно, словно грудной ребенок перед кормлением. Делала несколько шальных движений, смешно переворачивалась, задевая волосами моё лицо, оставляя на коже легкое ощущение касания крыла близко пролетевшей ласточки, и затихала на несколько минут.

По улице, с шумом пролитой на горячее железо воды, проезжали троллейбусы, хотя ещё вчера ночью казалось, что они навсегда вымерли как динозавры. Ночью мы возвращались домой, как обычно, придуряя и ласкаясь, бессмысленно переходили с одной стороны улицы на другую, внося смысл в существование редких ночных светофоров; считали своим долгом растревожить все лужи на тротуарах, и босиком переходили ухоженные, до единой травинки расчёсанные газоны на центральных площадях города. По утрам мне хотелось курить, но я не мог заставить себя подняться, чтоб выйти на кухню.

Резко тормозили, недовольные судьбой, водители авто; от визга тормозов вздрагивало Дашино веко, и я, до сей поры задумчиво и любовно обводящий пальцем ее нежно-коричневый сосок, выпроставшейся из под одеяла грудки, пугался, что девочка моя проснется, и, шепча «Тцц», опускал руку на ее горячий как у щенка живот, где, блуждая любопытным мизинцем, задевал ласковый завиточек чёрных волос, и снова, незаметно

для себя, застигнутый полудрёмной суматохой смешных нелепиц, образов и воспоминаний, как жуки наползающих друг на друга, засыпал.

Сны мне снились одни и те же. Сны состояли из запахов.

Влажно и радужно, словно нарисованный в воздухе акварелью, появлялся запах лета, призрачных ночных берёз, дождей коротких как минутная работа сапожника, нежности. Затем густо и лениво наплывал запах осени, словно нарисованный маслом, запах просмоленных мачт сосен и осин, печали. Белый, стылый, неживой, нарисованный будто бы мелом сменял запах осени вкус зимы. Сны - сбывались. Будило нас чувство голода, карабкающееся холодным пауком на вершину всех сновидений, распугивая нестерпимо ласковое, - до ломоты в суставах, тепло, тревожа блаженное онемение и такую счастливую и доверчивую слепоту. По каждому нашему движению, по нарочитой случайности, а на самом деле, прямой целенаправленности блуждающих касаний наших - как бы спящих - рук, мы оба понимали, что проснулись, но какое-то время не подавали виду, пока Даша не выдавала себя забавно, по котеночьи, зевнув. Спустя мгновение, приоткрывая смешливые и нежные глаза, Даша тут же натыкалась на мой взгляд.

«Попалась!»

Даша быстро закрывала глаза, но зрачки уже не умели жить бесстрастной ночной жизнью, и оживали снова. Так два козленка выпрыгивают из зарослей лопухов и крапивы, поняв, что пришел хозяин.

В лужах плавают грязные льдинки. Проезжают грузовики. Раскатившись в стороны, и возвращаясь назад, вода в лужах грязно пенится. Небо моросит, серое, чёрное, сырое. Пахнет старыми отмокшими бинтами...

Равнодушные ко всему солдаты поднимают на нас задумчивые, сонные глаза. Мы в Ханкале: это место расположения основной группы войск, пригород Грозного.

Бородатый майор в камуфляже разговаривает с чеченом в кожанке, оба хохочут. Майор сидит на раскладном стульчике, беретка с кокардой набок. Чечен похож на приодетого беса, майор напоминает художника без мольберта.

В нашу «корову» загружаются питерские «собры». Домой едут. Один из «собров» говорит мне:

- Главное, чтоб командир у вас был упрямый. Чтоб вас не засунули куда-нибудь в... В рот их приказы! Вон рязанских вывезли в чистое поле, заставили окапываться. А через неделю сняли. Но четверых уже окопали,

бля. Даже раскапывать не надо. А у нас на пятнадцать человек - двое раненых - и всё. Потому что клали мы на их приказы.

- Город в руках федералов, - слышу я разговор в другом месте, - но боевиков в городе до черта. Отсиживаются. Днём город наш, ночью - их.

Своё барахло мы, потные, невыспавшиеся и усталые, загружаем в разнокалиберные грузовики. Сами лезем туда же, в кузова. Хитрый Хасан забирается в одну из кабин, к водителю. Там тепло и мягко.

- Давай-давай, Хасан! - говорит ему вслед Шея. - Твои сородичи имеют обыкновение первым делом по кабине стрелять.

Хасан не слышит, скалит зубы. Пацаны смотрят на Шею. Все сразу начинают курить, даже те, кто никогда не курил.

- Не ссыте, пацаны! - смеется замкомвзвода, Гоша Жариков, сутуловатый, желтозубый, с выпирающими клыками, похожий то ли на гиену, то ли на шакала, (а, скорей, на то, как их изображают в мультфильмах), прозванный за свой насмешливый нрав «Язвой».

- Ваши тела остынут скорее, чем стволы ваших автоматов... - издевается Язва.

Он воевал вместе с Шеей в Таджикистане.

Командир наш, Сергей Семёныч Куцый, уважает Язву, а Шею называет «сынок». Семёныч - лицо героическое. Весь в медалях - «парадку» не поднимешь. Говорят, в Афганистане он вместе с подбитой вертушкой грохнулся на горы. Потом в Чернобыле на самую высокую заводскую трубу советский флаг водрузил: в честь победы над ядерным реактором. За это ему квартиру дали. Потом у него волосы опали и не только. И жена ушла.

- Твои все, сынок? - спрашивает Куцый у Шеи. - Ну, с богом. Поехали! И мы поехали.

За воротами Ханкалы стоит съёмочная группа, девушка с микрофоном, где-то я её видел; с нею оператор, ещё какой-то мужик весь в проводах.

Оператор ловит в кадр нутро нашего грузовика, Саня Скворцов - его кличут Скворец - из моего отделения, сидящий у края кузова, машет рукой, но тут же смущается, и обрывает жест. Никто не комментирует его сентиментальный поступок, видимо, многие сами бы с удовольствием сделали ручкой оператору.

Мимо нежилых, обгоревших сельских построек, соседствующих с Ханкалой, мы выезжаем к мосту.

За мостом - город.

Мы останавливаемся, - пропускаем колонну, идущую из города. «Козелок», БТР, четыре грузовика, БМП. На броне сидят омовцы, один

из них посмотрел на нас, улыбнулся. Улыбка человека, выезжающего из Грозного, значит для нас очень много. Значит, там не убивают на каждом углу, - если он улыбается?

На обочине крутится волчком собака, - на спине ее розовая проплешина, - как у палёного поросё, - лишённая шерсти. Мелькает проплешина, мелькает раскрытая пасть, серый язык, дурные глаза. Кажется, что от собаки пахнет гнилью, гнилыми овощами. Движенья ее становятся все медленней и медленней, она садится, потом ложится. Из пасти ее начинает течь что-то бурое, розовое, серое, - собака блюет. Она блюет и рвотная жижа растекается возле головы собаки, забивает ее ноздри. Собака пытается поднять голову, и жижа тянется за мордой, висит на скулах, сползает по шерсти. Она испуганно вскакивает, будто чувствует, что легла на то самое место, где должна встретить смерть.

Она ползёт в сторону нашего грузовика, из-под хвоста тянется кровавый след. Собака ползёт к людям, несёт им свою плешь, свой свалывшийся в красный хвост, свои слипшиеся рвотой скулы, свои мироточащие глаза.

Пацаны с ужасом и неприязнью смотрят на неё.

Шея вскидывает ствол и стреляет собаке в голову, трижды, одиночными, и каждый раз попадает. Кажется, что черепная коробка открывается, как крышка чайника. Голова собаки заполнена рвотой. Ее рвало внутренностями головы.

Колонна проходит, мы въезжаем на мост.

Поездка воспринимается через смену запахов, - наверное, в человеке просыпается затаённое звериное: если в Ханкале по домашнему вьет портянками, тушённой, дымом, а за ее воротами пахнет сыростью, грязью, то ближе к городу запахи становятся суше, напряжённей.

Изуродованные кварталы принимают нас строго, в полной тишине. Пацаны застывают в напряжении. Все внимательно смотрят в город.

Дома с обкусанными краями, груды битого, серого кирпича, продавленные крыши качаются в зрачках сидящих у края грузовика. Улицы похожи на старые пыльные декорации...

Вдоль дороги встречаются дома, состоящие из одной лицевой стены, за которой ничего нет, - просто стена с оконными проемами. Странно, что эти стены не падают на дорогу от сквозняков.

Пацаны смотрят на дома, на пустые окна в таком напряжении, что, кажется, лопни сейчас шина, многие разорвутся вместе с ней.

Ежесекундно мнится, что сейчас начнут стрелять. Отовсюду, из каждого окна, с крыш, из кустов, из канав, из детских беседок...

И всех нас убьют. Меня убьют.

Бывают же такие случайности, - только приехали, и с пылу с жару, влетели в засаду. И все погибли.

Чувствую, что пацаны рядом со мной разделяют мои предчувствия.

Саня Скворцов засовывает ладонь за пазуху. Я знаю, что у него там крестик.

Пятиэтажки, обломанные и раскрошившиеся как сухари. В комнате, обвалившейся на половину, лишенной двух стен и потолка, стоит, зависнув над пыльной пятиэтажной пустотой, железная кровать... Очень много окон.

Порой встречаются почти целые дома, жёлтые стены, покрытые редкими отметинами выстрелов, как ветрянкой. Каменные дома сменяют деревянные, - горелые, с провалившимися крышами.

Ближе к центру города, из-за ворот уцелевших сельских построек выглянул маленький чеченёнок, мальчик, показал нам сжатый кулачок, что-то закричал. Я попытался поймать его взгляд, - мне показалось, он знает, что будет с нами, со мной.

II

Нас привезли к двухэтажной школе на окраине Грозного. Только машины въехали во двор, пацаны оживились - доехали! мы дома!

Филя, наш пёс боевой, радостно залаял, выскочив из машины, где смирно лежал под лавкой. Понюхал грязь окрест себя, пробежался, надул на угол дома.

Теперь главное, обустроиться как следует. Неприятно, когда тебя сырого пытаются сожрать, несолёного...

Парни повыпрыгивали из кабин, кости размяли, хотели было закурить, но - некогда: опять надо разгружаться.

Какой-то чин из штаба провёл Семёныча на второй этаж, показал помещение, где мы будем жить: большой зал, в котором буквой «С» уже расставлены в два яруса кровати.

Офицеры аккуратно прошлись по коридорам, заглянули, не входя, в открытые классы. Кабинеты загажены, изуродованы, завалены ребристыми, поломанными партами.

Семёныч предупредил бойцов, чтобы по школе не шлялись, в классы не лезли: «сначала сапёры пусть посмотрят, на свежую голову».

В указанное чином помещение мы и стали таскать свои вещи, под суетливым руководством начштаба - капитана Кашкина.

Забегая, смотрим оценивающе на обстановку...

Высокие она зала защищены мешками с песком; на окнах, над мешками висит упругая проволочная сетка, наверное, ее перевесили из спортзала. Кровати стоят в дальней безоконной половине помещенья.

Снова бежим вниз. Что-то Хасана опять не видно...

Двор чистый, даже пара изначально зелёных, но с облупившейся краской лавочек сохранилась. Турник есть, правда, низкий, нашим бугаям по шею - кто-то уже примерился.

Во дворе стоит небольшая и, как оказалось, относительно чистая сараюшка, мы туда сразу кухню определили, так как, то на первом этаже школы помещение, где, по всей видимости, была столовая, похоже на мусорню, дрянь и тряпьем увалено, грести там не разгрести.

Зато умывальня, совмещённая с тремя толчками, оказалась вполне приличного вида. Около сортиров, конечно, всё обгажено; но, бросив жребий, мы выбрали несчастных, которые всё там приберут. Угодило на

Женьку Кизякова, Сережку Федосеева с нашего взвода и ещё двоих бойцов со второго.

Женька, его все зовут «Кизя», этому совершенно не огорчился, зато Сережка, по кличке Монах, - до спецназа он поступал в семинарию, хотел стать священником, но провалился на экзаменах, неразборчивые в церковных делах пацаны прозвали его Монахом, - стал недовольно буркать.

- Ты что, Монах, думал мы тут часовню первым делом будем возводить? - интересуется недолюбливающий Монаха Язва, - Нет, голубчик, первым делом надо говно разгрести.

- Вот и разгребай, - отвечает Монах, поставив замазанную снизу лопату к стене.

- Боец Федосеев! - спокойно говорит Язва. Монах не реагирует, но и не уходит.

- Не слышу ответа? - говорит Язва.

Монах безо всякого выражения произносит:

- Я.

- Приступить к работе.

Монах берет лопату. Пацаны, присутствующие при разговоре, криво ухмыляются.

Немного освободившись, мы осматриваем школу со всех сторон, обходим ее, внимательно ступая, прихватив с собой Филю. Пёс, по идее, должен мины обнаруживать.

За школой расположен, будто экскаватором вырытый, поросший кустами, длинный, кривой овраг. В овраге - помойка и несколько огромных луж, почему-то не высыхающих. Дальше - кустистые пустыри.

Школа обнесена хорошим каменным забором, отсутствующим со стороны оврага. Ворота тоже есть.

Слева от здания - пустыри, а дальше - город, но едва видный. Справа, за забором - низина. За низиной проходит асфальтовая дорога, вдоль которой высятся несколько нежилых зданий.

Неподалеку от ворот - полупорухенные сельские постройки, кривые заборы. Там тоже никто не живёт. Первые шестизэтажные дома жилых кварталов стоят метрах в двухстах от ворот школы...

«Ну, всё понятно... Жить можно».

Как начало темнеть, выставили посты на крышу. Первой сменой ушло отделение Хасана.

Поев на ночь консервов, пацаны разлеглись. Моя кровать - у стены, я буду спать на втором ярусе. Люблю, чтоб было высоко. Подо мной, на койке снизу, расположился Саня Скворец.

- Саня, ты знаешь, что Ташевский писается? - не преминул поинтересоваться у него Язва.

Спать легли с тяжёлыми чувствами, в мутных ожиданиях...

Долго кашлял, будто лаял, кто-то из бойцов.

Закрыв глаза, я почувствовал себя слабо мерцающей свечой, которую положили на бок, после чего фитиль сразу же был залит воском. Всё померкло. С лаем куда-то убежала собака... Приснилась, наверное.

...А иногда всё было не так. Она просыпалась лениво. Утро теребило невнятную листву, как скучающий в ожидании.

В течение ночи Даша стягивала с меня одеяло и накручивала его совершенно невозможным образом на ножки. Просыпаясь от озноба, я некоторое время шарил в полусвете руками, хватался за край, за угол одеяла, тянул на себя наволочку и засыпал, ничего не добившись. Спустя полчаса садился на диване, потирая плечи и ёжась. Чтобы завладеть своей долей одеяла необходимо было разбудить ее. Разве можно?

Я наврал, что не ходил курить. Постоянно ходил. Синее пламя конфорки, холодная табуретка. Когда я возвращался - солнце паялилось на неё как ошалевший шпик. Поджав под себя ножки, грудками на диване, Даша потягивалась, распластывая ладошки с белеющими от утреннего блаженства пальчиками. Совершенно голенькая. Какой же она ребенок, господи, какая у меня девочка, сучка, лапа.

- Куда ты ушел? Мне одиноко, - совершенно серьёзно говорила она.

Полежав головой у нее на поясничке или на животике, - мы располагались буквой «Т», - я уезжал на работу в пригород Святого Спаса.

На сборы уходило семь минут. Потом сорок минут езды на электричке, три перекура по дороге.

Она ещё долго нежилась в кровати. Встав, неспешно заваривала и очень медленно пила чай. Одевалась обстоятельно (всего-то дел: натянуть маечку на голые грудки, упрятать попку свою в чёрные невесомые трусики, в голубые шорты и влезть в белые кроссовки, не развязывая их).

Потом аккуратно вывозила велосипед в подъезд. Руль охлаждал ладони, тренькал без надобности звонок, и мягко стучали колёса по ступеням.

На работе я постоянно нервничал, пугаясь того, что она упала, ушиблась, что ее обидели, и звонил в ее квартирку каждые полчаса. Спустя пять часов, угадав, что доносящиеся из квартиры звонки - междугородние, усталая и весёлая моя девочка, возвращающаяся с прогулки, бросала велосипед в подъезде, сопровождаемая грохотом оскорбленного железа, вбегала в квартиру, хватала трубку и кричала, потирая ушибленное о стол

колени:

- Егорушка, я здесь, алло!

Голос ее застигал меня вешающего трубку.

- Егор, на крышу. Буди своих.

Я заснул в одежде; бушлат и берцы снял, конечно. Ствол лежит между спинкой кровати и подушкой. На спинке кровати висит разгрузка, распираемая гранатами, «дымами», двумя запасными магазинами в боковых продолговатых карманах, и ещё тугим водонепроницаемым пакетом с патронами в большом кармане сзади.

Сажусь на кровати, свесив ноги. Непроизвольно вздрагиваю обоими плечами - зябко. Какое-то время хмуро и вполне бессмысленно смотрю на Язву, следя за тем, как он разбирает свою кровать.

- Как там, на крыше? - интересуюсь.

- Высоко.

Ну что он ещё может ответить.

Бужу Кизю, Монаха, Кешу Фистова, Андрюху Суханова, Стёпу Черткова... Скворец сам проснулся, - чутко спит.

- Вязанные шапочки оденьте, - говорит нам Язва. - Береты не одевайте.

Выходим в коридор, тащим в руках броники. С удивлением смотрю на грязные, выщербленные стены, - куда меня занесло, а? Сидел бы сейчас дома, никто ведь не гнал. Даша...

Поднимаемся по лесенке на крышу.

- Эй! - говорю тихо.

- На хер лей... - отвечает мне Шея нежно. - Давай сюда...

Объясняет, как нам расположиться - по двое на каждой стороне крыши.

- С постов не расползаться. Не курить. Не разговаривать. Без приказа не стрелять. Чуть что - связывайтесь со мной. Надеюсь, трассерами никто не снарядил автомат?

Я и Скворец, ползём на ту сторону крыши, с которой виден овраг.

Крыша с трёх сторон обнесена кирпичной оградкой - в полметра высотой. Просто замечательно, что она есть, оградка. Пацаны, которых мы сменяем, уползают спать. Мне кажется смешным, что мы, здоровые мужики, ползаем по крыше.

- Ну как? - спрашиваю Хасана, он нас ждёт.

- В Старопромысловском районе перестрелка была.

- Это далеко?

- Нормально... Чего броники-то притащили? Мы бы свои оставили.

Хасан пригнувшись убегает - не нравится ему ползать. Саня ложится на спину, смотрит в небо.

- Ты чего, атаку сверху ожидаешь? - спрашиваю иронично.

Саня переворачивается.

Приставляем броники к оградке.

Тихо, слабый ветер.

Вглядываюсь, напрягая глаза, в овраг. Смотрю целую минуту, наверное. От перенапряжения глаз, начинает мерещиться чьё-то шевеленье, там внизу.

«Кто-нибудь сидит там и в голову мне целит», - думаю.

Начинает ныть лоб.

Ложусь лбом на кирпичи, сжимаю виски пальцами. Отходит.

- Егор, - чуть приглушенным голосом окликает меня Саня.

- А.

- Ссать хочу.

Поднимаю голову, снова смотрю на то место, что меня заинтересовало.

- Егор.

- Ну чего?

- Ссать хочу.

- И чего мне сделать?

Саня замолкает.

Бьёт автомат, небо разрезают трассеры. Далеко от нас.

«Трассеры уходят в небо...» - думаю лирично.

- Егор, как быть-то?

- А вот с крыши пописай.

Меня вызывает по рации Шея.

- На приёме, - отвечаю бодро.

- Может, заткнётесь?

Раздается характерный свист минометного выстрела. Сжимаюсь весь, даже ягодицы сжимаю.

«Мамочки! - думаю. - Прямо на крышу летит!»

Бахает взрыв, чёрт знает где. Оборачиваюсь на Саню.

- Думал, что в нас, - сознается он мне.

Я не сознаюсь.

Лежим ещё. Мешают гранаты, располагающиеся в передних карманах разгрузки - больно упираются в грудь. Вытаскиваю их, укладываю аккуратно рядом, все четыре. Они смешно валятся и пытаются укатиться, влажно блестят боками, как игрушечные.

Что-то здесь с воздухом, какой-то вкус у него другой. Очень густой

воздух, влажный. У нас теплей, безвкусней.

Смотрю по сторонам, направо - на асфальтовую дорогу, на дома вдоль нее. Везде темно.

Неожиданно близко - будто концом лома по кровельному железу - бьёт автомат. Трижды, одиночными.

Дергаюсь, озираюсь; резко, как включенные в розетку, начинают дрожать колени.

- Со стороны дороги, из домов? - спрашиваю Саньку.

Шея запрашивает дневального, что делать. Дневальный, ещё не отпустив тангенту, зовет Семёныча. Спустя десять секунд Куцый вызывает по рации Шею.

- Что там?

- Трижды, одиночными, вроде по нам.

- Наблюдайте, не светитесь.

Лежим в ожидании новых выстрелов. Жадно всматриваюсь в овраг. Руки дрожат. Ноги дрожат.

Начинает моросить дождь. Холодно и жутко.

«Зачем я всё-таки сюда приехал?... Ладно, хорош... Ничего ещё не случилось...»

Растираю по стволу автомата капли. Провожу мокрой ладонью по щеке. Щетина уже появилась... Нежно поглаживаю себя несколько раз.

Пробую подумать о доме, о Святом Спасе. Не получается. Хлопаем с Саней глазами. Где-то на крыше иногда шевелятся, шебуршатся пацаны. Спокойней от этого.

Санёк смотрит назад, по-над головами фронтального поста.

- Егор, а вот если чичи влезут на крышу вон тех «хрущёвок», - говорит он, указывая на дома, смутными пятнами виднеющиеся вдалеке, - то можно отстрелить нам с тобой жопу.

- Жопы, - поправляю я Саню и тоже оборачиваюсь назад.

- Чего? - не понимает он. Я молчу, щурю глаза, узнавая в темноте «хрущёвки».

«Оттуда стреляли? Совсем близко где-то... А если с крыш „хрущёвок“ полоснут?»

От страха у меня начинается внутренний дурашливый озноб: будто кто-то наглыми руками, мучительно щекоча, моет мои внутренности. Я даже улыбаюсь от этой щекотки.

«Ничего, Санёк...» - хочу сказать я, и не могу.

«Курить хочется...» - ещё хочу сказать я и тоже не нахожу нужным произносить это вслух. Неожиданно сам для себя говорю:

- Мне в детстве всегда такие случаи представлялись: вот мы с отцом случайно окажемся в горящем доме, среди других людей... Или - на льдине во время ледохода... Все гибнут, а мы спасаемся. Постоянно такая ересь в голове мутилась.

- Чего, до сих пор не прошло? - интересуется Саня.

- Не знаю...

- Тяжелый случай, - резюмирует Саня, помолчав.

Ползёт смена.

- Ну как? - спрашивают.

Вернувшись, без спросу выпиваю у чаевничающего дневального три глотка кипятка, у меня из рук перехватывает кружку Сковрец, и, отхлебнув, отдаёт пустую кружку дневальному. Ложусь на кровать прямо в бушлате и сразу засыпаю.

III

Утром, к моему удивлению, мы проснулись, с гоготом умылись и, в виду отсутствия обеденных столов, рассевшись по кроватям, стали есть. Мы не рванули, поднятые по тревоге, кто в чём спал, отбивать атаку бородатых чеченов, - думаю, когда ехали сюда каждый был уверен в том, что события будут развиваться именно таким образом. Нет, мы поднялись и стали с аппетитом жрать макароны.

Завтрак приготовил боец по кличке Плохиш, назначенный поваром. Макароны с тушенкой, всё как у людей. Компот.

Разбудил нас, кстати, тоже Плохиш. В шесть утра дневальный его толкнул, услышал в ответ неизменное при обращении к Плохишу и вполне добродушное «иди на хуй», после чего методично толкал его ещё минуты две. Наконец Плохиш поднял свое пухлое, полтора метра в высоту, тело и издал крик. Кричит он высоко и звонко. Так, наверное, кричала бы большая, с Плохиша, мутировавшая крыса, когда б ее облили бензином и подожгли.

Плохиша все знали не первый день. Кто-то накрыл голову подушкой, кто-то выругался, кто-то засмеялся. Куцый рывком сел на кровати, и схватив из под неё ботинок, кинул в выходящего Плохиша. Через мгновение дверь открылась, и в проёме появилось его пухлое лицо.

- Не хера спать! - сказал Плохиш и дверь захлопнулась.

- Дурак убогий! - крикнул ему вслед Семёныч, впрочем, без особого зла. Кому другому, кто вздумал бы так орать, досталось бы, но не Плохишу, - ему прощалось.

С аппетитом поели и пошли курить.

Озябшие пацаны второй смены, с чуть припухшими от недосыпа лицами, спустились с крыши.

На второй день всё как-то поприветливее показалось. И небо вроде не такое серое, и дома не такие уж жуткие. И, главное, братва рядом...

- Чем мы здесь заниматься-то будем, взводный? - спрашиваю я у Шеи, имея в виду задачи, которые поставлены перед нашим отрядом.

Шея пожимает плечами.

- Вроде комендатура тут будет, - говорит он, помолчав.

«Вот было бы забавно, если бы мы в этой школе прожили полный срок, и никто б о нас не вспомнил...» - думаю.

За перекурком выяснилось, что Хасан жил в этом районе. Его почти не разрушенный дом виден из школы.

- У тебя кто из родни здесь? - спрашиваю.

- Отец.

- А у меня батя помер... Я из интернатовских, - зачем-то говорю я Хасану, в том смысле, что и без папани люди живут, - и мать меня тоже бросила, я ее даже не помню... - добавляю бодро.

Он молчит.

«Не сказал ли я бестактность?» - думаю.

«Вроде, нет», - решаю сам для себя. В первую очередь потому, что Хасана, явно не очень волнует биография Егора Ташевского. Егор Ташевский - это я.

Отец умер, когда мне было шесть лет.

Мы жили в двухэтажном домике, на левобережной, полусельской стороне Святого Спаса.

Отец научил меня читать, писать, считать.

Я прочитал несколько тонких малохудожественных, но иллюстрированных книжек о нашествии храбрых и жестоких монголов. Очень огорчился, что нигде не упоминается Святой Спас. Русские богатыри вызвали во мне уважение.

Я исписал стену на кухне своим именем, а также именами близких: отца - «Степан», нашей собаки - «Дэзи», деда по матери - «Сергей», который жил в небольшом городке, километрах в ста от нас. Я начал писать имя нашего соседа - «Павел», - но забыл, в какую сторону направлена буква «В», и бросил.

Считать мне нравилось. Прибавлять мне нравилось больше, чем отнимать. Но умножать меньше, чем делить. Делить столбиком, аккуратно располагая цифры по разным сторонам поваленной на бок буквы «Т», было увлекательным и красивым занятием.

Вечерами отец рисовал, он был художником, а я делил столбиком. Он называл мне трехзначную цифру, которую я старательно записывал. Потом он называл двухзначную на которую нужно было поделить трехзначную. Я пребывал в уверенности, что мы оба заняты очень серьезным делом. Возможно, так оно и было.

Я попросил отца нарисовать богатырей, и он оставил уже начатую картину, чтобы выполнить мою просьбу. Я знал его шесть лет, и он ни разу ни в чем мне не отказал.

Он начал рисовать битву, Куликово поле, я сидел у него за плечом.

Иногда я отвлекался, чтобы поймать пересекающего комнату таракана. Таракана я прикреплял пластилином к дощатому полу, заляпывая его до грудки. Некоторое время я наблюдал, как он шевелит передними лапками и усами, потом возвращался к отцу. На холсте уже появлялась ржущая морда коня, нога в стремени, много густых, алых цветов под копытами. Наверное, отец рисовал не Куликово поле, - ведь та битва случилась осенью.

Мы ложились спать вместе, каждый вечер отец несколько часов читал при свете ночника. Иногда он курил, подолгу не стряхивая пепел. Я следил за сигаретой, чтобы пепел не упал на грудь отцу; потом я смотрел в потолок, думал о богатырях, иногда на улице начинала лаять Дэзи и я мечтал, что сейчас зайдет мама, которая бросила нас, когда мне было несколько месяцев.

Когда отец читал, он не дышал размеренно, как обычно дышат люди и млекопитающиеся. Он набирал воздуха, и какое-то время лежал безмолвно, глядя в книгу. Думаю, воздуха ему хватало больше чем на пол страницы. Потом он выдыхал, некоторое время дышал равномерно, добегал глазами страницу, переворачивал ее и снова набирал воздуха. Он будто бы плыл под водой от странице к странице.

Да, ещё он научил меня плавать. Летом он продавал несколько картин, как я потом понял, очень дешево, брал отпуск, и мы долго и мучительно ехали в забытую богом деревню, где каждый год снимали один и тот же домик возле нежной и ясной реки, пульсирующей где-то в недрах Черноземья.

Утром мы завтракали варёной картошкой, луком и жареной печёнкой, а потом целый день лежали в песке на берегу. Дэзи сидела рядом с нами. Когда отец переворачивался с боку на бок, она меняла положение вместе с ним, аккуратно прилаживаясь в тень от его большого тела.

Иногда по течению плыли яблоки, и отец, войдя в воду, за несколько мгновений догонял их, собирал и приносил мне. Если не хватало рук, чтобы собрать яблоки, он кидал их из воды на берег. Откуда плыли яблоки? Я не знаю...

Я забыл, как он начал учить меня плавать. Наверняка, он не говорил: «Давай-ка, малыш, я научу тебя плавать!» Скорее, он просто поплыл на тот берег и предложил мне отправиться с ним, держась за его шею. Мы так сплавляли несколько раз, и я научился работать ногами.

Ну а дальше, я учился как все мальчишки, - вдоль бережка, три-четыре метра вплавь, загребая под себя руками, и так десятки раз. Потом немножко от берега в глубину и сразу, - истерично дрыгая ногами, - обратно.

Я хочу сказать, что отец не учил меня плавать нарочито, не возился со мной, например, поддерживая меня под грудь и живот, чтобы я у него на

руках бултыхал ногами и руками; он даже ничего мне не объяснял. Но я все равно убежден, что плавать меня научил он.

Вечером мы ели омлет, изготовленный отцом из всего, что было в холодильнике: сыра, колбасы, помидор, перца, лука, чеснока. Молоко нам продавала старушка - соседка, отец ей платил за месяц вперёд.

Мы возвращались в Святой Спас в сентябре, поджарые и загорелые.

Отца ждала работа, - он занимался оформлением районного кинотеатра, районной администрации, рисовал афиши, плакаты, некрасивого Брежнева и красивого Ленина.

Я гулял. Отец всегда забегал с работы, чтобы меня покормить. А в пять часов вечера я уже ждал его, сидя на подоконнике нашего двухэтажного дома. Он выворачивал из-за угла, иногда чуть-чуть поддатый, но самую малость, ласково кивал мне головой. Выпив, он становился немного сентиментален. Трезвым он был спокойным, ясным, чистым, - всегда побритый, всегда с хорошо постриженными ногтями, в рубашке расстегнутой на волосатой груди, немногословный.

Не помню, что бы отец грустил. Он никогда не разглядывал фотографии мамы, оставшиеся у нас. Но он их и не прятал, они были наклеены в два альбома, лежавшие на книжных полках, и я их часто листал.

У отца, видимо, были какие-то женщины, но я их никогда не видел.

Впрочем, вру. Однажды, он был приглашён на чью-то свадьбу. Я заскучал и пошёл посмотреть на него. Я увидел его возле дома, где происходило празднество, сидящего на лавочке в компании молодой женщины.

- А этой мой малыш, - сказал отец тоном, в котором из всех людей на земле только я, его сын, смог бы почувствовать некоторую неестественность. Я ее почувствовал, и сразу ушел. Отец скоро вернулся.

Я лежал на диване, разглядывая наш старый, не работающий приёмник. Белыми буквами на лицевом стекле приемника были написаны названия городов - Лондон, Нью-Йорк, Стокгольм, Москва, Токио... Иногда я включал приёмник и крутил ручкой, благодаря чему белый стержень за стеклом приёмника передвигался от города к городу. Раздавался слабый, и рознящийся при подходе к каждому городу треск. Где-то в одном из этих городов жила мама.

Отец разделся и лег рядом, взяв книгу. Очень глупо было бы, если б он обнял меня в эту минуту, сказал бы что-нибудь. Я тогда уже это чувствовал. Он и не собирался этого делать, мой папа.

После того, как отец нарисовал мне битву, где было всё, что я хотел -

мужик-ополченец в разодранной рубаше, вздымающий на вилах вражину; дружинник, замахнувшийся коротким мечом, и пропустивший удар копья, вползающего ему в живот; неприглядные, желтолицые и хищные монголы, как дождевые черви, разрубаемые на части; лучники, натягивающие луки окровавленными пальцами; стяги, кони, - после того, как отец закончил работу, на которую сбегались смотреть пацанва со всего пригорода, он нарисовал ещё одну картину. Там горел русский город, русский монгол пил из чаши, лежали связанные князья, вззирающие в смертной печали на пожар, а рядом с монголом стояла обнаженная полонянка с лицом моей матери.

Отец не продал эту картину, он обменял ее на трехлитровую банку самогона. Потом он отвёз меня к деду Сергею, который проклял мать сначала за то, что она вышла за муж за моего отца, который деду не нравился, а потом ещё раз проклял ее за то, что она отца (и меня) бросила. Ко мне дед относился равнодушно, но без злобы. Он много охотился, но меня с собой на охоты никогда не брал. Я гостил у него раза три в год, недели по три, - всё это время, как я понимаю, отец пил. Потом он выходил из запоя и приезжал за мной. Я был счастлив. Однако за шесть лет мне так ни разу и не пришло в голову, что я обожаю отца...

Дома было чисто, и меня восторженно встречала исхудавшая Дэзи, и вертелась около меня, будто бы хотела рассказать та-ко-е! но не могла, и просто подпрыгивала, облизывая меня.

Однажды, в конце марта, отец не пришел с работы, меня забрала к себе тетя Аня, жена дяди Павла, нашего соседа. Говорят, она очень помогала отцу, когда я был малышом, но я это помню смутно. Теперь мне иногда кажется, что она любила отца, но откуда мне знать...

- Степану стало плохо, - сказала она мужу.

Я переночевал у них. Я был очень спокоен. Я съел котлету и макароны на завтрак. Я выпил чаю с пряником. Отец не мог меня бросить.

Утром мы поехали с тетей Аней в районную больницу. Там нам сказали, что отца перевезли в городской центр кардиологии. Мы отправились туда на автобусе. Тетя Аня долго выясняла с кондуктором, нужно ли за меня платить. Мне было жутко неприятно, что она так меня унижает.

Я сидел у окна. В кармане у меня лежала расческа, и я отламывал от нее зубцы, пока они не кончились.

В кардиологическом центре нас встретила очень красивая женщина-врач. Она сказала, что завтра отцу будут делать операцию на сердце. Потом врач, попросив меня посидеть на скамеечке, отошла с соседкой к окну и о

чем-то с ней в течение минуты поговорила. Я любовался на врача.

Пообщавшись с соседкой, она взяла меня за руку, и отвела к отцу. В палате пахло лекарствами. Отцом в палате не пахло. Я это сразу почувствовал. Не было его запаха, - сильного тела, «Астры», красок, омлета. Он лежал на кровати. Глаза его словно упали на дно жутких коричневых кругов, образовавшихся вокруг глаз. Это был неестественный цвет, это были глаза умирающего человека. Я сразу это понял. Откуда у меня было это знание?

Отец, - я хотел сказать - «улыбнулся», но это слово не подходит, - он расклеил слипшиеся губы, и запустил в свои открытые глаза, отражавшие мутный в подтеках потолок и бесконечную боль, - он запустил в них жизнь, узнавание, еле ощутимую толику тепла, давшуюся ему невероятным усилием воли.

- Как ты меня нашёл? - спросил он.

Я не решился подойти к нему, я стоял у его ног, держась за спинку кровати. Он закрыл глаза. Я сделал несколько шагов и сел на стул, стоявший поодаль его изголовья. Я попытался пройти быстро, пока он не открыл глаза, прошмыгнуть. Когда он открыл глаза, я уже сидел рядом.

- Ничего, Егор... - сказал отец.

Он попытался двинуть рукой. Полежал ещё.

- Егор, няньку... - прошептал он.

Я беспомощно посмотрел на дверь, и тут нянька зашла.

- Помочиться? - спросила она просто, будто слышала. В руке у нее была только что вымытая утка, в каплях воды. Отец кивнул головой.

Нянька стала поворачивать отца на бок, он зажмурился. Ему было страшно больно, я это знаю. Помню, однажды он порезал на пилораме руку, - едва не до кости, хлестала кровь, а он даже не побледнел, замотал чем-то располосованную надвое мышцу ладони, и, взяв мою вспотевшую лапку здоровой рукой, пошел в травмпункт, зашивать рану. Сидя у кровати, я посмотрел на этот белый шрам. Отец сжал кулак, и кулак впервые за шесть лет показался мне маленьким, беспомощным, в стоящих дыбом порыжевших волосках. Рука была бледносиней... чуть розовой... почти бесцветной.

- Иди, Егор... - сказал отец почти беззвучно.

Мы, - я и тетя Аня, вернулись домой. Я не пошел спать к соседке, а лег спать с Дэзи, взяв ее в дом. Он слезла с кровати, и забралась под неё, - она тогда уже была в обиде на меня. Я лежал, и смотрел в стену, и был уверен, что не усну. Но уснул, и спал до утра.

Ночью отец умер.

После похорон я пришел домой, поставил кипятить чай, взялся подметать пол. Потом бросил веник, и под дребезжанье ржавого чайника, написал на стене «господи блядь гнойный вурдалак»: я вспомнил, как пишется буква «в».

...Меня и Дэзи забрал дед Сергей.

Так всегда на новом месте - первые дни наполнены содержанием до предела, они никак не могут кончиться, - скажем, первые два дня. Говорят, потом дни здесь начинают кувыряться через голову, стремительные, совершенно одинаковые.

На второе утро мы вымели грязь, помыли полы, сложили в большой ящик гранаты, похожие на обмороженные гнилые яблоки, установили три обеденных стола - для офицеров и для двух взводов; пацаны из нашего взвода полезли на крышу - осмотреть, как следует, окрестности, и толком оборудовать посты.

Сверху Грозный видно мало, - основной массив далеко. Овраг, плохо просматриваемые стылые кусты... Пустынная трасса... Горелые домики, смурные «хрущевки», с которых действительно можно пристреляться к нашей крыше.

На крыше я открываю вторую за начавшийся день пачку сигарет, Слава Тельман из нашего взвода тут же угощается, он всегда на халяву курит.

Мы обустроиваем небольшими плитами гнездо для пулемета на фронтальной стене школы, прямо над входом. На углах крыши выкладываем кирпичом, мешками, набитыми песком ещё три поста. На каждом из постов - по две бойницы.

- Всё равно - лажа, - говорит Шея. - Один выстрел из «граника» и...

Тем временем пацаны из второго взвода, за школой, в овраге, с той стороны, где нет забора, ставят растяжки.

Полюбовавшись на дело крепких и цепких рук своих, собираемся обедать.

Отведав щей и гречки с тушенкой, позвякивая тарелками, тянемся мыть посуду.

Те, кому места возле умывальников не достаётся, идут курить, или ещё куда.

Я, по любимой привычке, смолю, запивая дым горячим чайком.

Мою тарелку, возвращаясь к своей лежанке в «почивальне», как мы прозвали наше помещение, пытаюсь улечься и, только коснувшись затылком подушки, слышу взрыв. Грохает где-то неподалёку, на втором

этаже, с потолка сыпется побелка. Всккивает с места и лает Филя, ночующий вместе с нами, под кроватью сапера Старичкова.

- Началось... - думаю я, прыгивая с кровати, и ещё не определив для себя, что именно началось. Тяну за ствол, лежащий под подушкой автомат.

- Кто-то подорвался, - тихо говорит лежащий на кровати Шея, не двигаясь, - раздумывая, и, видимо, понимая, что спешить особенно некуда.

Пацаны кинулись было к месту взрыва.

- Стоять! - орёт Семёныч, вбегающий с первого этажа.

- Док! - зовёт Семёныч дядю Юру - так мы называем нашего доктора.

Дядя Юра, - подобно пингвину суетливый и сосредоточенный одновременно, и сам похожий на чуть похудевшего пингвина, - спешит бок о бок рядом с Семёнычем. Шагая за ними, я замечаю, что в то время, как Семёныч идёт, дядя Юра, не умея подстроиться под шаг командира, иногда, семеня, бежит.

Док обгоняет Семёныча в конце коридора, увидев нашего бойца, молодого, из второго взвода, пацана, незадолго до командировки устроившегося в отряд, я даже не помню, как его зовут. Он лежит возле одного из кабинетов, на спине, согнув ноги. Косяк двери выворочен. Тяжело стоит пыль.

Я ещё не успел разглядеть подорвавшегося, как присевший возле него док, сказал тихо:

- Живой... - и добавил шепотом, - Осколочные...

Раненый, будто в такт чему-то, мелко постукивает ладонью по полу. Когда док присел возле него, движение руки прекратилось, и раненый застонал.

Док быстрыми, ловкими движениями взрезает скальпелем брючину, открывается нога, покрытая редким волосом, ляжка, откуда-то сверху на эту ляжку сбегает струйка крови, потом ещё одна, и очень быстро вся нога становится красной. Док разрезает вторую брючину и, сдвигает небрежным пальцем трусы. Из кривого, розового члена торчит осколок. Пока я смотрю на этот осколок, док вкалывает раненому укол, обезболивающее. Промедол, кажется.

- Док, а я с девушками смогу? - неожиданно спрашивает раненый, открыв глаза.

- Только с мальчиками... - тихо говорит Язва у меня за спиной. Мне кажется, что он улыбается.

Док не отвечает. Семёныч брезгливо морщится. Но брезгливость его не вызвана видом раненого.

Из-под спины раненого растекается между кирпичных осколков и

белой кирпичной пыли густая лужа. Я двигаю ногой один из битых кирпичей. Бок у него - красный. Док рвёт пуговицы на кителе раненого, взрезает тельник. В груди, в животе, на боку раненого беспрестанно, подрагивая, кровоточат ранки.

Док цепляет ногтями один из видневшихся в боку осколков, вытаскивает его, мелкий, похожий на клювик маленькой злой птицы. Затем ещё один - из члена, придавив половой орган другой рукой, обернутый в платок.

Раненый вскрикивает.

Я спускаюсь вниз. По дороге закуриваю, хотя курить в здании, за исключением туалета, Семёныч запретил.

Следом идёт Шея:

- Говорили же, не лезть в классы. Что за уроды... - говорит ни для кого.

- Старичков! - зовёт спускающийся следом Семёныч нашего сапера, - Ты чем занимался?

- Семёныч, я растяжки ставил со стороны оврага.

- Он растяжки ставил, - подтверждает начштаба.

Раненого сносят вниз.

Вызывают из штаба округа машину.

- Ну, мудака, - всё ругается на улице Шея.

- Тебе что, его не жалко? - спрашиваю я.

- Мне? Мне жен и матерей жалко. Сейчас этого урода привезут в Святой Спас, он через неделю бегать будет, а у всей родни из-за него истерика начнется. Моя мать с ума сойдет.

Выходит, улыбаясь, док.

- Чего он? - неопределенно спрашивает кто-то, имея в виду подорвавшегося.

- Говорит, зашёл в класс, и услышал щелчок. Успел отпрыгнуть.

Семёныч через начштаба объявляет построение.

На построении мы слышим, что весь младший начальствующий состав - распиздяи, старший начальствующий состав - распиздяи, что если мы сюда приехали, чтобы устраивать тут детский сад... ну и так далее.

В итоге на втором этаже выставляют ещё один пост, а командир второго взвода, Костя Столяр, самолюбивый хохмач и шутило, получает от Семёныча искренние уверения, что на премиальные и вообще на доброжелательное отношение офицерского состава он может не рассчитывать.

- Я сейчас пойду его добыю, - говорит Костя после развода, имея в виду раненого.

Через час невезучего и чрезмерно любопытного бойца, увезли.

Из штаба приехал и остался в школе чин; где-то я его уже видел...

Семёныч с капитаном Кашкиным объяснительную бумагу написали - о том, что боец был ранен при выполнении задания по разминированию помещения.

Не скажу, что парни огорчились из-за того, что нас на одного стало меньше.

Пару перекуров мы обсуждали произошедшее, а потом - забыли, как и не было.

Отвлеклись на иные заботы.

IV

Наверное, от местной воды у парней началось расстройство желудков. Держа в руках рулоны бумаги, бугаи наши то и дело пробегают по коридору, топая берцами и на ходу расправляя штаны.

- Хорошо, что мы пока никому не нужны! - ругается Куцый, впрочем, глаза его щурятся по-отцовски нежно, - Вот сейчас бы нас на задание сняли! Сраную команду!

А уж когда пришло время дежурства на крыше, так тут некоторые в неистовство впали - охота ли по крыше туда-сюда, таясь лишнего шума, елозить, когда хочется бежать изо всех сил. За подобное беспокойное поведение на посту Шея вставил бы парням пистон, кабы сам не страдал тем же недугом.

Меня это расстройство миновало.

Хоть мы и прожили два дня спокойно, массовый понос на настроение парней действует удручающе, кое-кто серьезно на нервах, это чувствуется; и это понятно и простительно. Разве что Плохиш ведет себя так, как, верно, вёл себя в пионерском лагере. Тем более, что у него с желудком тоже нет проблем, и это даёт ему все основания подкалывать парней. Правда, когда он в коридоре, придуряя, повис на рукаве спешащего в сортир Димки Астахова («Подожди, Дим, сказать кое-чего хочу»), - Дима разразился таким матом, что Плохиш быстро отстал, - а такое случается исключительно редко. Стоит отметить, что Астахову вообще не свойственно повышать голос, но промедление в данных обстоятельствах могло для него окончиться грустно.

Однако некоторый невроз, скрываемый в клубах дыма бесконечных перекуров, происходящих прямо в туалете, чтоб не удаляться от спасительных белых кругов, - и откровенная мутная тоска - это разные вещи.

Вот, скажем, Монах, - не курит, не шутит, он сидит на кровати, бессмысленно копошится в своем рюкзаке.

Лицо его покрыто следами юношеской угревой сыпи. Он раздражает многих, почти всех. За безрадостный душевный настрой Язва называет его «потоскуха», - от слова тоска. Кроме того, у Монаха всё валится из рук, - то ложку он уронит, то тарелку, - что дало основание Язве называть его «ранимая потоскуха». Утром Монах, спускаясь по лестнице, упал сам, и

Язва тут же окрестил его «падучей потоскухой».

Монах карябает ложкой о посуду, когда ест, он постукивает зубами о стакан, когда пьёт чай, он быстро и неразборчиво отвечает, если его спрашивают. Издалека его голос похож на курлыканье индюка. Когда он ест, пьёт или говорит, по всему его горлу движется кадык, украшенный несколькими длинными, черными волосками.

У него тошный вид.

- Ты чего, протух? - спрашивает его Язва.

- Что? - не понимает Монах; в слове «что» у Монаха букв шесть, при чём не все они имеют обозначение в алфавите, - три буквы, составляющие произнесенное им слово, обрастают всевозможными свистящими призвуками.

Язва смотрит на него, не отвечая. Сурово шмыгает носом и выходит покурить.

Монаху ясно, что его обидели, он ещё глубже зарывается в свой рюкзак, кажется, он с удовольствием забрался бы туда целиком и изнутри завязался. Заглядывая в рюкзак, он пурхает горлом.

После обеда, Монах, послонявшись по «почивальне», подходит к моей лежанке.

- Ну что, Сергей? - говорю, разглядывая его лоб.

Монах что-то бурчит в ответ.

- Как настроение? Воинственное? - спрашиваю я.

- Война - это плохо, - неожиданно разборчиво произносит Монах.

- О как. А почему?

- Убивать людей нельзя, - продолжает Монах.

- Оригинально, - говорю, не нашедшись, как состричь.

- А почему нельзя? - интересуется Женя Кизяков, приподнимая голову с соседней кровати.

- Бог запрещает.

- Откуда ты знаешь, что он запрещает? - ухмыляется Кизяков.

- Глупый вопрос, - отвечает Монах, - Это Божья заповедь: «не убий». Спорить с Богом, по крайней, мере, неумно. Соотношение разумов - как человек и муравей; если не инфузория.

Его поучительный тон меня выводит из себя, но я улыбаюсь.

- А зверям он запрещает убивать? - спрашиваю я.

Кизяков смотрит на нас, и даже подмигивает мне.

- Звери бездумны, - отвечает Монах.

- Кто тебе сказал? - опять спрашивает Кизяков.

Монах молчит.

- Они бездумны, и значит, у них нет бога? - спрашиваю я.

- Бог един для всех земных тварей.

- Но собаке, например, той, что Шея застрелил, ей не нужен человеческий Бог, она в нём не нуждается. Ни в отпущении грехов, ни в благословении, ни в Страшном Суде, - говорю я.

- Она бездумная тварь, собака, - отвечает Монах, я изумленно наблюдаю за движением его кадыка, такое ощущение, будто у него в горле переворачивается плод.

- Всё это старо... - неопределенно добавляет он, и кадык успокаивается, встает на месте. Монах поворачивается, чтобы уйти.

- Погоди, Сергей, - останавливаю я его. - Я ещё хочу сказать...

Монах уходит к своей кровати, садится с краю, - словно на чужую лежанку.

- Сергей! - зову его я.

Он оборачивается.

- Сказать кое-чего хочу.

Монах молчит.

- Как появляется вера? - говорю я, перевернувшись в его сторону. - Верят те, кто умеет сомневаться, чьи сомнения не разрешимы. Не умеющие разрешить свои сомнения, начинают верить. Звери не умеют сомневаться, поэтому и верить им не за чем. А человек возвел своё сомнение в абсолют.

- Это... ерунда... - отвечает Монах, он встает с кровати и вновь возвращается ко мне. - Ересь. Человек возвел в абсолют не страх свой и не сомнение, а свою любовь. Любовь с большой буквы, неизъяснимую... Только любовь человеческая предельна, а Бог - не имеет границ, он вмещает в себя всю любовь мира. И сама его сущность - это любовь.

- И Бог велел нам возлюбить любовь?

- Да. Возлюбить бога, возлюбить ближнего своего, потому что только на этом пути есть истина.

- И он сказал: «не убий, ибо гневающийся напрасно на брата своего подлежит суду».

- Сказал.

- А как ты думаешь, почему он сказал «гневающийся напрасно»? Значит, можно гневаться не напрасно?

- Что ты имеешь в виду?

- Ты знаешь, что. Бог заповедовал нам возлюбить Бога, ближних своих и врагов своих, но не заповедовал нам любить врагов Божиих. Ты же читал жития святых - там описываются случаи, когда верующие убивали богохульников.

- Бог не принимает насилия ни в каком виде.

- А когда ты ребенку вытираешь сопли, - это насилие? Когда врач заставляет женщину тужиться, - насилие?

- Согласно заповеди божьей, убийство неприемлемо.

- Бог дал человеку волю бороться со злом, и разум, что бы он мог отличить напрасный гнев от гнева ненапрасного.

- Бессмысленно бороться со злом - на все воля божия.

- Если на все Божия воля, так ты не умывайся по утрам: бог тебя умоёт. И подмоет. Не ешь: он тебя накормит. Не лечи своего ребенка: он его вылечит. А? Но ты же умываешься, Монах! Ты же набиваешь пузо килькой, презрев божью волю! Может, он вообще не собирался тебя кормить?

- Не идиотничай, Егор. Ты хочешь сказать, что здесь ты выполняешь волю божью?

- Я просто чувствую, что гнев мой не напрасен.

- Как ты можешь это почувствовать?

- А как человек почувствовал, что нужно принять священные книги, как священные книги, а не как сказки Шахеризады?

- Человеку явился Христос. А тебе кто явился кроме твоего самолюбия? Ты же ни во что не веришь, Егор!

- Эй, софисты, вы достали уже, - кричит Гоша.

Я не заметил, как Гоша вернулся.

Мне очень хочется ответить Монаху, но я понимаю, что этот разговор не имеет конца. По крайней мере, сегодня его не суждено закончить.

Я выхожу из школы, я возбужден. Я всё ещё разговариваю с Монахом - про себя. Обернувшись на него, вновь усевшегося на кровать, и начавшего копошиться в рюкзаке, я вижу, что и он со мной разговаривает, - молча, сосредоточенно, глубоко уверенный в своей правоте.

Во дворе, за своей кухонькой Плохиш, натаскав из школьного подвала поломанные ящики, разжёг костер. Пацаны сидят вокруг костра, курят, переговариваются. В ногах лежат автоматы.

Плохиш подбрасывает в огонь щепки, ему жарко. Он раздевается, остается в штанах и в берцах.

Выходит из школы Женя Кизяков.

- О, Плохиш, какой ты хорошенький. Как Наф-Наф.

- Иди ко мне, мой Ниф-Ниф! - дурит белотелый, пухлый Плохиш, призывая Женю.

Кизяков спускается по ступенькам. Он шутливо хлопает Плохиша по спине.

- Потанцуем?

Кизяков и Плохиш начинают странный танец вокруг костра, подняв вверх руки, ритмично топая берцами. Пацаны посмеиваются.

- Буду погибать молодым! - начинает читать рэп Плохиш в такт своему танцу. - Буду погибать! Буду погибать молодым! Буду погибать!

- Буду погибать молодым! - подхватывает Женя Кизяков. - Буду погибать!

- Буду погибать молодым! Мне ведь поебать! - кричит Плохиш.

Ещё кто-то пристраивается к ним, держа автоматы в руках как гитары, покачивая стволами. Начинают подпевать. Плохиш подхватывает свой ствол с земли, поднимает вверх правой рукой, держа за рукоять. Кизяков тоже поднимает «Калаш».

- Будем погибать молодым! Нам ведь поебать! Будем погибать молодым! Нам ведь поебать! - орут пацаны.

В телефонной трубке, словно в медицинском сосуде, как живительная жидкость переливался ее голос. Она говорила, что ждёт меня, и я верил, до сих пор верю.

Утром я приезжал к ней домой. По дороге заходил в булочную, купить мне и моей Даше хлеба. Булочная находилась на востоке от ее дома. Я это точно знал, что на востоке, потому что над булочной каждое утро стояло солнце. Я шёл и жмурился от счастья, и потирал невыспавшуюся свою рожу. На плавном асфальте, успевшем разогреться к полудню, дети в разноцветных шортах выдавливали краткие и особенно полюбившиеся им в человеческом лексиконе слова, произношение которых так распяляло мою Дашу несколько раз в течении любого дня, проведенного нами вместе. У меня богатый запас подобных слов и более-менее удачных комбинаций из них. Гораздо богаче, чем у детей в разноцветных шортах, поднимавших на меня свои хихикающие и стыдливые лица.

Булочная располагалась в решетчатой беседке, представлявшей собой пристрой к большому и бестолковому зданию. До сих пор не знаю, что в нём находилось. Кроме того, о ту пору никакие помещения кроме кафе нас с Дашей не интересовали. Чтобы подняться к продавцу, надо было сделать шесть шагов вверх по бетонным ступеням. От стылых ступеней шёл блаженный холод, в беседку булочной не проникало солнце, но она хорошо проветривалась.

Я говорю, что, идя навстречу солнцу, я жмурился и вертел бритой в области черепа и небритой в области скул и подбородка головой, но войдя в беседку, я, наконец, открывал глаза. Видимо, оттого, что я так долго жмурился и вертел головой, и от солнца в течение нескольких минут

хотьбы до булочной наполнившего мои, не умытые, слипшиеся колцой, глаза, на меня, вошедшего в беседку, и сделавшего несколько шагов по бетонным ступеням, накатывала тягучая сироповая волна головокружения, сопровождающаяся кратковременным помутнением в голове. Открытые глаза мои плавали в полной тьме, в которой, скажу я вам, поэтическим пользуясь словарём, стремительно пролетали запускаемые с неведомых станций желтые звездочки спутников и межгалактических кораблей. Потом тьма сползала, открывая богатый выбор хлебной продукции, себе я покупал черный, вне всякой зависимости от его мягкости хлеб. На выбор хлеба Даше уходило куда больше времени. Собственно хлеба, в конце концов, я ей не покупал. Двенадцать-пятнадцать пирожных, уничтожение которых абсолютно никак не сказывалось на фигуре моей любимой девочки, впрочем, я об этом тогда и не задумывался, но когда задумался, мне это понравилось, - итак, полтора десятка или даже больше пирожных безобразно заполняли купленный здесь же в булочной пакет, мажа легкомысленным кремом суровую спину одинокой ржаной буханки.

Хлеб продавала породистой и богатой красоты женщина. Всё время, пока я выбирал хлеб и сопутствующие мучные товары, она, улыбаясь, смотрела на меня. Она очень хорошо на меня смотрела, и я останавливался, и прекращал шляться от витрины к витрине, разглядывая мелочь на своей ладони, и тоже очень хорошо смотрел на нее.

- Почему у вас не продают пива? - интересовался я. - Вы не можете повлиять на это? Я вам организую небольшую, но постоянную прибыль.

На улице дети расплюснутым от долгого надавливания в теплый асфальт сучком делали последнюю завитушку над «ижицей», чтобы множественное число увековеченного в детской письменности объекта превратилось в единственное.

Солнце светило мне в затылок, и моя тень обгоняла меня, и забегала вперед, а потом окончательно терялась в подъезде дома, приютившего нас с Дашей, и порой поджидала меня до следующего утра; грохнувшая входная дверь подъезда оповещала мою девочку о возвращении меня.

Шум включенного душа - первое, что я слышал, заходя в квартиру.

«Егорушка, это ты?» - второе.

Ну, конечно же, это я. Чтоб удостовериться в том, что это действительно я, я подходил к зеркалу и видел свои по-собачьи счастливые глаза.

К заводскому району Грозного примыкает поселок Черноречье. Из Черноречья через Заводской район, выбитые из Грозного чечены, возвращаются в город. Чтобы убить тех, кто их изгнал. И тех, кто занял их

осквернённое жильё. Например, меня.

Нас подняли в пять утра. Плохиш привычно заорал, никто никак не отреагировал. Все устали за прошедший день, наглухо заделывая, заваливая, забивая окна первого этажа.

В семь утра нам заявили, что мы идём делать зачистку в Заводском районе. Развод провёл чин из штаба, приехавший из Управления на «козелке» (следом катил БТР, но он даже не въехал во двор - развернулся и умчал, подсакивая на ухабах). Я присмотрелся к чину - узнал: тот самый, что нам школу показывал в первый день, и тот же, что подорвавшегося пацана забирал.

Чин - черноволосый, с усиками, строгий без хамства и позы, невысокий, ладный. Звёзды свои он поснимал, на плечевых лямках остались дырки в форме треугольника, поэтому и звание непонятно. Для «старлея» чин стар, для «полкана» - молод. Мы, собственно, и не интересовались. Чин сказал, что по офицерам снайпера стреляют в первую очередь, потому, мол, и поснимал звёзды.

- А по прапорщикам? - спросил Плохиш. Он прапорщик. Все поняли, что Плохиш дурочку валяет. Семёныч посмотрел на Плохиша и тот отстал.

Чин Семёнычу посоветовал тоже звёзды снять. Семёныч сказал, что под броником всё равно не видно. Это он отговорился. Его майорские, пятиконечные, ему будто в плечи вросли. Хотя, если ему дадут подпола, это быстро пройдет.

Чин пояснил Семёнычу задачу.

Хасан вызвался в аррьергард. Чин узнал, в чем дело, немного поговорил с Хасаном, и дал добро, хотя его никто не спрашивал.

Сам чин остался на базе. Вместе с ним остались пацаны с постов, дневальный - Монах, начштаба, и помощник повара, азербайджанец, Руслан Аружев. Плохиш увязался с нами, упросил Семёныча.

Хасан с двумя бойцами из своего отделения пошёл впереди. Метрах в тридцати за ними - мы, - по двое; сорок человек.

Бежим, топаем. Стараемся держаться домов. От земли несёт сыростью, но какой-то непривычной, южной, мутной. Туманится. Броники тяжелые, сферу через пятнадцать минут захотелось снять и выкинуть в кусты. Хасан поднял руку, мы остановились.

- Сейчас он нас прямо к своим выведет! - съязвил Гоша.

Я прислонился сферой к стене деревянного дома с выгоревшими окнами, - чтоб шея отдохнула. Из дома со сквозняком пахнуло неприятно. Я заглянул вовнутрь помещения - битый кирпич, тряпьё. На черный выжженный потолок налип белый пух. Ближе к окну лежит пожелтевший

от сырости раскрытый «Коран», с оборванными страницами.

- Давай Аружеву «Коран» возьмем? - предложил кто-то.

- Да у него страницы на подтирки вырваны!

- Во, чичи, писанием подтираются!

- Да не, это наши, чичи вообще не подтираются. Они моются. С кувшином ходят. Я в армии видел.

- Поди, дембеля чеченского подмывал? - опять язвит Гоша.

Саня Скворцов перегнулся через подоконник, и разглядывает паленые внутренности дома.

- Бля, пацаны, там валяется кто-то! Мужик какой-то! - Скворец показывает рукой в угол помещения.

Перегнувшись через подоконник следующего окна, Язва осветил ближайший угол фонариком.

- Кто там, Гош?

- Мужик.

- Живой?

- Живой. Был.

Подошел Куцый:

- В дом не лезьте!

В углу дома лежит обгоревший труп. Совершенно голый. Открытый рот, губ нет, закинута голова, разломанный надвое кадык. Горелый, черный, задранный вверх, будто эрегированный член.

- Мужики, никто не хочет искусственное дыхание ему сделать, рот в рот, может не поздно ещё? - это опять Гоша.

...Кончились сельские развалины, начались «хрущёвки». За ними - высотки, полувысотки, недовысотки, вообще уже не высотки. Наверное, на луне пейзаж гораздо оживленнее и веселее.

Серьёзные, грузные, внимательные гуляки, мы пересекаем пустыри и тихие, безлюдные кварталы.

Очень страшно, очень хочется жить. Так нравится жить, так прекрасно жить. Даша...

На подходе к заводскому блок-посту, мы связались с ним по рации, предупредили, чтоб своих не постреляли.

На блок-посту человек десять. БТР стоит рядом. Пацаны-срочники высыпают из поста, сразу просят закурить. Через минуту у срочников за каждым ухом по сигарете. Пацаны все откуда то из Тмутаракани. Один - тувинец, с СВД-шкой. Глаз совсем не видно, когда улыбается. А улыбается он всё время.

Старший поста объясняет:

- Вон из того корпуса ночью постреливают... - он показывает в сторону Черноречья, на заводское здание. - Здесь объездных дорог в город полно, мы на главной стоим... Наша комендатура в низинке, пять минут отсюда. Мы базу уже предупредили, что вы будете работать. А то мы по всем шмаляем. Здесь мирным жителям делать не хера.

Держим путь к заводским корпусам.

Много железа, тёмные окна, неприкуренные трубы, ржавые лестницы... Корпуса видятся чуждыми и нежилыми.

Метров за двести переходим на трусцу. Бежим, пригибаясь, кустами.

Ежесекундно поглядываю на заводские корпуса: «Сейчас цокнет и прямо мне в голову. Даже если сферу не пробьёт, просто шея сломается и всё... А почему, собственно, тебе?...

...Или в грудь? СВДэшка броник пробивает, пробивает тело, пуля выходит где-нибудь под лопаткой, и, не в силах пробить вторую половинку броника, ricochetит обратно в тело, делает злобный зигзаг во внутренностях и застревает, например, в селезёнке. Всё, амбец. И чего мы бежим? Можно было доползти ведь. Куда торопимся? Цокнет, и прямо в голову. Или не меня?...

...Иди на хрен, заебал ты ныть».

Кусты кончились. До первого двухэтажного корпуса метров пятьдесят. Он стоит тыльной стороной к нам.

Куцый разглядывает корпуса в бинокль. Каждое отделение держит на прицеле определенный Семёнычем участок видимых нам корпусов.

- Ну, давайте, ребятки! - приказывает Семёныч.

Гоша, Хасан и его отделение бегут первыми. Остальные сидят. С крыши ближайшего корпуса беззвучно взлетает несколько ворон. Левая рука не держит автомат ровно, дрожит. Можно лечь, но земля грязная, сырая. Никто не ложится, все сидят на корточках.

- Ташевский, давай своих!

Бегу первый, за спиной десять пацанов, бойцы, братки, Шея - замыкающий. Очень неудобно в бронике бегать. Бля, как же неудобно в нем бежать. Кажется, не было бы на мне броника, я бы взлетел. Медленно бежишь, как от чудовища во сне. Только потеешь. Какое, наверное, наслаждение целится в неуклюжих медленных, нелепых, тёплых людей.

«Господи, только бы не сейчас! Ну, давай чуть-чуть попозже, милый господи! Милый мой, хороший, давай не сейчас!»

Взвод Кости Столяра держит под прицелами окна и крышу. Гоша, Хасан пошли со своими налево, вдоль тыльной стороны корпуса.

Мы пойдем вдоль правой стороны здания. Останавливаюсь возле

первого окна, оглядываюсь. Пацаны все мокрые, розовые.

- Скворец, давай дальше! - говорю Сане Скворцову. Он обходит меня, ссутулившись, делает прыжок и через секунду оборачивается ко мне, стоя с другого края оконного проёма. Лицо как у всех нас розовое, а губы бескровные. Из-под пряди его рыжих, волнистых волос, стекает капля пота.

Смотрю сбоку на окно, оно огромное, решёток нет, рам нет, пустой проём. Заглядываю наискось вовнутрь здания. Груды железа, бетон, балки. Глазами и кивком головы на окно спрашиваю у Саньки, что он видит со своей стороны. Санька косится в здание, потом недоуменно пожимает губами. Ничего особенного, мол, не вижу. Держим окно на прицеле. Подходит Куцый.

- Чего там, Егор? - спрашивает у меня.

- Да ничего, свалка.

Когда Куцый рядом - спокойно. Через два часа по прилету в Грозный его весь отряд не сговариваясь стал называть «Семёныч». Конечно, пока никаких чинов рядом нет. У Семёныча круглое лицо с густыми усами. Широкий, пористый нос. Хорошо поставленный командирский голос. Порой орёт на нас, как пастух на глупую скотину. Те, кто давно его знают, - не боятся. Нормальный армейский голос. А как иначе, если не орать? Иногда мне кажется, что Куцый жадный. До чинов, до денег. Что он слишком хочет получить подпола.

«А почему бы ему не хотеть?» - отвечаю сам себе.

- Сынок! - Куцый подзывает Шею. - Возьми со своими окна с этой стороны. Не суйтесь никуда, а то друг друга перебьём.

Вдоль нашей стены четыре окна. Пацаны встают, так же как я с Санькой, по двое возле каждого. Несколько человек, пригнувшись, отбегают от здания, чтоб видеть второй этаж. Ещё двое встают на углах. Куцый связывается по рации с парнями на другой стороне корпуса. Хасан отвечает. Говорит, что они тоже у края здания стоят. Куцый с десятком бойцов и парни с того края, все вместе поворачивают за угол, с разных сторон идут ко входу.

Мы ждём...

Ненавижу свою «сферу». Утоплю ее в Тереке сегодня же. Далеко, интересно, этот Терек? Надо у Хасана спросить.

По диагонали от меня, внутри здания - полуоткрытая раздолбанная дверь.

Даже не зреньем, и не слухом, а всем существом своим я ощутил движение за этой дверью. Надо было перчатку снять. Куда удобней, когда мякотью указательного чувствуешь спусковой крючок. И цевьё лежит в

ладони удобно, как лодыжка моей девочки, когда я ей холодные пальчики массажиро...

Дверь открылась.

Вот было бы забавно, если б командир отделения Ташевский имел характер неуравновешенный, истеричный. Как раз Плохишу в лоб попал бы.

Плохиш поднял кулак с поднятым вверх средним пальцем. Это он нас так поприветствовал.

В проёме открытой двери я вижу, как пацаны боком, в шахматном порядке поднимаются по лестнице внутри здания, задрав дула автоматов вверх. Первым идёт Хасан...

Появляется Семёныч, делает поднимающимся парням знаки, чтоб под ноги смотрели, - могут быть растяжки. Ступая будто по комнате с чутко спящим больным ребенком, парни исчезают, повернув на лестничной площадке.

Смотрю на лестницу, ежесекундно ожидая выстрелов или взрыва. Иногда в лестничный пролет сыпется песок и мелкие камни. Задираю голову вверх, - будет очень неприятно, если со второго этажа нам на головы кинут пару гранат.

Через пятнадцать минут на лестнице раздается мерный и веселый топот.

- Спускаются! - с улыбкой констатирует Саня.

Первым появляется Плохиш, заходит в просматриваемое мной и Санькой помещение, аккуратно вспрыгивает на бетонную балку, и начинает мочиться на пол, поводя бедрами как радаром и мечтательно глядя в потолок. Затем косится на нас и риторически спрашивает:

- Любуетесь, педофилы?

Через пять минут собираемся на перекур.

- На третьем этаже растяжка стоит, - рассказывает мне Хасан. - Две ступени не дошёл. Спасибо, Слава Тельман заметил. Тельман! С меня пузырь... На чердаке лежанка. Гильзы валяются 7,62. Вид из бойницы отличный. Мы его растяжку на лестнице оставили, и ещё две новых натянули.

...Через три часа мы зачистили все пять заводских корпусов, и усадились на чердаке пятого обедать. Тушёнка, килька, хлеб, лук...

- Семёныч, может по соточке? - предлагает Плохиш.

- А у тебя есть? - интересуется командир.

По особым модуляциям в голосе Семёныча, Плохиш понимает, что тема поднята преждевременно, и припасенный в эрдэшке пузырь имеет

шанс быть разбитым о его же, Плохиша, круглую белесую голову.

- Откуда! - отзывается Плохиш.

- Кто без особого разрешения соизволит, может сразу собирать вещи, - строго говорит Семёныч.

- Парни, может наёбаемся всем отрядом? - предлагает Гоша. - Нас Семёныч домой ушлёт.

Такие шуточки Гоше позволительны. На любого другого, кто вздумал бы пошутить по поводу слов Семёныча, посмотрели бы как на дурака.

- Главное Аружеву ничего не говорить, а то у него запой сразу начнётся, - добавляет Плохиш. Руслан Аружев, помощник Плохиша, оставшийся на базе - трусит, это видят все.

Жрём всухомятку, хрустим луком, скоблим ложками консервные банки, и тут Санька Скворец, сидящий на корточках возле окна, задумчиво говорит:

- Парни, а вон чеченцы...

По дороге быстрым шагом к нашему корпусу идут шесть человек. Озираются по сторонам, оружия вроде нет, одеты в чёрные короткие кожанки, сапоги, вязанные шапочки. Только один в кроссовках и в норковой шапке.

Спускаемся вниз. По приказу Семёныча часть бойцов, выйдя из здания, убегает вперёд, часть остается в здании. Мы с Шеей и с моим отделением, притаились у больших окон первого этажа с той стороны, откуда идут чеченцы.

Через пару длинных минут, они появляются. Мы не смотрим, чтоб нас не засекли. Слушаем. Чечены идут молча, я слышу как один из них, почему-то я думаю, что это именно тот, что в кроссовках, заскользил по грязи и тихо по-русски, но с акцентом матерно выругался. Как-то тошно от его голоса. Наверное, от произнесения им вслух нецензурных обозначений половых органов, я физиологически чувствую, что он, - живой человек. Мягкий, белый, волосатый, потный, живой...

Комвзвода улыбается.

Стою, прижавшись спиной к стене возле окна. Боковым зрением смотрю на видимый мне просвет - два метра от угла здания. На миг в просвете появляется каждый из идущих, - один, второй, третий... Всё, шестой.

- Пошли!

Грузно, но аккуратно выпрыгиваем, или даже вышагиваем из низко расположенного окна, Шея, я, Скворец...

Несколько метров до угла здания, - поворачиваем вслед за чеченами, -

последний из них обернулся на звук наших шагов. - На землю! - заорал Шея, и, подбежав, ударил сбоку прикладом автомата по лицу ближнего чеченца, того самого, что в норковой шапке. Чеченец взмахнул ногами в воздухе, и кувыркнулся в грязь, его шапка юркнула в кусты.

Остальные молча повалились на землю.

Подбегая, я наступаю на голову одному из чичей, и, едва не падаю, потому что голова его неожиданно глубоко, как в масло, влезла в грязь. Мне даже показалось, что я чувствую, как он пытается мышцами шеи выдержать мой вес. Хотя вряд ли я могу почувствовать это в берцах.

Через минуту подходят наши. Мы обыскиваем чеченцев. Оружия у них нет. Семечки в карманах. С лица чеченца, угодившего под автомат Шеи, обильно течет кровь. Чеченец сжимает скулу в кулаке и безумными глазами смотрит на Шею.

- Чего на заводе надо? - спрашивает Семёныч у чеченцев. От его голоса становится зябко.

- Мы работаем здесь, - отвечает один из них. Но одновременно с ним другой чеченец говорит:

- Мы в город идём.

Стало тихо.

«Что же они ничего не скажут!» - думаю я.

Чеченцы переминаются.

Семёныча вызывают по рации пацаны, оставшиеся на чердаке для наблюдения. Он отходит в сторону, связывается с бойцами.

Оказывается, что по объездной дороге едет грузовик, в кабине два человека в гражданке, вроде чичи; кузов открытый, пустой.

Одно отделение остаётся с задержанными чеченцами. Мы бежим к перекрёстку, навстречу грузовику, мнётся и ломается под тяжелыми ногами бесцветная, сухая чеченская полынь-трава.

Шагов через сорок скатываемся, безжалостно мажа задницы, ляжки и руки, в кусты, по разные стороны дороги. Пацаны спешно снимают автоматы с предохранителей, патроны давно досланы.

Слышно, что грузовик едет с большой скоростью, через минуту мы его видим. За рулем, действительно, кавказцы.

Шея, лежащий рядом с Семёнычем, привстает на колени и даёт очередь вверх. Грузовик поддает газку. В ту же секунду по грузовику начинается пальба. Стекло со стороны пассажира летит брызгами. Я тоже даю очередь, запускаю первую порцию свинца в хмурое чеченское небо, но стрелять уже не за чем: машина круто останавливается. Из кустов вылетает Плохиш, открывает дверь со стороны водителя и вытаскивает водителя за

шиворот. Он живой, неразборчиво ругается, наверное, по-чеченски. Подходит Хасан, что-то негромко говорит водителю, и тот затихает, удивленно глядя на Хасана.

Пассажира вытаскивают за ноги. Он стучается головой о подножку. У него прострелена щека, а на груди будто разбита банка с вареньем, - чёрная густая жидкость и налипшее на это месиво стекло с лобовухи. Он мёртв.

Пацаны лезут в машину, копошатся в бардачке, поднимают сиденья...

- Нет ни черта!

Хасан ловко запрыгивает в кузов. Топчется там, потом усаживается на кабину и закуривает. Он любит так красиво присесть где-нибудь, чтоб поэффектней.

Что делать дальше никто не знает. Семёныч и Шея стоят поодаль, командир что-то приказывает Шее.

- Пошли! - говорит Шея бойцам. - Труп на обочину спихните.

- А что с этим? - спрашивает Саня Скворец, стоящий возле водителя. Тот лежит на животе, накрыв голову руками. Услышав Саню, чеченец поднял голову и, поискав глазами Хасана, крикнул ему:

- Эй, брат, вы что?

- Давай, Сань! - говорит Шея.

Я вижу, как у Скворца трясутся руки. Он поднимает автомат, нажимает на спусковой крючок, но выстрела нет, - автомат на предохранителе. Чеченец прытко встает на колени и хватает Санькин автомат за ствол. Санька судорожно дергает автомат, но чеченец держится крепко. Все это, впрочем, продолжается не более секунды. Димка Астахов бьёт чеченца ногой в подбородок, тот отпускает ствол, и заваливается на бок. Димка тут же стреляет ему в лицо одиночным.

Пуля попадает в переносицу. На рожу Плохиша, стоящего возле, как будто махнули сырой малярной кистью, - всё лицо разом покрыли брызги развороченной глазницы.

- Тьфу, бля! - ругается Плохиш и оттирается рукавом. Брезгливо смотрит на рукав, и начинает оттирать его другим рукавом.

Санька Скворец, отвернувшись, блюет не переваренной килькой.

Уходим.

Плохиш крутится возле машины. Я оборачиваюсь и вижу, как он обливает убитых чеченов бензином из канистры, найденной в грузовике.

Через минуту он, довольный, догоняет меня, в канистре болтаются остатки бензина. Возле грузовика, потрескивая, горят два костра.

...Оставшееся возле корпусов отделение выстроило восемь чеченцев у стены.

- Спросите у своих, кто хочет? - тихо говорит мне и Хасану Шея, кивая на пленных.

Вызывается человек пять. Чеченцы ни о чём не подозревают, стоят, положив руки на стены. Кажется, что щелчки предохранителей слышны за десятки метров, но, нет, они ничего не слышат.

Шея махнул рукой. Я вздрогнул. Стрельба продолжается секунд сорок. Убиваемые шевелятся, вздрагивают плечами, сгибаются-разгибаются ноги, будто впали в дурной сон, и вот-вот должны проснуться. Но постепенно движения становятся всё слабее и ленивей.

Подбежал Плохиш с канистрой, аккуратно облил расстрелянных.

- А вдруг они не... боевики? - спрашивает Скворец у меня за спиной.

Я молчу. Смотрю на дым. И тут в сапогах у расстрелянных начинают взрываться патроны. В сапоги-то мы к ним и не залезли.

Ну вот, и отвечать не надо.

Связавшись с нами по рации, подъехал БТР из заводской комендатуры. На броне - солдатики.

- Парни, шашлычку не хотите? - это, конечно, Гоша сказал.

- С почином вас, ребятки!
Все ждут, что Семёныч скажет. Ну, Семёныч, ну родной...
- Десять бутылок водки на стол.
- Ура, - констатирует Гоша спокойно.
- Нас же пятьдесят человек, Семёныч! - это Шея.
- Я пить не буду, - вставляет Аружев.
- Иди картошку чисть, пацифист, тебе никто не предлагает. Семёныч, может пятнадцать?

- Десять.
Суетимся, как в первый раз. Лук, консервы, хлеб, картошка, счастье какое, а.

Водка, чудо моё, девочка. Горькая моя сладкая. Прозрачная душа моя.
Шея бьёт ладонью по доньшку бутылки, пробка вылетает, но разбрызгивается горькой разве что несколько капель. Сила удара просчитана, как сила отцовского подзатыльника.

Семёныч говорит простые слова. Стоим, сжав кружки, фляжки, стаканы, улыбаемся.

Спасибо, Семёныч, все правильно сказал.
Первая. Как парку в желудке поддали. Протопи ты мне баньку, хозяйюшка...

Лук хрустит, соль хрустит, поспешно и с трудом сглатывается хлеб, чтоб захохотать во весь розовый рот на очередную дурь из уст товарища.

Вторая... Ай, жарко.
- Братья по оружию и по отсутствию разума! - говорю. Какая разница, что говорю. Семёныч, отец родной! Плохиш, поджигатель, твою мать! Гоша! Хасан! Родные мои...

И курить.
И обратно.
Водка, конечно, быстро кончилась.
Но раз Семёныч сказал, что десять, значит, так тому и быть. Не девять и не одиннадцать. Десять. Мы всё понимаем. Приказ, всё-таки...

Ещё бы одну и хорош. Тсс!
Мы, чай, не с пустыми руками из дома приехали. Засовываю пузырь спирта за пазуху и поднимаюсь на второй этаж. Наши пацаны уже ждут. У

Хасана кружка, у Саньки Скворца луковица. Полный комплект.

Стукаемся кружками. Глот-глот-глот.

Опять стукаемся.

Ещё пьём.

...Не надо бы курить. А то мутит уже.

Саня Скворец медленно по стене съезжает вниз, присаживается на корточки.

Глаза тоскливые.

Хасан пошел отлить. Плохиш побежал за Хасаном, и с диким криком прыгнул ему на шею, - забавляется.

Съезжаю по стене, сажусь на корточки напротив Саньки.

Всё понимаю. Не надо об этом говорить. Мы сегодня лишили жизни восемь человек.

Пойдем-ка, Саня, спать.

Я часто брал Дэзи за голову, и пытался пристально посмотреть ей в глаза. Она вырывалась.

Дэзи была умилительно красивой дворнягой. Пытаясь заглянуть в глубины памяти, - а где как не там, я смогу увидеть Дэзи, ведь фотографий ее нет, - мне она кажется нежно синего окраса, в чёрных пятнах, с легкомысленным хвостом, с вислыми ушами спаниеля. Но цвета детства обманчивы. Так что остановимся на том, что она была очаровательна.

Я не ел с ней с одной чашки, она не выказывала чудеса понимания, и не спасала мне жизнь, не было этого ничего, что я с удовольствием бы описал, ни взирая на то, что кто-то описывал это раньше.

Помню разве что один случай, удививший меня.

У дяди Павла в огороде стояла ёмкость с водой, куда он запускал карасей. Лениво плавая в ёмкости, караси дожидались того дня, когда дядя Павел возжелает рыбки. Но рыба стала еженощно исчезать, и дядя Павел, пересчитывавший карасей по утрам, догадался, кто тому виной. Вскоре в поставленный им капкан попал кот.

Так вот, из всех дворовых собак, столпившихся вокруг кота и злобно лающих на него, только Дэзи схватила кота за шиворот и воистину зверски потерзала его, закатившего глаза от ужаса - другие собаки на это, к моему удивлению, не решились.

«Чего же они бегают за котами, если так бояться их укусить?» - подумал я тогда, и зауважал Дэзи. В знак уважения я накормил ее в тот же день колбасой, и когда отец, возвращавшийся с работы, увидел меня за этим занятием, он только сказал: «На ужин нам оставь», и ушёл в дом.

Иногда я водил Дэзи купать. Метрах в ста от нашего дома был чахлый прудик, но Дэзи не шла за мной туда, и поэтому мне приходилось её заманивать. Я брал дома пакет с печеньями, и каждые три-четыре шага бросая их Дэзи, подводил свою собаку прямо к реке, а потом спихивал с мостика в воду. Дэзи с трудом выползала на обвисший черными, оползающими в воду комьями берег и отряхивалась.

Первый раз она ощенилась зимой, мне в ту пору, было, думаю, лет пять. Отец мне о судьбе дэзиного потомства ничего не сказал, но тетя Аня проболталась: «Дэзи-то ваша щеночков принесла, а они уже все мёртвые».

Как выяснилось, наша собачка разродилась на заброшенной, полуразваленной даче, неподалёку от дома.

Стояли холода, я сидел дома; отец, подняв воротник, и, куря на ходу, возвращался, когда уже было темно, но я видел в окно его широкоплечую фигуру, его чёрную шубу, его шапку, над которой вился и тут же рассеивался дымок.

В этот тридцатиградусный мороз наша Дэзи породила несколько щенятков, которые через полчаса замерзли, - она была юной и бестолковой собакой, и, кроме того, наверное, постеснялась рожать перед нами, вблизи нас - двоих мужчин.

Уже замерзших, она перетаскала щенков на крыльцо нашего дома. Я узнал об этом от тети Ани, и сам их, заиндевелых, скукоженных, со слипшимися глазками, к счастью, не видел.

Узнав о гибели щенков, я ужаснулся, в том числе и тому, что у Дэзи больше не будет детишек, но отец успокоил меня. Сказал, что будет и много.

Странно, но меня совершенно не беспокоил вопрос, откуда они возьмутся. То есть, я знал, что их родит Дэзи, но по какой причине и вследствие чего она размножается, меня совершенно не волновало.

Ещё раз Дэзи родила, видимо, когда отец в предчувствие очередного запоя отвёз меня к деду Сергею. Куда делись щенки, не знаю. Отец бы их топить не стал точно. Может, дядя Павел утопил, он был большой живодёр.

Несколько раз Дэзи убегала. Она пропадала по несколько дней и всегда возвращалась.

Но однажды ее не было полтора месяца. Пока она отсутствовала, я не плакал, но каждое утро выходил к ее конуре. Тетя Аня сказала, что Дэзи видели на правобережной стороне города, «кобели за ней увиваются», добавила тетя Аня, и меня это покорило.

Не знаю, как Дэзи перебиралась через мост: по нему со страшным шумом непрерывно шли трамваи, автобусы и авто, - я никогда не видел,

чтобы по мосту бегали собаки. Может быть, она перебиралась по мосту ночью?

Как бы то ни было, она вернулась. У неё была течка.

Мне пришлось оценить степень известности Дэзи в собачьей среде, вернее среди беспризорных кобелей, проживающих на территории Святого Спаса. Наверное, наша длинношерстая вислоухая сучечка произвела фурор, появившись в «большом городе», - так мы называли правобережье Святого Спаса, где в отличие от наших тихих районов были дома-высотки, цирк, стадион и так далее.

Как-то утром, выйдя из дома (по утрам я писал с крыльца - «удобства» у нас были во дворе, идти к ним мне было лень), я обнаружил на улице свору разномастных, как партизаны, собак. Они нерешительно толпились за забором, иные даже вставали на задние лапы, положив лапы на поперечную рейку, скрепляющую колья забора. Они могли бы пролезть в щели, забор был весьма условным, но своим животным чутьем кобели, видимо, понимали, что это чужая территория и делать во дворе им нечего.

Дэзи задумчиво смотрела на гостей.

Босиком, ёжась от холода, в трусиках и в маечке, я спустился с крыльца, испуганно косясь на собак, и одновременно выискивая на земле камушек побольше. Площадка у крыльца была уложена щебнем, и я решил использовать его.

До забора корявые кругляши щебенки едва долетали, но на кобелей это подействовало, отшатнувшись от забора, они незлобно полаяли для приличия и убежали за угол дома. Дэзи, как мне показалось, равнодушно проводила их взглядом.

- Ах, ты моя псинка! - сказал я, и, немного поразмыслив, как был, босыми ножками, ступая на цыпочки, добежал до конуры.

- Они тебя обижают? - спросил я, и, не дожидаясь ответа, прижал Дэзи к себе. Вообще такие нежности мне были не свойственны, но тут я что-то расчувствовался.

- Егор, малыш! Ну, ты что, мой родной? - позвал меня вышедший из дома отец.

Я вытер ноги о половик и вернулся в кровать. Но отчего-то мне было беспокойно, и быстренько одевшись, я вновь побежал на улицу. Дэзи в конуре не было.

Загрузив в карманы курточки щебень, я пошёл спасать мою собаку.

Дойдя до угла дома, я решил, что вооружился плохо, вернулся к забору и вытащил подломанный колик.

За углом нашего дома проходила полупроселочная серая дорога,

поросшая кустами. Чуть дальше она срасталась с асфальтовой, видневшейся за деревьями. Дэзи стояла посредине дороги, ее крыл крупный кобель. Кобель делал свое дело угрюмо и сосредоточенно. Дэзи, повернув голову, смотрела на меня; ее безропотный взгляд и мой, ошеломлённый, встретились.

«Как она может позволить так с собой поступать?» - подумал я, открыв рот от возмущения.

- Ах ты, гадина! - сказал я вслух, едва не заплакав.

Я размахнулся и кинул в спаривающихся собак камнем. Они дернулись, но не перестали совокупляться.

- Ах ты, гадина! - ещё раз повторил я.

- Блядь! - с остервенением выкрикнул я мало знакомое мне слово, и, перехватив колик побежал к Дэзи и к ее смурному, конвульсивно двигающемуся товарищу.

Собаки с трудом отделились друг от друга. Кобель, не оборачиваясь, побежал по дороге, словно по делу, Дэзи осталась стоять, по-прежнему равнодушно глядя на меня. Не добежав до собаки несколько шагов, я остановился. Ударить ее коликом мне было страшно, но обида за то, что она так себя ведет, так вот может делать, раздирала моё детское сердце.

Путаясь в ткани и швах, я достал из курточки щебень и, замахнувшись, бросил в свою собаку. Дэзи взвилась вверх, неестественно изогнулась и увернулась-таки от камня. Чертыхнувшись, она встала на четыре лапы и недоуменно посмотрела на меня, всё ещё не решаясь убежать.

- Ну что за гадина! - крикнул я уже для нее лично, будто взывая к ее совести, и запустил в Дэзи ещё один камень.

Она отбежала, посекундно оглядываясь на меня. Это меня ещё больше разозлило. Мне хотелось ее немедленного раскаянья, мне хотелось, чтобы Дэзи кинулась ко мне подлизываться, подметая грешным хвостом землю, а она - натворила и наутёк.

Я сунулся в карман, не обнаружил там больше щебёнки, и побежал за собакой с пустыми руками, выискивая не земле, что бросить в нее. Я подбирал полусырые комья, и, спотыкаясь, метил в Дэзи.

Она отбегала от меня, сохраняя расстояние детского броска, - отбегала как от хозяина, - не очень торопясь.

Я гнал ее до стен старых складов, находившихся неподалёку от нашего дома. У стен росли когтистые, кривые кусты. Она прошмыгнула в гущу; царапаясь и корябаясь, я стал пробираться за ней, видя, как терпеливо она ожидает меня. Подобравшись к Дэзи, я обнаружил в ее глазах уже не

безропотность или удивление, а отчаянье, граничащее с раздражением. Я попытался схватить ее за холку, и тут Дэзи зарычала на меня. Я увидел вблизи мелкий ряд ее зубов, острых и белых и убрал руку.

- Ах, ты! - ещё раз сказал я, кажется, уже понимая, что лишился своей собаки.

В исступлении я стал ломать сук, Дэзи вильнула между кустов. Я побежал за ней, гнал ее до пруда, - зачем-то мне хотелось спихнуть собаку в воду, омыть её. Она послушно добежала прямо до берега, но когда я стал подбегать к ней, злобно, истерично залаяла на меня и, увернувшись от удара палкой, рванула вдоль берега так быстро, что я понял - всё, не догнать.

Вечером она вернулась. Я вышел к ней, Дэзи брезгливо посмотрела на меня. С тех пор она только так и смотрела на меня, брезгливо.

«Странно, - думаю я, засыпая, - вот мы, пятьдесят душ лежим, спим в каком-то доме, на пустыре, посреди чужого города. Совсем одни».

Открываю глаза, вижу дневалящего Скворца, задумчиво взирающего в пустоту, обвожу взглядом парней, укутанных в серые одеяла, автоматы висят у кроватей, берцы стоят на полу...

Вспоминаю то, что видел несколько часов назад с крыши: неприветливую землю, и сухие кусты, и помойку, и чужие дома вокруг.

«Кто сказал, что этот город нам подвластен? В разных углах города спим мы, чужие здесь, по утрам выбегаем в город, убиваем всех, кого встретим, и снова отсиживаемся...»

И снова смотрю на спящих, здоровых мужиков, тепло и спокойно засыпающих.

Ночью мне приснился Плохиш, который, как картошину, чистил голову мертвого чеченца. Аккуратно снимал ножом кожу, под которой открывался белый череп.

Проснулся, вздрогнув. Открыл глаза. Темно, мрачно смотрятся бойницы на окнах. Саня читает растрёпанную книгу. Пацаны мерно дышат. Как в интернате... Только тогда по потолку пролетали отсветы фар проезжающих по дороге машин, а здесь - тихая, сладкая на вкус от мужского пота и чуть скисшего запаха отсыревших берцев, полутемь. И потрескивание рации...

Поднялся утром в нервном состоянии. Чувствую, что мне страшно.

По школе всю ночь периодически постреливали, то с одной стороны, то с другой. Наши посты молчат, затаясь, вроде как мы мирные люди.

А я боюсь...

Холодные ладони, и маята, и много без вкуса выкуренных сигарет, и нелепые раздумья, которые неотвязно крутятся в голове.

Так хочется жить. Почему так хочется жить? Почему так же не хочется жить в обычные дни, в мирные? Потому что никто не ограничивает во времени? Живи - не хочу...

Вопросы простые, ответы простые, чувства простые до тошноты. Люди так давно ходят по земле, вряд ли они способны испытать что-то новое. Даже конец света ничего нового не даст...

Аружев подрядился отрядным писарем, я смотрю ему через плечо, как он заполняет какую-то ведомость, аккуратно вписывая наши фамилии, и, сам от себя неприязненно содрогаясь, прикидываю: «Допустим, убьют каждого третьего, - и прыгаю глазами по списку бойцов... - Аружев, Астахов, Жариков... Блин, Гошу убьют! - на секунду огорчаюсь, и спешу дальше, - раз, два, три... И Женю Кизякова убьют!...раз, два три... Скворцов, Суханов... Ташевский. Я третий,» - заключаю про себя таким тоном, каким мой врач сообщил бы мне, что у меня рак мозга.

«Ладно, ерунда...» - отмахиваюсь сам от себя.

«Чушь какая...» - ещё раз говорю себе, поёживаясь от внутрисердечного ознобчика, и сдерживаю желание дать подзатыльник корпящему над листком Аружеву. У него светло-коричневый затылок в складочку и густые черные волосы. Он заполняет каждую ведомость по сорок минут, чтобы изобразить свою необыкновенную занятость. В перерывах между писарством, он крутится на кухне, ежеминутно выслушивая ругань Плохиша.

Мы вывесили календарь командировки. Честно отсчитали сорок пять дней, и внизу нарисовали борт, затем, автобус, полный улыбающихся рож в беретках, и, наконец, в правом нижнем углу, окраины Святого Спаса.

Прошедшие дни командировки обвели в кружочек и зачеркнули красным фломастером. Фломастер висит на верёвочке, привязанной к гвоздику, вбитому в угол календаря. Под календарем спит Шея. Каждое утро, первым делом, Семёныч говорит:

- Сынок, зарисуй!

В это время появляется Плохиш с чаном супа, и с дрожью в голосе комментирует:

- Сорок пятый день буду зачеркивать я, последний, оставшийся в живых.

Или ещё что-нибудь, вроде:

- Семёныч! Я компот пока не буду готовить. Компот на поминки...

Сегодня Плохиш пришел в натуральном раздражении. Хлопнул

дверью и с порога орёт: - Чего облизываетесь, кобели? Сгущенку в меню увидели? Не будет вам сгущенки! Аружев ее на броник обменял!

Поначалу никто не поверил.

Плохиш грохнул чан на пол, налил себе супа и стал хмуро поедать его.

- Ну, родит же земля таких уродов! - воскликнул он и стукнул ложкой об стол.

- Чего случилось, поварёнок? - выразил Шея интерес коллектива.

Плохиш ещё раз повторил, что вчера вечером Аружев обменял у солдатиков, заезжавших к нам, двадцать банок сгущенки на броник.

- А куда он свой дел?

- А никуда, - пояснил Плохиш. - Ему Семёныч вчера сказал, что он тоже на зачистку пойдет, и Аружев решил, что два броника, это надёжнее, чем один. Идите, посмотрите на это чудо, он там по двору ходит. Думает, его из пушки теперь не пробьешь.

Мы вываливаем на улицу.

- О, Русик... - ласково говорит Гоша. - Доброе утро. Ты куда вырядился?

Парни посмеиваются. На низкорослом и нелепом Руслане сфера, два броника, - один плотно затянутый на пухлых телесах нашего товарища, а поверх - другой, с обвисшими, распушенными лямками. На броники натянут бушлат, который Руслан пытается застегнуть хотя бы на одну пуговицу. Тщетность попыток усугубляется тем, что его и так короткие руки, совершенно потеряли способность сгибаться в локтях.

Увидев нас, Руслан с грациозностью колорадского жука разворачивается, и удаляется на кухню.

- Ну, куда же ты, мимолетное виденье! - зовёт его Гоша.

- Идите есть! - досадливо приказывает, появившийся вслед за нами Семёныч, а сам отправляется в убежище Русика.

Мы завтракаем без сладкого, вернувшийся Семёныч радуется нас второй зачисткой. Пойдем зачищать «хрущевки», - те, что торчат неподалеку от школы.

Иду в туалет покурить, обдумать новость. Стою у раковины, стряхиваю пепел на желтую, растрескавшуюся эмаль.

Мысли, конечно, самые бестолковые - вот-де, нам на первой зачистке повезло, на второй точно не повезёт. А ещё если чичи палёные трупы нашли... Теперь, поди, только и дожидаются, когда мы выйдем...

- Аллах Акбар! - орёт Плохиш, входя в туалет.

- Воистину акбар! - отвечает ему кто-то с толчка.

Плохиш, подскочив, перегибается через железную дверцу,

прикрывающую нужник, громко шлепает кого-то по бритой голове ладонью.

- Плохиш, сука, оборзел? - вопрошает ударенный, - Столяр - узнаю я по голосу.

Пацаны смеются.

«Ну, дурак!» - думаю я весело.

Спасибо Плохишу, отвлѣк.

Вышел из туалета, столкнулся с тем самым чином, что не помню в какой раз уже приезжает. Курировать, что ли нас будет?

- Кто это? - спрашиваю у Шеи.

- Подполковник, - отвечает он кратко, торопясь мимо меня с рулоном бумаги. У пацанов никак не кончается расстройство желудков. Бойцы, на всякий случай, клянут Плохиша. Тот честно соглашается, что мочился в чан со щами, чтоб не скисли.

Чин поднимается на второй этаж с Семёнычем, что-то объясняет нашему командиру. Куцый сделал внимательное лицо, хотя я по его виду чувствую, что он сам себе башка. Чин, впрочем, вроде бы приемлемый мужик. Зачем он только дырку провинтил для ещё одной звезды, непонятно. Может, «комок» с чужого плеча? Но с каких это пор подполковникам комуфляжа не достается? В общем, плевать.

Когда мы построились во дворе, из кухоньки выполз Аружев, и тоже встал в строй, на свое привычное последнее место. Он по-прежнему в двух брониках, только без бушлата. На броники натянута разгрузка. Две гранаты, что топорщатся в грудных карманах разгрузки, делают Руслана похожим на пухлую, малогрудую, свежевыбритую тётю. С Роминого круглого плеча ежесекундно скатывался «Калаш».

- Мы будем зачищать жилые квартиры, - говорит Семёныч. - Детали работы определим на месте. Предупреждаю сразу: в квартирах ничего не брать! Мародерства быть не должно в принципе!... Женщин не трогаем, по этому поводу, думаю, никого предупреждать не надо. Всех мужиков собираем, рассаживаем в «козелки» и ак-ку-рат-но, в полной сохранности довозим сюда. Вопросы есть?

- Аружев интересуется, можно ли трогать мужиков? - спрашивает Плохиш, чистящий возле своей каморки картошку. Естественно, что Аружев ничем ни интересовался. Шутовство на тему однополый любви, - один из самых любимых способов Плохиша доводить Руслана до истерики.

Выходит подпол, прохаживается возле строя, негромко спрашивает у Андрюхи Суханова:

- А почему без бронежилета? Без сферы?

Андрей Суханов, по прозвищу Конь, метр девяносто ростом, прокаченный, белотелый, надел камуфляжную куртку на голое тело, через плечи запустил пулемётные ленты, на правое плечо повесил ПКМ. Сферу тоже не стал надевать, положил ее в ноги. Она лежит на битом асфальте двора, как мяч.

- Есть вопрос, Семёныч! - говорит Шея, игнорируя подпола, (то есть, не испросив у него разрешения обратиться к Куцему), - Может, не будем сферы надевать?

Парни одобрительно загудели.

- И броники тоже! - добавляет Язва.

Семёныч подходит к подполу, перекидывается с ним парой слов.

- По желанию, - громко говорит Семёныч.

Все снимают с себя сферы и броники. Семёныч тоже. Остаёмся в камуфляже и в разгрузках.

Только Руслан не снял ни один из своих бронеков.

До жилого сектора бежим лёгкой трусцой, Руслан постоянно отстаёт.

- Русик, может, мы тебя засыплем ветками, а на обратном пути заберём?
- язвит Гоша.

На подходе к жилому кварталу разделяемся на две группы. Семёныч с двумя отделениями уходит на правую сторону улицы. Мы остаёмся под руководством Шеи на левой.

В первом же сельского типа доме, обнаруживаем вполне пристойную обстановку. Телевизор, видео, ковры - обычная российская квартира.

Кто-то тянется к магнитофону.

- Ничего не трогать! - орёт Шея.

Все топчутся в нерешительности.

На кухне находим мешок арахиса. Пока Шея не видит, рассовываем арахис по карманам.

- Мужики, может отравленный? - сомневается кто-то.

- Давай Аружева угостим? - предлагает Гоша.

- Да ладно, хватит хернёй страдать! - говорит Астахов, зачерпывает горсть арахиса и засыпает в рот. Мы сосредоточенно смотрим, как он жуёт.

- О, а тут ещё подпол! - говорит кто-то.

Открываем, светим фонариками. Хасан лезет вниз. За ним Шея.

- Мужики, тут бутылка вина! - кричит Хасан. Мы не успеваем обрадоваться, как раздаётся короткий чавкающий звук. Нам, нагнувшимся вниз, овеивает лица терпкий запах алкоголя.

- Я же сказал, ничего не трогать! - повторяет комвзвода, и надевает автомат с подмоченным прикладом на плечо.

- Мужики, никому не хочется плюнуть на Шею? - предлагает Язва, чья голова в числе прочих, склонилась над лазом в подпол.

Шея вылезает первым, и выходит на улицу. За ним появляется Хасан, спрашивает глазами: «Ушёл?», и вытаскивает наверх мешок с сушёными фруктами.

Через пару минут вываливаем на улицы, у всех полны рты орехов и прочих вкусок. Присаживаемся во дворике покурить. Появляется Семёныч с парой ребят.

- Как дела?

- Курим вот.

- Ничего не брали?

- Ты ж сказал, Семёныч!

Молчим, Семёныч смотрит на дома.

- Чего ешь-то? - спрашивает у Язвы.

- Да вот, орешки.

Семёныч подставляет широкую красивую ладонь с четкими линиями судьбы. Язва щедро отсыпает даров Востока. Все иронично смотрят на Куцего. Тот жуёт, потом на мгновение прекращает шевелить челюстями:

- Чего уставились?

- Ничего, - пожимает плечами тот, на ком остановил взгляд Куцый. Все начинают смотреть по сторонам.

Через десять минут оцепляем первые «хрущёвки». Находим место наблюдателям и снайперу, чтобы смотрели за окнами, проверяем связь, и вперёд.

Первый подъезд, первая дверь. Стучим... Тишина. Шея бьёт ногой, дверь слетает как картонная.

Ходим по квартире, будто только что ее купили - новые, наглые хозяева. Везде пусто. На полу валяются какие-то лоскуты. В зале на жёлтых обоях написано: «Русские - свиньи». «Русские» с одним «с».

В следующей квартире открывает дверь женщина. Напугана... или, скорей, изображает, что напугана. В квартире ещё одна женщина, по лицу угадываю, что младшая сестра открывшей. Обе говорят без умолку, - они не при чём, мужья уехали с детьми в Россию, а они сторожат квартиры... Через минуту все перестают их слушать. Разве что Саня Скворец смотрит на них с изумлением. Чувствую, что ему хочется успокоить их, сказать, что всё будет хорошо. Только он стесняется. Нас, остолопов.

Шея деловито лазает по шкафам на кухне.

Аружев, доселе стоявший у входа, бочком входит и начинает поднимать крышки у кастрюлей на плите. В кастрюлях суп и каша.

Скворец, пошлявшийся по залу, хватает семейный альбом, лежащий за стеклом объёмного серванта.

Одна из женщин почему-то начинает плакать.

Скворец ежесекундно поднимает на нее глаза, и, не глядя, листает альбом.

- Ну-ка, стой! - тормозит бездумное движение его пальцев, Язва, - Отлистни-ка страничку!

Парни быстренько сходятся, чтоб посмотреть на заинтересовавшую Язву фотку.

На поляроидной карточке изображена та из сестер, что плачет, - в обнимку с каким-то бородатым парнем. Может, муж, может, брат, может, дружок. На плече у него висит «Калаш». Морда наглая, ухмыляется.

- Кто это? - спрашивает Гоша.

Женщина начинает плакать ещё громче.

Шея берет тетку за локоть и уводит ее в ванную.

Старшая сестра, рвётся было за ней, но ее аккуратно усаживают на стул, она делает ещё одну нервозную попытку подняться, и получает звонкий удар ладонью по лбу.

Скворец в каком-то мандраже, начинает открывать двери серванта. Последняя дверь не сразу поддаётся, Саня дергает сильнее, и на него вываливается из шкафа человек. Кто-то из наших сдуру щёлкает затвором, хотя стрелять явно не в кого, - выпавший из шкафа оказывается стариком лет шестидесяти.

Его обыскивают, хотя сразу видно, что в обвисших штанах на резинке и до пупа расстегнутой грязно-белой рубахе оружия не утаишь.

- А чего вы его спрятали? - удивляется Хасан, толкая старшую сестру. Она быстро, перемежая русские слова с чеченскими, начинает говорить, что солдаты убивали всех, изнасиловали соседку в подъезде, и деда ее застрелили и бросили из окна, и ещё что-то, - полный беспредел творили злые солдаты, даже всех чеченских пацанов перестреляли. И вот за старика, за отца, она тоже боится.

Появившийся из ванной Шея, велел забрать обнаруженного старикана с собой.

- А бабу? - предложил Гоша.

- Да хули ее тащить, здесь у каждой второй муж воюет.

- Может, она и вправду не знает, где он, - добавил он, подумав.

- А если ее за ноги повесить, то она вспомнит, где, - отвечает Гоша. - Или хотя бы, по каким дням он заходит домой за жрачкой.

- А где ее повесить? - спрашивает Шея.

- А прямо в «почивалье».

- Семёныч не даст.

Непонятно, шутят они или серьезно.

- Не, давай вернёмся, - останавливается Гоша уже на лестнице. - Пойдем ее... уломаем поговорить на предмет местонахождения супруга? - теревит он Шею, - Я там пассатижи видел. И утюг. Всё для ответственной беседы.

- Хорош! - одергивает его взводный.

Другие квартиры в доме пусты. Кое-где стоит обычная советская мебель, раскрытые шкафы с пустыми вешалками, разбитые телевизоры, кресла с выдраным нутром.

Останавливаемся покурить на одной из лестничных площадок. И тут Аружев, оставленный ниже этажом на площадке с начисто вынесенным окном наблюдать за улицей и домами напротив, передаёт по рации:

- Вижу движение вооруженных людей!

Сыпемся по ступеням к Аружеву. Шея орёт матом, чтоб не грохотали, не суетились, не светились и вообще на хер заглохи все. Комвзвода осторожно присаживается возле бледного Аружева.

- Где? - спрашивает он почему-то шепотом.

- Вон, на третьем этаже!

Шея приглядывается.

- Может, обстреляем? - шёпотом риторически спрашивает Шея.

- Не надо, они уйдут... - говорит Аружев и оборачивается на парней, чтобы его поддержали.

- Не, надо обстрелять, - задумчиво говорит Шея, глядя в бинокль.

Стоит тяжёлая пауза, все щурятся и смотрят на противоположные дома.

- Вот Семёныч руками машет, - продолжает Шея, - Сейчас мы его обстреляем...

- Какой Семёныч? - удивляется Аружев.

- Ты не в артиллерии служил, Русик? - начинает первым смеяться Язва.
- Из тебя бы вышел офигенный наводчик!

Руслан разглядел наших на другой стороне улицы.

Через десять минут мы собираемся возле зачищенного дома. Группа, пошедшая с Семёнычем, задержала двух весьма побитых жизнью чеченцев, трудноопределимого возраста. Ну, лет под сорок, наверное, каждому. Рядом с нашими, - два в высоту, полтора в плечах добрыми молодцами, чичи смотрятся, как шкеты. Спортивные штаны с отвисшими коленями усугубляют картину.

Вызываем с базы приданные нам «козелки», чтобы отвести чичей.

Усаживаем чеченцев в машины, на задние сиденья; двоих, - в один «козелок», задержанного нами старика, - во второй. Язва едет старшим. Я, по приказу Шеи, усаживаюсь рядом с водителем во втором «козелке».

Мы трогаемся, проезжаем всего метров сто, и я внезапно понимаю, что у меня атрофированы все органы, что мой рассудок сейчас двинется, и покатится, чертыхаясь, назад, к детству, счастливый и дурашливый. По нам стреляют. Откуда, я не понял. Почему-то мне показалось это совершенно не интересным. Я зачарованно взглянул на дырку в брызнувшей мелким стеклом лобовухе. Потом, неожиданно для себя самого, ловко открыл дверь, вывалился на дорогу, одновременно снимая автомат с предохранителя, и в несколько кувырков скатился к обочине, в кусты.

Оборачиваюсь назад, - Санька Скворец сидит за машиной на корточках и вертит головой. Возле машины лежит, поджав ноги, дед-чеченец.

Водителя я не вижу.

«Козелок», ехавший впереди нас, снесло на противоположную обочину; из парней, ехавших в нем, я тоже никого не вижу.

Куцый вызывает по рации меня и Язву. Тянусь к рации, чтобы ответить, и слышу, как Язва отвечает первым, чуть срывающимся голосом:

- На приёме!

- «Семьсот десятый» на связи! - кричу и я.

Семёныч немедленно отвечает:

- Займите позицию, и не высовывайтесь! Стреляют из домов впереди вас!

«Займите позицию...» - передразниваю я Куцего, и ловлю себя на мысли, что меня всё происходящее как-то забавляет, кажется весёлым, неестественным. Вот, мол, война началась уже, а я все ещё жив. Значит всё замечательно! Всё просто чудесно! Только руки дрожат...

Я поворачиваю голову к Скворцу, машу ему рукой.

«Ляг!» - показываю. Он не понимает.

- Саня, ляг!

Чеченцы стреляют очередями, откуда-то спереди. Я вижу, как несколько пуль попадает в машину, одна разбивает зеркало заднего вида.

«А если взорвется? - думаю, - В кино машины взрываются...»

Саня, тоже понимая, что в машину стреляют, дёргается, не знает куда деться.

- Давай сюда! - кричу.

Санька привстаёт на колене, и, зажмурившись, в два прыжка летит ко мне.

- Водюк где? - спрашиваю.

- В канаве лежит с той стороны.

Кусты, в которых мы завалились, - негустые; ближний, тот, что справа, дом, нам хорошо виден. Он безмолвен.

«А если б стреляли оттуда? - думаю я. - А если сейчас начнут стрелять?»

Смотрю на дом с таким напряжением, что кажется, вот-вот начну видеть его насквозь.

- Смотри на дом! - говорю Сане, сам разворачиваюсь в сторону дороги, укладываюсь поудобнее, упираюсь рожком автомата в землю, охватываю цевьё. Плечо чувствует приклад, всё в порядке.

Поднимаю голову, - что там у нас? Откуда стреляют?

Ничего не соображаю, глаза елозят поспешно...

И тут у меня едва затылок не лопаётся от страха, - явственно вижу, что стрельба ведётся с чердака дома, находящегося по диагонали, метров за пятьдесят от нас, и метров за тридцать от первого «козелка».

Конечно же, я подумал, что стреляют прямо в меня, и ткнулся рожей в землю, блаженно ощутив щекой ее мягкость и сырость. Пролежав несколько секунд, догадываюсь, что стреляли, нет, не в меня, - палят прямо в «козелок» в котором ехал Язва. С крыши «козелок» очень хорошо видно.

Прицеливаюсь. Получается плохо. Даю несколько длинных очередей по дому, по чердаку. Закрываю глаза, пытаюсь унять дикую дрожь в руках, понимаю, что это бесполезно, и снова стреляю.

Кто-то начинает стрелять сзади нас с Санькой. На малую долю секунду я подумал, что - в нас, что - с обеих сторон, что - всё на хрен. Так и подумал: «всё на хрен», и снова голову в землю вжал, и землю укусил от страха.

- Наши подошли! - шепчет мне Скворец.

Оборачиваюсь, и вижу Куцего, он запрашивает меня по рации, глядя на меня. Вытаскиваю рацию из-под груди.

- Целы? - кричит Костенко.

- Мы целы! Я и Скворец! Оба! Водитель - не знаю!

Куцый запрашивает Язву:

- Целы?

Язва молчит.

Раздаются один за другим несколько взрывов около дома, из которого чичи палят.

«Пацаны гранаты кидают!» - догадываюсь я.

- Всё нормально, Семёныч! - откликается, наконец, Язва. - Лежим под

забором, как алкаши...

К нам подползает Кеша Фистов, снайпер. Смотрит в прицел на чердак. Я оборачиваюсь на него, и вижу его открытый, левый, свободный от прицела глаз, смотрящий куда-то вбок. Кеша косой. Меня очень смешит это зрелище, - косой снайпер. Даже сейчас смешит. Стать снайпером ему предложил Язва, на общем собрании, ещё в Святом Спасе, когда мы выбирали себе медбрата, повара, помощника радиста. Речь зашла и о снайпере, которого в нашем взводе ещё не было.

«А пускай Кеша будет снайпером! - задумчиво предложил Язва, - он даже из-за угла сможет метиться!»

Кеша, хоть и не умел целиться из-за угла, но винтовку освоил быстро.

- Ну как, Кеш? - спрашивает подбежавший Семёныч, и одновременно с его вопросом Кеша спускает курок.

- Куда палишь-то? - интересуется Семёныч, привстав на колене, не пригибаясь, и я слышу по его грубому голосу, что он спокоен, что он не волнуется.

- А в чердак, - отвечает Кеша.

Вместе с Семёнычем подбежал Астахов, держит в руках «Муху».

- Дима! - говорит Семёныч Астахову, - Давай. Надо, только, чтобы пацаны от дома отползли.

Семёныч вызывает Язву:

- Гоша, давай отходи к нам, мы прикроем!

Мы беспрерывно лупим по чердаку, по дому, по окнам, и по соседним домам тоже.

Пацаны с другой стороны дороги стреляют по диагонали, в другой дом, где засели чичи. Жёстко, серьёзно бьёт ПКМ Андрюхи-Коня. Прицельно стреляет улегшийся рядом со мной Женя Кизяков. Я замечая, что у него совершенно не дрожат руки.

- Пацаны у нас! - передаёт Шея с той стороны дороги.

- Все? - спрашивает Семёныч.

- Все! И Язва со своими, и водюк из второго «козелка» тоже!

- Давай, Дим! - Семёныч пропускает вперед себя Астахова, сам отодвигается вбок, чтобы «трубой» не опалило.

Астахов встаёт рядом со мной на колено, кладёт трубу на плечо, прилаживается.

- Ну-ка уйди! - пинаю я Скворца, лежащего позади Астахова, - а то морда сгорит!

Раздается выстрел, заряд бьёт в край чердака, все покрывается дымом.

Когда дым рассеивается, мы видим напрочь снесенный угол чердака,

его тёмное пустое нутро. - Как ломом по челюсти, - говорит Астахов.

С другой стороны дороги наш гранатометчик бьёт во второй дом. Первый раз мимо, куда-то по садам, второй - попадает. Мы лежим ещё пару минут, в тишине. Никто не стреляет.

- Выдвигаемся к домам! - командует Семёныч.

Мы бежим вдоль домов, двумя группами по разные стороны дороги. Нас прикрывают Андрюха-Конь и ещё кто-то, запуская короткие очереди в чердаки.

Перескакиваем через забор, рассыпаемся вокруг искомого дома, встаём у окон.

Стрельба прекращается, и я слышу дыхание стоящих рядом со мной.

Семёныч бьёт ногой в дверь, и тут же встает справа от косяка, прижавшись спиной к стене. Раздается характерный щелчок, в доме гроыхает взрыв. Лопаются несколько стекол.

Саня, стоящий возле окна, (плечо в стеклянной пудре), вопросительно смотрит на меня.

- Растяжку поставили, а сами через чердак съебались! - говорю.

Семёныч и ещё пара человек вбегают в дом. Я иду четвертым. Дом однокомнатный, стол, стулья валяются, на полу битая посуда, в углу телевизор с разбитым кинескопом. В правом углу, - лестница на чердак. Лаз на верх открыт.

Делаю два пружинящих прыжка по лестнице, поднимаюсь нарочито быстро, зная, что если я остановлюсь, - мне станет невыносимо страшно. Выдергиваю чеку, кидаю в лаз, в бок чердака гранату, РГН-ку. Спрыгиваю вниз, инстинктивно дёргаюсь от грохота, вижу, как сверху сыплется мусор, будто наверху кто-то подметал пол, а потом резко ссыпал сметённое в лаз.

Снова поднимаюсь по лестнице, высовываю мгновенно покрывшуюся холодным потом голову на чердак, предельно уверенный, что сейчас мне ее отстрелят. Кручу головой, - пустота.

Поднимаюсь. Подхожу к развороченному выстрелом Астахова проёму, - здесь было окошко, из которого палили чичи. Вижу, как из дома напротив мне машет Язва. Они тоже влезли наверх.

В противоположной стороне чердака выломано несколько досок.

- Вот здесь он выпрыгнул! - говорит Астахов. В прогал видны хилые сады, постройки. Дима даёт туда длинную очередь.

- Вдогон тебе, блядина!

Пацаны в доме напротив дергаются, Язва приседает. Я машу им рукой, - спокойно, мол.

- Дима! Хорош на хуй палить! - орёт Семёныч, - в лазе чердака

появляется его круглая голова. - Пошли!

- А у нас тут мертвяк! - встречает нас Язва во дворе дома напротив.

- Боевик? - спрашивает Астахов.

Гоша ухмыляется, ничего не отвечает.

- Мы его вниз с чердака сбросили, - говорит он Семёнычу.

Мы подходим; от вида трупа я невольно дергаюсь.

Чувствую, что мне в глотку провалилась большая тухлая рыба и мне ее необходимо немедленно изрыгнуть. Отворачиваюсь и закурываю.

В глазах стоит дошлое, будто прокопчённое тельце со скрюченными пальцами рук, с отсутствующей вспузырившейся половиной лица, где в красном месиве белеют дроблёные кости.

Астахов подходит в упор к трупу, присаживается возле того, что было головой, разглядывает. Я вижу это боковым зрением.

- Дим, ты поройся, - может, у него зубы золотые были, - предлагает Астахову Язва, улыбаясь.

- Мужики, это же пацан! - восклицает Астахов. - Ему лет четырнадцать!

- Все собрались? - оглядывает парней Семёныч. - Шея! Костя! Не расслабляйтесь, выставьте наблюдателей... Ну что, все целы? Никого не задели?

Мы возвращаемся к машинам.

В первом «козелке» с вдрызг разбитой лобовухой сидят два чеченца, - те самые, которых мы везли на базу. Оба мёртвые. Вся кабина в крови, задние сиденья сплошь залиты.

У второго «козелка» всё на том же месте валяется старичок, живот щедро замазан густо красным; остывает уже.

- Четыре ноль, - смеётся Язва.

- Вот бы так всегда воевать, чтоб чичи сами друг друга расхерачивали! - говорит Астахов.

- Сплюнь! - отвечает Семёныч.

VI

Чищу автомат, нравится чистить автомат. Нет занятия более умиротворенного.

Отсоединяю рожок, передергиваю затвор - нет ли патрона в патроннике. Знаю, что нет, но, однажды забыв проверить, можно угробить товарища. В каждой армейской части, наверняка, хоть раз случалось подобное. «Халатное обращение с оружием», заключит комиссия, по поводу того, что твой однополчанин, дембельнулся чуть раньше положенного, и уже отбыл в свою тамбовщину или смоленщину в гробу с дыркой во лбу.

Любовно раскладываю принадлежности пенала: протирку, ёршик, отвертку и выколотку. Что-то есть неизъяснимо нежное в этих словах; уменьшительные суффиксы, видимо, влияют на. Вытаскиваю шомпол. Рву ветошь на небольшие ровные клочки.

Снимаю крышку ствольной коробки, аккуратно кладу на стол. Нажимаю на возвратную пружину, извлекаю её из пазов. Затворная рама с газовым поршнем расстаеться с затвором. Следом ложится на стол газовая трубка и цевьё. Скручиваю пламегаситель. Автомат становится гол, легок и беззащитен.

«Скелетик мой...» - думаю ласково.

Поднимаю его вверх, смотрю в ствол.

«Ну, ничего... Бывает и хуже».

Кладу автомат и решаю, с чего начать. Верчу в руках затворную раму, пламегаситель, возвратную пружину... Всё грязное.

Как крайнюю плоть, приспускаю возвратную пружину, снимаю шляпку с двух тонких грязных жил; мягко отпускаю пружину. Разобрать возвратный механизм, а потом легко его собрать, - особый солдатский шик. Можно, конечно, и спусковой механизм извлечь, сделать полную разборку, но сегодня я делать этого не буду. Ни к чему.

Большим куском ветоши, щедро обмакнув его в масло, прохожусь по всем частям автомата. Так моют себя. Свою изящную женщину. Так, наверное, моют коня. Или ребёнка.

В отверстие в шомполе продеваю кусочек ветоши, аккуратно, как портянкой, обкручиваю кончик шомпола белой тканью. Лезу в ствол. Шомпол застревает: много накрутил ткани. Переворачиваю ствол, бью

концом шомпола, застрявшим в стволе об пол. Шомпол туго вылезает с другой стороны ствола, на его конце, как флаг баррикады висит оборванная, чёрная ветошь...

Автомат можно чистить очень долго. Практически бесконечно. Когда надъедает, можно на спор найти в автомате товарища грязное местечко, ветошью насаженной на шомпол ткнувшись туда, где грязный налет трудно истребим, в какие-нибудь закоулки спускового...

Пацаны, как всегда, смеются чему-то, переругиваются.

Язва, активно пострелявший, покидал все донельзя грязные механизмы автомата прямо в банку с маслом. Задумчиво копошась ветошью в «Калаше», прикрикивает на дуращих пацанов:

- Не мешайте мне грязь равномерно по автомату размазывать...

Кто-то из пацанов, устав копошиться с ёршиками и выколотками, делает на прикладе зарубку. Дима Астахов делает две зарубки.

- Хорош, эй!... - говорю я, - Сейчас вам Семёныч сделает зарубки на жопе... Автоматы казённые.

Женя Кизяков аккуратно вырисовывает ручкой на эрдэшке жирную надпись: «До последнего чечена!»

- А вы знаете, какая кликуха у нашего куратора? - говорит Плохиш.

- Какая?

- «Чёрная метка». Он куда не попадет, там обязательно что-то случается. То в окружение отряд угодит, то в плен, то под обстрел. Все гибнут, - заключает Плохиш и обводит парней беспредельно грустным взглядом, - Ему одному хоть бы хны.

Плохиш затеял разговор не случайно, - завтра наш отряд снимается на сопровождение колонны, чин едет с нами; Плохиш с Аружевым, начштаба, посты на крыше, выставленный пост на воротах и ещё несколько человек остаются на базе.

Десять машин уже стоят во дворе. Десять водюков ночуют у нас.

Собираем рюкзаки: доехав, (дай бог!) до Владикавказа, ночь мы должны переждать там.

Парни, не смотря на новости от Плохиша, оживлены. Почему нормальные мужики так любят куда-нибудь собираться?

На улице такой дождь вдарил, что посту с крыши пришлось спрятаться в здание - переждать. До часу ночи лил. Семёныч заставил-таки пацанов вернуться обратно на крышу.

На утро мы - Язва, Скворец, Кизя, Астахов, Слава Тельман, я и двое сапёров встаём раньше остальных, - пол пятого утра. Надо дорогу проверить - вдруг ее заминировали за ночь. Чёрная метка приказал, будь он

неладен.

Хмурые, оделись мы, вышли в коридор. Филя, весело размахивающий хвостом, был взят в компанию. Каждый, кроме Язвы, посчитал нужным потрепать пса по холке.

- Вы куда собрались-то? - интересуется Костя Столяр, его взвод дежурит на крыше.

Никто не отвечает. Хочется состричь, но настроения нет.

Костя посмотрел на сапёров, вооруженных миноискателями и увешенных крюками и веревками - для извлечения мин, и сам всё понял.

- Одурели, что ли? - спрашивает Костя. - Пятнадцать минут назад стреляли.

- Откуда? - спрашиваем.

- Из «хрущевок», откуда.

Подтянутый, появляется Чёрная метка.

- Готовы? - интересуется.

- Темно на улице... - говорит сапёр, Федя Старичков, - Я собаку свою не увижу!

Филя крутится у ног Феди, словно подтверждая правоту хозяина.

Чёрная метка смотрит на часы, хотя наверняка только что на них смотрел.

- Колонна должна выйти через пятьдесят пять минут, - отвечает он.

- И стреляли недавно... - говорит Астахов.

Чёрная метка, не глядя на Астахова, говорит Язве, как старшему:

- Давайте, прапорщик, не тяните.

- Сейчас перекурим и пойдем, - отвечает Язва.

Пацаны молча курят. Я тоже курю, глубоко затягиваясь.

Открываем дверь, вглядываемся в слаборазбавленную темень.

Идём к воротам с таким ощущением, словно за воротами - обрыв. И мы туда сейчас попадаем.

За воротами расходимся по трое в разные стороны дороги, поближе к деревьям, растущим вдоль неё.

Двое саперов остаются стоять посреди дороги, возле за ночь наполнившихся водой канав и выбоин. Лениво поводят миноискателями.

Филя, получив команду, дважды обегает вокруг самой большой лужи, но в воду, конечно, не лезет.

Прижимаюсь спиной к дереву, поглядывая то на саперов, то в сторону «хрущёвок».

«Что я буду делать, если сейчас начнут стрелять?...

...Лягу около дерева...»

Дальше не думаю. Не думается.

Один из сапёров, подожвав Скворца, отдаёт ему свои веревки и крюки, и, шёпотом выругавшись, медленно вступает в лужу.

Внимательно смотрю на происходящее. Ей-богу, это забавляет.

Сапёр ходит по луже, нагоняя мягкие волны.

Тихонько передвигаюсь, прячусь за дерево.

Сделав несколько кругов по луже, сапёр, хлюпая ботинками, выходит из воды, и вступает в следующую лужу.

Касаюсь ладонью ствола дерева, чуть поглаживаю, поцарапываю его.

Слабо веет растревоженной корой.

Пацаны стоят возле деревьев, словно пристывшие.

Сапёры, еле слышно плеская густо-грязной водой, ходят в темноте по лужам, как тихо помешенные мороки.

Противотанковые мины таким вот образом, - шляясь по лужам, - найти можно, и они не взорвутся: вес человека слишком мал. Что касается противопехотных мин, то даже не знаю, что по этому поводу думают сапёры. Наверное, стараются не думать.

Мы уходим всё дальше от ворот школы, и с каждым шагом становится жутче. Может быть, мы все передвигаемся в пределах прицелов людей, с удивлением наблюдающих за нами?

Последние лужи возле начинающегося асфальта, сапёры осматривают спешно, несколько нервозно.

- Всё! - говорит кто-то из них, и мы спешно возвращаемся.

Скрипят ворота, шмыгаем в проём. Переводим дух, улыбаясь. Тискаем очень довольного Филю.

Блаженно выкуриваем в школе по сигарете. Пацаны уже поднялись и собираются.

Переталкиваясь, получаем пищу, завтракаем.

Подтягиваем берцы и разгрузки. Чёрная метка подгоняет нас.

Плохиш, похожий одновременно на бодрого пенсионера и на третьеклассника-второгодника, сидя на лавочке у школы, дурит.

- Саня! - зовёт он выходящего Скворцова. - Может, исповедуешься Монаху?

- Я безгрешен, - буркает Скворец.

- Ну, конечно... - строго смотрит Плохиш, - а кто рукоблудием ночью занимался? Ну-ка быстро руки покажи!

- Да пошёл ты...

- Ладно, брат, до встречи! - примирительно говорит Плохиш.

Следом за Саней выходит Дима Астахов.

- До встречи, брат! - говорит Плохиш и ему.
За Димкой топают братья - близнецы Чертковы - Степан и Валентин.
- Давайте, братки, аккуратней. Смотрите, не перепутайтесь...
- Берегите спирт, дядя Юр! - напутствует Плохиш и нашему доктору, и всем идущим за ним говорит, улыбаясь. - До встречи! До свидания, братки!... А ты, Семёныч - прощай...
- Тьфу, дурак! - говорит Семёныч без особого зла и три раза плюет через плечо.

...Машины прогревают моторы, водители суеются, поправляют броники, висящие на дверях.

Наши пацаны рассаживаются по одному в кабины, оставшиеся - на броню пригнанных БТРов.

Выбираю себе место на броне ровно посередине, спиной к башне.

«Если расположиться полулежа, то сидящие с боков в случае чего прикроют меня», - цинично думаю я.

Приходит Шея, сгоняет меня, усаживается на моё место. Огрызаясь, перемещаюсь к краю.

Солнышко начинает пригревать, хорошее такое солнышко.

Семёныч лезет на наш БТР, мы пойдем замыкающими.

На первом БТРе сидит Чёрная метка, его, как выяснилось, Андрей Георгиевич зовут, смотрит на пацанов внимательно.

Открываются ворота, бойцы, стоящие на воротах, салютуют нам, нежно ухмыляясь. Урча, выползает первый БТР, следом вырывают машины. Мягко ухая в лужи, колонна выбирается на трассу...

Я уже люблю этот город. Не видел более красивых городов, чем Грозный.

«Первые руины третьей мировой источают тепло...» - констатирую я, впад в лирическое замешательство. Птиц в самом городе нет. Наверное, здесь очень чистые памятники. Если они ещё остались.

Ближе к выезду из Грозного начинаются сельские постройки. За деревянными, некрашенными заборами стоят деревья, подрагивают ветки. Как интересно чувствуют себя деревья во время войны?

Задумываюсь о чём-то... Прихожу в себя, обнаружив, что я неотрывно смотрю на Монаха, сидящего неподалеку. Так неприятно, что он едет с нами!... Вот Саня Скворец рядом, это хорошо. Андрюха-Конь держит в лапах пулемёт. Женя Кизяков, Стёпка Чертков - один из братьев-близнецов (Шея до сих пор Степку путает с Валькой, поэтому отправил Валью в кабину одной из машин), Слава Тельман - охранник Семёныча, Кеша Фистов косит себе, Дима Астахов «Муху» гладит... все такие родные.

Семёныч опять же, доктор дядя Юра... и тут Монах. По кой хрен он поехал в командировку?

«А чего я взъелся на него?» - думаю тут же.

«Может, он... может, он меня от смерти спасёт», - думаю... Ну чего я ещё могу подумать.

Трасса лежит посреди полей. Поля вызывают умиротворенные чувства - здесь негде спрятаться тем, кому вздумалось бы стрелять в нас.

Какое-то время я смотрю на одинокое дерево посреди поля, почему-то мне кажется, что там, на дереве, сидит снайпер. Пытаюсь его высмотреть.

«Что за дурь, - смеюсь про себя, - Так вот он и сидит в чистом поле на дереве, как Соловей-разбойник...»

Хочу прикурить, но колонна идет быстро, ветер тушит первую спичку, и я откладываю перекур на потом.

Поля сменяются холмами. Мы выезжаем на мост.

- Это Терек? - спрашивает у Хасана Женя Кизяков.

- Сунжа, - отвечает Хасан. - Терек далеко, - и неопределенно машет рукой.

Сунжа медленно и мутно течет. До воды не доплунуть. Повертев слюну во рту, сплёвываю на дорогу. Плевков уносит ветром.

«Ещё будет высыхать моя слюна на дороге, а я уже буду мёртв и холоден», - думаю я. Постоянно такие глупости приходят в голову. Неприятно дёргаюсь от своих размышлений, хочется провести рукой по голове, по лицу, как-то смахнуть эту ересь... Морщю лоб, хочу ещё раз плюнуть, но передумываю.

Солнце стоит слева. Кончается асфальт, начинается пыльная просёлочная дорога, выложенная по краям щебнем.

Скворец толкает меня в плечо: впереди горы. Надвигаются на нас, смурных, поглаживающих оружие. Даже не горы, а очень большие холмы, жухлой травкой покрытые.

Наверху одного из холмов вырыты окопы, они видны отсюда, с дороги. Кто вырыл их? Наши, чичи? Для чего? Чтобы контролировать дорогу, наверное. Все эти вопросы могут свестись к одному: был ли здесь бой, убивали ли здесь людей, вот из тех, видных нам окопов, - таких же людей, как мы, так же проезжавших мимо.

«Нет, вряд ли засада может выглядеть так, - решаю по себя, - окопы на самом виду... А с другой стороны, - ну сидит в тех окопах человек пять, сейчас они дадут каждый по несколько очередей и убегут. Что мы на холм полезем за ними? До этих окопов метров двести...»

Окопы между тем исчезают за поворотом. Все пристально глядят на

горы. Каждый хочет первым увидеть того, кто будет целить в нас, блеснет прицелом снайперской винтовки, выстрелит...

К общему удивлению горы вскоре кончаются, сходят на нет. Снова начинаются равнины. Иногда проезжаем тихие, малолюдные сёла. Дорога однообразна. Становится теплей.

Спустя пару часов проезжаем знак «Чечня», перечеркнутый красным. Пацаны оживляются.

Останавливаемся у рыночка, покупаем пиво, я ещё и воблу. Здесь такая хорошая сладкая вобла. Мажась пахучим маслом, рву рыбу на части, отделяю от неё большой красный кус икры, сочащиеся ребра, голову выбрасываю. Заливаю в глотку половину бутылки пива. Ещё не отняв пузырь ото рта, понимаю, что бутылки мне будет мало, разворачиваюсь, иду к лотку с пивом, покупаю ещё бутылку. Наскоро куснув мясца с рыбьего хвоста и пригубив икры, допиваю первую бутылку, и открываю вторую. Уж вот её-то потяну, понежусь с ней.

Лезем на броню. Нет, на ходу пить будет неудобно. Допиваю и вторую, отбрасываю. Хорошо, что мочевого пузырь крепкий, до следующего перекура досижу. Рыба остаётся в кармане. Не брезгую ни карманом, могущим испачкать рыбу, ни рыбой, пачкающей карман.

...Во Владикавказе, куда мы благополучно прибыли, доедаю рыбу. Разглядываю город... Похож на все российские города, только горбоносых много.

Идём в кафе. Суетимся возле меню - все голодные. Хасану очень хочется показать, какая кухня на Кавказе - он рекомендует выбор блюд. Покупаем суп харчо, манты. Хасан перешептывается с Семёнычем, тот кивает головой. В итоге на столах каждого взвода появляется ещё и по бутылке водки.

- Как суп? - спрашивает Хасан щурясь.

- Чудесный суп, - отвечаю, отдуваясь обожженным специями ртом.

Разгрузкой и загрузкой машин занимаемся сами. В машинах - мешки. Что в мешках, неясно. Пацаны, скинув куртки, оставшись в тельниках, работают. Красивые, добрые тела. Закатанные рукава, вздувающиеся мышцами и жилами руки. Хасан опять куда-то убрёл.

Выхожу на улицу, перекурить. По двору складов прохаживается незнакомый хмурый подполковник.

Выбредает откуда-то Хасан, хитро щурясь, громко спрашивает у Семёныча, стоящего неподалеку от меня:

- Разрешите обратиться товарищ полковник!

На Семёныче надет серый рабочий бушлат без знаков различия.

Семёныч довольно улыбается одними глазами. Хмурый подполковник, услышав обращение Хасана, тут же куда-то уходит. Семёныч довольно смеётся. Умеет Хасан подольститься.

Заканчиваем разгрузку, ночевать едем в вагончики, размещённые на краю города. Перед сном, как следует, выпили. Пацаны полночи пели поганые кабацкие бабьи песни. Семёныч подпевал. Тьфу на них.

Я лежал на верхней полке, разглядывал полированный в трещинах потолок. Даша...

Разбудил меня Женя Кизяков, - моя очередь идти на улицу, дежурить.

Ночь тёплая, мягкая. Посмотрел на звезды, закурил.

«Хоть бы завтра что-нибудь случилось, и мы бы в Грозный не поехали...» - подумал.

Три раза обошел поезд, ещё, с неприязнью, покурил. Разбудил смену, и снова улегся.

«Даша, Дашенька...»

- Вылезай, конечная! Выход через переднюю дверь - проверка билетов!

Открываю глаза, утро. Плохиш идёт с полотенцем, перекинутым через пухлое плечо, орёт.

Пацаны жмурят похмельные рожи, - солнечно. Умылись, похмелиться Семёныч не дал. Хмуро загрузились в машины, на БТРы.

Где-то посередине города зачем-то остановились. И здесь мы впервые увидели вблизи девушку, в юбке чуть ниже колен, в короткой курточке, беленькую, очень миловидную, с черной папочкой. Так все и застыли, на неё глядя.

- Я бы ее сейчас облизал всю, - сказал тихо, но все слышали, Дима Астахов.

Честное слово, в его словах не было ни грамма пошлости...

Девушка обернулась, и взмахнула нам, русским парням, красивой ручкой с изящными пальчиками.

Некоторое время я физически чувствовал, как ее взмах осеняет нас, сидящих на броне. За городом подул ветер, и всё пропало.

Дорога немного развлекла. Когда долго едешь, и ничего не случается, это успокаивает. Как же что-то может случиться, если всё так хорошо? Солнышко...

Остановились на том же рыночке, что и по дороге во Владикавказ. Пацаны разбрелись. Я иду на запах шашлыков. Девушка торгует, сонные глаза, пухлые ненакрашенные губы.

«Поесть шашлычков?» - думаю.

- Сколько стоят?... Дорого...

Закуриваю, решаю философский вопрос:

«С одной стороны дорого. С другой - может, меня сейчас убьют на перевале, и я шашлыков не поем. С третьей - если меня убьют, чего тратиться на шашлыки? С четвертой...»

- Чего смотришь? - спрашивает девушка-продавец, - Скоро твои глаза не будут смотреть... Да-да не будут, - речь ее серьезна.

Улыбаюсь, достаю деньги, покупаю порцию шашлыка. Не верю ей. Совершенно ей не верю.

Вкусный шашлык, свинина. Хватаю здоровый горячий кусок зубами, одновременно отдуваюсь, чтоб не обжечься. Жадно ем. В середине шампура попадаетесь особенной большой кус. Попробовал откусить - он какой-то жилистый. Сдвинул его к краю шомпола, изловчившись, весь цапнул, начал жевать. Долго жую, жилу никак не могу раскусить. Скулы начинают ныть. Решаю заглотить кусок, делаю глотательное движение, и мясо застревает у меня в горле. Пытаюсь усилием горловых мышц втянуть его в себя, не могу. Смотрю обезумевшими глазами вокруг: что делать? В голове начинает душно, дурно мутиться. Сейчас сдохну, а...

Лезу пальцами в рот, хватаю торчащую из глотки, не проглоченную до конца мясную, жилистую мякоть, тащу. Спустя мгновение держу в руке изжеванное мясо, длинный, изукрашенный голыми жилами ломоть. Отбрасываю его в пыль. На глазах - слёзы.

Покупаю пива, пью. Так дышать хорошо. Очень приятно дышать. Какой славный воздух. Как славно чадит БТР, как чудесно пахнут выхлопные газы машин.

Забравшись на броню, пою про себя вчерашнюю кабацкую ересь, под которую заснул...

На подъезде к горам настигаем автобус, везущий детей. Автобус еле едет. Чеченята смотрят в заднее стекло, и, кажется, кривляются.

- Семёныч, давай за автобусом держаться? - предлагает кто-то.

Семёныч хмуро молчит, жадно смотрит на автобус. Но по рации с первым БТР-ом не связывается.

«Надо в заложники их взять! - думаю я, - Что же Семёныч...»

Я смотрю на автобус, еле тянущийся впереди первого БТРа. Пацаны тоже смотрят. Горы уже близко. Уже началась песчаная, выложенная по краям щебнем дорога. В этом щебне легко прятать мины. Мы будем спрыгивать с горящего БТРа, кувыркаясь лететь на обочину, и там, из-под наших ног, упрятанных в берцы, будут рваться клочья огня. А сверху нас будут бить в бритые русые головы, в сухие, кричащие рты, в безумные, голубые, звереющие глаза.

Мы въехали в опасную зону. По обеим сторонам дороги вновь расползлись апокалиптически освещённые холмы. Пацаны вперили взоры в овражки и неровности холмов, но в самом краю зрачка многих из нас, благословенно белел, как путеводная звезда, автобус.

«Всё...» - подумал я, когда автобус свернул вправо, на одну из проселочных веток.

Оглядываю пацанов, кто-то смотрит автобусу вслед, Семёныч смотрит на первый БТР, Женя Кизяков - на горы, при чем с таким видом, будто никакого автобуса и не было.

Солнце печёт. Я задираю черную шапочку, открывая чуть вспотевший лоб. Не смотря на то, что автобус свернул, освободил дорогу, колонна всё равно еле тянется. Одна из машин едет очень медленно. Из-за неё первые машины колонны, - БТР и один грузовичок уходят метров на тридцать вперед.

- 801-ый! - раздраженно кричит Семёныч по рации, вызывая Чёрную метку, - Назад посмотри!

Первый БТР сбавляет ход.

Дышим пылью, взметаемой впереди идущими. Слышно, как натужно ревет мотор третьей, замедляющей ход колонны, машины.

Переношу руку на предохранитель, аккуратно щелкаю, перевожу вниз; ещё щелчок, упор - теперь если я нажму на спусковой крючок своего «Калаша», он даст злую, и, скорей всего, бестолковую очередь. Кладу палец на скобу, чтобы на ухабе случайно не выстрелить. Упираюсь левой ногой в железный изгиб БТРа, чтобы было легче спрыгнуть, если.

Как долго. Едем долго как. Хочется слезть с БТРа и веселой шумной мускулистой оравой затолкать машину на холм. Хочется петь и кричать, чтобы отпугнуть, рассмешить духов смерти. Кому вздумается стрелять в нас - таких весёлых и живых?

Третья машина, наконец, взбирается на взгорок, вниз катится полегче. Уже виден мост. А окопы-то я просмотрел... С другой стороны ехал потому что.

В Грозном всем становится легко и весело.

- Не расслабляйтесь, ребята! - говорит Семёныч, хотя по нему видно, что он сам повеселел.

Въезжаем на какую-то разгрузочную базу, грузовички там остаются, мы на БТРах с ветерком катим домой. Петь хочется...

Подъезжаем к базе, а там сюрприз - маленький рыночек открылся, прямо возле школы. Дородные чеченки, числом около десяти, шашлыки жарят, золотишко разложили на лотках, пиво баночное розовыми боками на

солнце отсвечивает.

- Мужики, мир! Торговля началась! - возвестил кто-то из бойцов.

БТРы притормозили.

- Водка! Вобла! Во, бля! - шумят пацаны.

Возле торговки начштаба шляется с двумя бойцами, виновато на Семёныча смотрит, переживает, что не успел в школу спрятаться до нашего приезда, засветился на рынке.

Солдатики подъехали, наверное, с Заводской комендатуры, водку покупают.

- На рынок пока никто не идет! - приказывает Семёныч на базе.

Занимались только друг другом.

Взросший вне женщин, я воспринимал её, как яркое и редкое новогоднее украшение, трепетно держал её в руках. И помыслить не мог, - как бывает с избалованными чадами, легко разламывающими в глупой любознательности игрушки, - о внутреннем устройстве этого украшения, воспринимал её как целостную, дарованную мне, благодать.

Вели себя беззаботно. Беззаботность раздражает окружающих. Нас, бестолковых, порицали прохожие тетушки, когда мы целовались на трамвайных остановках, впрочем, целовались мы не нарочито, а всегда где-нибудь в уголке, таясь.

Трогали, пощипывали, покусывали друг друга беспрестанно, пробуждая обезьянью прапамять.

Стоя на нижней подножке автобуса, спиной к раздолбанным, позвякивающим и покрхтывающим дверям, я гладил Дашу, стоящую выше, ко мне лицом, огромными грудками касаясь моего лица - гладил мою девочку, скажем так, по белым брючкам. Она задумчиво, как ни в чем не бывало, смотрела через моё плечо - на тяжелые крылья витрин, пролетающих мимо, на храм в лесах, на строительные краны, на набережную, на реку, на белые пароходы, ещё оставшиеся на причалах Святого Спаса. Покачиваясь во время переключения скоростей, я видел мужчину, сидевшего у противоположного окна, напротив нас, он держал в руках газету. В газету он не смотрел, он мучительно и предельно недовольно косился на мои руки, или, скорей, на то, чего эти руки касались.

Время блаженного эгоизма... Занимались, да, только друг другом.

Сидели в парках на траве, покупали на рынке ягоды, просили рыбаков на пляже фотографировать нас. И потом, проявив в ателье, разглядывали эти фотографии, удивляясь неизвестно чему, - своей молодости, юности своей.

Любящие - дикари, - если судить по тому, как они радуются всем амулетам, побрякушкам и милым знакам.

Дикари, - знающие и берегущие своё дикарство, - мы не ходили в кинотеатры, теле не включали, не читали газет. Мы обучались в некоем университете, на последних курсах, но и занятия посещали крайне редко. Дурашливо гуляли, и возвращались домой. Выходили из квартиры, держась за руки, а обратно возвращались бегом, - нагулявшие жадность друг к другу.

Ее уютный дом, с тихим двориком, где не сидели шумные и гадкие пьяницы и не валялись, пуская розовую пену передозировки наркоманы; с булочной на востоке и с громыхающими железными костями трамваями на западе, на запад выходили окна на кухне, когда я курил там весенними и летними утрами, мне часто казалось, что трамвай въезжает к нам в окно.

Иногда от грохота начинали тихо осыпаться комочки побелки за обоями.

В некоторых местах обои были исцарапаны редкого обаяния котенком, являвшего собой помесь сиамского кота нашего соседа сверху с рыжей беспородной кошкой соседки снизу. Он появился в доме Даша вместе со мной. Котенка Даша назвала Тоша, в честь меня.

Часто мы лежали поперек кровати, и смотрели на то, как Тоша забавляется с привязанной к ножке кресла резинкой, увенчанной пластмассовым шариком.

Иногда он отвлекался от шарика, и с самыми злостными намерениями бежал к углу стены возле батареи, где лохмотьями свисали обои.

- Брысь! - кричала Даша, - брысь, стервец!

Я стучал по полу уже разлинованной когтями котенка рукой, чтобы спугнуть Тошу. Он оборачивался, и с удовольствием отвлекался на то, чтобы полизать свой розовый живот.

- Обрати внимание, - говорила мне Даша, притулившись тяжеловатыми грудками у меня на спине, и, проводя ладонью мне по темени, - кошки и собаки могут лизать свои половые органы. А люди, - нет. Выходит, что Бог специально подталкивает людей к запретным ласкам...

- Едва ли, имея возможность, я стал бы забавляться сам с собой подобным образом, - отвечал я, блаженно ёжась всем телом.

Даша при мне иногда читала, вечерами, - мне всегда казалось, что из хулиганства. Я старался отвлечь ее.

- Как книга? - спрашивал я Дашу.

- Мысли короче, чем предложения. Мысли одеты не по росту, рукава

причастных оборотов висят, как у Пьеро.

И снова начинала читать. Ложилась на животик. Она так играла. Ждала, что я ей помешаю.

Я подлезал ладонями под ее животик, расстегивал верхнюю пуговицу джинсиков, медленно тянул молнию. Крепко цеплял пальцами джинсы, тянул на себя, и она приподнимала задик, помогая мне.

Я снимал с неё сразу всё, и чувствовал, что ее одежда, черный кружевной невесомый лоскут, и даже внутренность джинсиков, чуть-чуть уже пропитались ей, ее желанием и готовностью.

Поднимал ее, просунув ей ладонь между ножек, поддерживал под животик, чувствуя мягкостью ладони горячие завитки. Мне открывалась прекраснейшая из земных картин, упоительная география, разрезанный сладкий плод, цвета мокрого персика, мякоти киви... или причудливая морская раковина. И в ее влажном исподе пахло морем...

Засыпая, я чувствовал, как во мне продолжает колыхаться и подрагивать всё то, что произошло в течение дня.

Я помню, как она просыпалась, очень многие утра, - и совсем не помню, как она засыпала. Наверное, я всегда засыпал первым.

Лишь однажды, уже заснув, я открыл глаза, - и сразу встретился с ней глазами. Она смотрела на меня. В полной темноте ее глаза жили как два зверька. Что-то было в этом тёмное, тайное, удивительное, словно я на мгновение стал незванным соглядатаем, проник в нору, где встретилось мне тёплое, мохнатое существо. Впрочем, удивление быстро замешалось с сонной вялостью, и я заснул.

- Мне иногда кажется, что жизнь - это как качели, - сказала она мне утром.

- Потому что то взлёт, то...?

- Не знаю... - задумчиво сказала Даша и засмеялась, - Может, потому, что тошнит и захватывает дух одновременно?

Я внимательно смотрел на нее, вспоминая ночное выражение ее существа, ее зрения, почему-то не решаясь спросить, почему, зачем она смотрела на меня.

- Нет, правда, я, когда что-то вспоминаю, пытаюсь вспомнить, я чувствую, будто я на качелях: всё мелькает, такое разноцветное... и бестолковое. Счастье... - ещё неопределенней добавила она.

Утром мы выходили на кухню, выпить горячего чая, Даша с вареньем моего изготовления, она ела его из гордости за то, что варенье приготовил я, а я - с закупленными Дашей впрок лазурными печеньями, потому что варенье я уже ел, а такого печенья еще не пробовал. Я сметал крошки в

ладонь, и засыпал их в рот.

В «козелке» по городу ездить безопаснее, чем, скажем, в сопровождении двух БТРов. На «козелок», в котором непонятно кто едет, чичи, возможно, и внимания не обратят. Обстрелять, конечно, могут, мы на себе эту вероятность опробовали, но всё-таки БТРы обстреливают чаще. Чины из главного штаба уже пересели на «козелки», и катают по городу на больших скоростях в полном одиночестве, ну с охраной, конечно, - из таких же белолобых молодцов, как мы, но безо всяких, украшенных крупнокалиберными инструментами, кортежей. Главный штаб - законодатель, так сказать, мод.

Наш капитан Кашкин, взяв водителем Васю Лебедева, добродушного бугая, периодически куда-то катается по поручениям Семёныча, - в основном, в штаб округа. Поначалу с ним ездил Хасан, - как знающий город, но потом Вася быстро сориентировался, что да как, да где ловчее проскочить, кроме того, начштаба где-то карту города раздобыл, так что кататься стали все подряд - кого Семёныч пошлет, а посылал он обычно кого-то из командиров отделений плюс один боец.

В первую же поездку я с собой Саню позвал, Скворца. В отделении моём есть пацаны боевые, возможно, посильнее Сани, позлее, тот же Женья Кизяков - хронически невозмутимый боец, или Андрюха Суханов, пулемётчик, громило белотелое. Все пацаны отличные, разве что Монах... да что Монах, тоже человек... но мне вот с Саней хочется ехать, и даже не хочу разбираться, почему.

На переднее сиденье сажусь, - честно признаюсь, не без удовольствия, это из детства, наверное. Вася Лебедев хлопает капотом, ветошью руки протирает, садится, ухмыляясь. Вот тоже чудо-человек, с хорошим настроением по жизни.

Из школы выходит начштаба с черной папкой, маленький, сутулый. Усаживается на заднее сиденье рядом со Скворцом. Чувствуется, что весит капитан Кашкин не больше чем среднестатистический восьмиклассник.

«Зачем таких в спецназ берут?» - думаю, имея в виду не только физические данные начштаба, но и его слабохарактерность. Это Семёныч мутит: специально таких замов себе подбирает, чтоб не подсидели.

- Открывай калитку, служивый! - кричит, приоткрыв дверь и высунувшись, Вася пригорюнившись на воротах Монаху. - Вот фрукт... - без зла добавляет он, хлопнув дверью и усевшись уже в машине, выруливая в ворота, спрашивает у меня, - Ну вы там выяснили, за кого Бог-то?

- Бог, - говорю, - за всех. Он всех любит.

- Ага. Ну, вроде как арбитр, - смеётся Вася.

Солнце высвечивает размытые грязные потёки на лобовом стекле, в зеркальце заднего вида я вижу бесцветное лицо Монаха, захлопывающего ворота.

Прилаживаю на колени автомат, поглаживаю два рожка, перепоясанные синей изолентой, один - вставленный в автомат, другой, ясное дело, запасной.

Вася аккуратно объезжает лужи у ворот, проезжая правыми колёсами по тому месту, где был и местами сохранился тротуар.

Чеченки потихоньку собираются на рынок, лотки свои раскладывают.

Семёныч разрешил пацанам на рынок выходить; «внимание, внимание и ещё раз внимание» - предупредил Куцый. Водку, конечно, запретил пить. «Только пиво».

Выяснилось, что уличная торговля - обычное в Грозном дело, признак некоторого спокойствия в городе. Возле ГУОШа уже неделю рынок работает. Никого пока не отравили. Чеченкам тоже жить хочется, - их же перестреляют потом.

Пацаны соскучились по сладкому, да по мясистому - Плохиш всех достал макаронами и тушенкой, - на рынке постоянно кто-то из наших крутится, иногда из соседних комендатур приезжают ребятки, «собры» изредка бухают - у нас от большого начальства подальше.

...Выруливаем налево, поднимаемся на трассу, ещё один поворот налево. Вася, притормозив, по привычке, наклонившись корпусом к рулю, взглядывает направо - нет ли транспорта. Пусто...

- Пусто, - говорю.

Едем в аэропорт, как начштаба попросил - язык не поворачивается сказать о нем «велел» или «приказал». В лучшем случае - порекомендовал. Вася жмет педаль на полную, поворачивает на такой скорости, что меня на дверь валит. Начштаба покашливает, - по кашлю слышно, что он беспокоится насчет быстрой скорости, но замечаний Васе не делает.

Вася спокойно держит тяжелые руки на руле, кажется, если он их напряжет, да ухватится покрепче, он сможет руль вырвать с корнем.

В километре от аэропорта город заканчивается, трасса идет меж полянок и негустой посадки. На подъезде к аэропорту стоит блок-пост.

Вася гонит машину, из блок-поста выскакивает офицер, сердито машет рукой. Солдатик с грязным лицом в грязном бушлате и в грязных сапогах лениво вскидывает автомат. Вася жмёт на тормоз, машина останавливается в метре от офицера, тот, неприязненно глядя на лобовуху «козелка», в самую последнюю секунду делает шаг назад. Видимо, оттого что не

выдержал характер, отшатнулся, офицер приходит в раздражение. Подойдя со стороны начштаба, он откровенно грубо спрашивает у него документы. «Корочки», которые капитан Кашкин торопливо извлек из внутреннего кармана комка, в порядке.

- У нас есть способ останавливать таких вот... гонщиков... - говорит офицер, отдавая документы, глядя мимо Кашкина на Васю. Вася смотрит в лобовуху, чувствует взгляд, но головы не поворачивает, и спокойно улыбается. Я знаю, что его добродушный вид обманчив. Скажи офицер что лишнее, Васе будет не в падлу выйти и дать ему в лицо. Хотя офицер, конечно, прав.

Солнышко блаженно распекает, я даже прикладываю руки к потеплевшей лобовухе, и незаметно для себя улыбаюсь.

Вася набравший было скорость, на подъезде к аэропорту начинает притормаживать, и, увидев что-то, произносит нараспев:

- Ё-ба-ный в рот!

Сквозь растопыренные на тёплой и грязноватой лобовухе пальцы, я вижу людей, лежащих на асфальте... и мне не хочется отнимать рук.

Вася резко бьёт по тормозу, глушит недовольно буркающую машину и выходит первый, даже не закрыв дверь. От толчка во время торможенья, я стукаюсь лбом о горбушку левой руки, распластанной на стекле, и, не отнимая головы, продолжаю сквозь пальцы и мутно-белесое стекло смотреть. Боже ты мой...

На заасфальтированной площадке возле аэропорта суетятся военные, врачи.

По краю площадки ровно в ряд уложены несколько десятков тел. Солдатики... Посмертное построение. Парад по горизонтали. Лицом к небесам. Команда «смирно» понята буквально. Только вот руки у мертвых по швам не опущены...

Как же набраться сил выйти... Может закурить сначала? При мысли о сигаретах меня начинает тошнить. Отталкиваюсь руками от стекла. Нащупываю тёплой рукой ледяную ручку двери, гну вниз.

Первый же, лежащий с краю труп тянет ко мне корявые пальцы, я иду на эти пальцы, видя только их. Ногтей нет или пальцы обгорели так? Нет, не обгорели - руки розовые на солнце. Колечко «неделька» на безымянном. Два ногтя стойком стоят, не оторвавшиеся, вмерзшие в мясо подноготное. Куда ты, парень, хотел закопаться? За чью глотку хватался...

Рукав драный колышется на ветру, на шее ссохшаяся корка вокруг грязной дыры. Ухо, грязью забитое, скулы намертво запечатавшие сизые губы, истончавшиеся от смерти, глаза открытые засыпаны пылью, волосы

дыбом. Голова зависла над землей - как раз под затылком парня кончается асфальт, начинается травка, но на травку голова не ложится, вмерзла в плечи.

Никак не вижу мертвого целиком, ухо вижу его забитое грязью, пальцы с вздыбившимися ногтями, драный рукав, волосы дыбом, ширинку расстегнутую, одного сапога нет, белые пальцы ноги с катушками грязи между. Глаза боятся объять его целиком, скользят суетно.

Родной ты мой, как же тебя домой повезут...

Где рука-то твоя вторая...

Делаю осторожный шаг вбок, на травку, с трудом ступаю на мягкую землю, и, проверив ногой ее подозрительную мягкость, переношу вторую ногу на траву, обхожу убитого. Забываю найти, высмотреть его левую руку, смотрю на следующий труп.

Рот раскрыт и лошадиные жадные зубы оскалены животно, будто мертвый просит кусочек сахара, готов взять его губами. Глаза его словно покрыты слоем жира, подобному тому, что остается на невымытой и оставленной на ночь сковороде. Руки мертвеца вцеплены в пах, где лоскутья гимнастерки и штанов вздыбились и затвердели ссохшейся кровью.

Третий поднял, как на уроке, согнув в локте, руку, с дырой в ладони, в которую можно вставить палец. Лоб как салфетка в грязно-алых потёках сморщен, смят, наверное, от ужаса; рот квадратно, как у готовящегося заплакать ребенка, открыт, и во рту, как пенёк стоит язык с откушенным кончиком.

Наверное, этот откушенный кончик уже утащили в свой муравейник придорожные муравьи, а парень вот лежит здесь, и куда его убили я никак не найду.

Четвертого убили, кажется, в лоб. Лицо разворочено, словно кто-то с маху пытался разрубить его топором. Обе руки его уперты локтями в землю и ладони, окруженные частоколом растопыренных пальцев, подставлены небу. В ладонях хранятся полные горсти не разлитой, сохлой крови.

И пятого угробили в лоб.

И шестого, с неровно отрезанными ушами, с изразцами ушных раковин, делающих мертвую, лишенную ушей голову беззащитной и странной.

Да нет, Егорушка, не в лоб они убиты... В лоб их добивали.

Скрюченный юный мальчик лежит на боку, поджав острые колени к животу. И хилый беззащитный зад его гол, штанов на мертвом нет. Кто-то, не выдержав, накидывает на худые, белые бедра мертвого ветошь.

Обгоревшее лицо ещё одного мертвеца смотрит спокойно. Так, наверное, смотрит в мир дерево. И нагота мертвеца спокойна, не терзает никого, не требует одежды. И не догоревшие сапоги на черном теле смотрятся вполне уместно. И железная бляха ремня, впечатанная в расплавившийся живот...

- Уголовное дело надо заводить! - орёт полковник, проходя мимо мертвого строя. - Ах, мрази! Дембелей отправили безоружной колонной, на восемьдесят человек четыре снаряженных автомата - они же патроны уже сдали! Без прикрытия! Их же подставили! Их же в упор убивали пять часов! Ах, мать моя женщина!

Полковник пьян. Его уводят какие-то офицеры.

Появляется ещё один полковник, трезвый.

- Какого хуя вы их тут разложили? - орёт он, - Телевидения дожидаетесь? Немедленно всех убрать!

- Восемьдесят шесть, - говорит Вася Лебедев. Он шел мне навстречу с другой стороны.

Я разворачиваюсь и иду к машине. В затылок будто вцеплены пальцы мертвого солдата, лежащего с краю.

- Пахнет... - беспомощно говорит Скворец, так и не отошедший от «козелка».

Влезаем с Васей в машину, одновременно хлопнув дверьми.

- Вась, может, развернешь машину? - просит Скворец.

- Они колонной шли... в тот же день, когда мы с Владика возвращались, только с восточной стороны города, - говорит мне Вася, будто не слыша Скворца, - Дембеля... Их уже разоружили. Дали бэтэры в прикрытие... Снаряженные автоматы были только у офицеров... Слышал, что «полкан» говорит? Подставили, говорит. Стукнул кто-то...

- Вась, разверни машину, - ещё раз просит Скворец.

- А ты глазыньки закрой.

- Не закрываются, - отвечает Саня.

VII

Первый день мы ходили на рыночек минимум по трое: пока один покупал что-нибудь, двое глазели по сторонам, чтоб никакая вражина врасплох не застала. И во второй тоже.

Закупились сразу пивом и воблой, шашлыку отпробовали, хоть и дорогой; зелени южной отведали.

На третий день, конечно, расслабились, стали себя посвободнее вести. На сельские постройки, да на дома у дороги, да на далёкие «хрущёвки» никто уже не смотрел. Дома, как дома, чего на них смотреть. Тем более, что на крыше школы - четыре поста.

Смуглые, грузные чеченки спокойно стоят за прилавками, расставленными вдоль дороги. Не шумят, не торгуются, называют цену и не рубля не сбавляют. Ни мало не похожи они на жертв российской военщины, - не испуганные, сытые, усаые. К слову сказать, красивого лица не встретишь. Есть одна девушка на рынке, вроде ничего, миловидная, да и то, скорей, полукровка, с русским вливанием. Это Хасан нам сказал, ему видней. Возле этой девушки постоянно стоят наши пацаны, говорят что-то, смеются. У девушки лицо при этом безгливое.

Хасан, как-то отправившись на рынок, - мы называем это «в город», - попал в дурную ситуацию. Купил пивка, побрёл неспешно на базу и услышал, как за спиной торговка с соседкой переговаривается по-чеченски:

- А это ведь наш парень. Он в школе с моим учился...

Хасан сказал об этом Семёнычу. Командир запретил Хасану в город выходить.

- Теперь твои яйца стоят по тысяче долларов! - кричит Хасану, внося чан с супом, Плохиш. - Все твои одноклассники соберутся... - кряхтит Плохиш, устанавливая чан на скамейку, - с бо-о-ольшими кинжалами...

Хасан хитро улыбается.

- Я бы за две штуки себе яйца сам отрезал, - задумчиво говорит Вася Лебедев. У него вечно грязные, будто проржавевшие, руки. Белые, атласные, новые карты, которые он держит в своих заскорузлых лапах, смотрятся беззащитно и трогательно. Такое ощущение, что дама, на груди которой лежит окаймленный черной полоской ноготь Васи, сейчас взвизгнет. Вместе с Васей играют Саня Скворцов и Слава Тельман. Слава их постоянно обыгрывает. Вася матерится, Скворец улыбается, и, похоже,

думает о другом.

- Есть маза прокрутить выгодную сделку, - задумчиво продолжает поднятую Плохишом тему Язва. - Хасан! Говорят, это совершенно безболезненно...

Хасан все ухмыляется.

- Я беру на себя самую тяжелую часть операции, - продолжает Язва, - Собственно, прости за тавтологию, операцию. Покупателя ты сам найдешь. Позвони по старым телефонам, может среди твоих друзей по двору есть какой-нибудь завалящийся полевой командир. Торговаться пойдет Тельман. И - две штуки наши. Или четыре, а, Тельман?

Язvu внезапно увлекает новая, назревшая в его голове шутка. Он подходит к играющим.

- Парни, смотрите какой непорядок. Саня у нас Скворцов, Вася - Лебедев, а Слава какой-то Тельман. Слава, давай ты будешь... Вальдшнеп?

Вася Лебедев довольно смеется. Саня смотрит на Язvu удивленно, такое ощущение, что он даже не понял о чем речь. Слава недовольно молчит.

- Отстань, Гоша, я уже говорил, что я русский, - выговаривает он.

- А я тувинец! - хуже прежнего смеется грязно-рыжий Вася, щуря южно-русские глаза с бесцветными ресницами.

Парни рассаживаются есть. Режут лук. Никогда мужики не едят столько лука и чеснока, как на войне.

Семёныча по рации вызывают в штаб. Он кличет Васю Лебедева и Славу Тельмана. Слава сразу встает, сбрасывает с тарелки недоеденные макароны в чан для отходов, берёт автомат и выходит. Вася давится, ложку за ложкой набивает рот недоеденным. От выхода возвращается, берёт кусок хлеба и луковицу.

После обеда мы с Саней выходим на улицу покурить. Бездумно обходя школьный двор, я заглядываю в каморку к Плохишу. Эта скотина там водку в уголке разливает. Астахов и Женя Кизяков стоят со стаканами наготове.

- А, бляди! - кричу.

- Тихо! - зло шипит Плохиш. - Шеи нет там? А? А начштаба?

- Будешь? - предлагает мне Женя Кизяков.

- Ща, я Саньку позову, - я выглядываю на улицу. - Санёк! Давай сюда.

Мы быстро выпиваем. Закусываем луком. Опять выпиваем. Разливаем остатки... Плохиш засовывает в щель в полу пузырь. Бутылка звякает, видимо, там уже таятся ей подобные.

- Плохиш, ты весь НЗ пропьешь! - смеюсь я.

Выходим на улицу. Закуриваем. Сладко туманит и одновременно

немного тошнит. Санька все никак не развеселится.

- Ты чего какой, Сань? - спрашиваю.

- А?

- Ты где?

- Как где?

Я смеюсь.

- Девочку хочу, - вдруг говорит Саня.

- На ужин? - глупо шучу я, и, понимая глупость своей шутки, продолжаю, - Чего это вдруг? Только вторая неделя пошла.

- Ты представляешь, Егор, - вдруг говорит мне Саня, - я вот что подумал: это ведь ужас, что на земле есть девушки... тонкие, нежные...

- Чего ж тут плохого? - спрашиваю, чуть вздрагивая от неожиданной Саниной искренности.

- Егор, ты пойми, вот ходят все эти существа, на них трусики одеты, тряпочки всякие... грудки свои девочки несут... попки... и у каждой из них, подумай только, у каждой, - ни одного исключения нет, - между ног вот это розовое... серое... прячется, - Саша сглотнул слюну. - Это ведь божий дар, то, что у них это есть. Не у всех, конечно, божий дар... у многих, - так, просто орган... но у некоторых, - это божий дар. А девушки, Егор, все девушки, им торгуют. Балуются им, - этим даром. Не так торгуют, чтоб блядовать, а просто разменивают... как папуасы... на всякие побрякушки. Я пока пацаном был, в школе пока учился, думал, что нормальные девочки все недотроги. Ну не так чтоб никогда и никому... но, по крайней мере, серьезно это делают, отчёт себе отдают. Со шлюхами всё понятно, а вот если есть у девушки голова, она же понимает, что всякие прелести ей не просто так даны. Как ты думаешь Егор? - не оставив ни секунды мне на ответ, Саня заговорил дальше, - Я до нашего спецназа три работы сменил. В разных конторах работал, у меня ведь отец буржуй, он меня пристраивал.

- Кем работал? - зачем-то спрашиваю я.

- Да какая разница, кем... Черт знает кем. Там полно было девушек, самых разных возрастов. Малолетки были, - после школы, первый курс какого-нибудь юрфака... лет двадцати-двадцати двух были, которым за муж пора... замужние были, пару-тройку лет в браке... о разведёнках вообще молчу... Не скажу, чтоб я там их всех перехапал. Было, конечно. Дело не в этом. Дело в том, что они с самого начала собой торгуют. Устроится такая девочка на работу. Улыбается, заигрывает немного, но всё красиво... пристойно... А потом, когда поближе познакомимся все... Восьмое марта, скажем, отметим... Вот тут надо только момент уловить, чтоб, как на

рыбалке - подсечь. Выпила она чуть больше, развеселилась, - ты ее рассмешил, заставил ее хохотать, всех девочек и не девочек тоже заставил смеяться... А потом вы курить выходите и ты ее, - пока она горда перед подругами, что ты ее, а не их курить позвал, ты ее сразу - цап... Или - другой вариант: ее парень обидел. Девочки обычно в этот день задумчивые приходят на работу, раздраженные даже... Главное, с менструацией этот день не перепутать. Вот ее парень обидел, а тут ты наготове. Тютюки-матютюки, заливаешь ей... изображаешь из себя такого внимательного, понимающего, всепрощающего... И весёлого. Девушкам ведь надо всего три вещи, - чтоб их смешили, чтоб их баловали и чтоб их жалели. Я имею в виду, для того чтобы... они могли поделиться своим даром... Всего-ничего им надо. И не дают они некоторым вовсе не из чувства собственного достоинства, а потому, что тот, кто добивается, все условности необходимые не соблюдает. Сделай как надо и - всё будет, как хочешь. Я это десятки раз видел. И сам пробовал. Иногда прямо на работе, в кабинете... Можно домой ее к себе позвать. Можно к ней в гости зайти. Самый гадкий вариант - в гостинице. Туда только законченные твари идут. Гостиница, - погостили и ушли. Хуй погостил в ней и - до свиданья... Я почему-то сразу никогда не понимаю всего бесстыдства происходящего. Зато сейчас очень хорошо понимаю... Ты подумай, Егор, мужики они лопухи. Но в них, в хороших мужиках, нет этого бесстыдства. Они тоже, конечно, бывают хороши. Но у них, у мужиков, Егор, божьего дара-то нет. Хуй себе и хуй. Висит. Какой это божий дар! И самое главное, это не парни девочек снимают, а наоборот. Всегда наоборот. Есть, конечно, кобели. Но их мало. А все остальные мужики - простые существа. Не мудрые. Их самих девушки снимают. Я серьезно... Импульсы от них исходят, от девочек - рассмеши меня, покатай меня на машине, купи мне что-нибудь... чулочки... пожалей меня, когда мне грустно... и всё... Ты представь, Егор! - Саня повернулся ко мне, - Он ведь совершенно чужой ей человек, этот мужик, парень, пацан. Никто ей. Она его едва знает. И она, девочка, совсем голенькая, ложится с ним вместе. В рот себе берёт его... мясо. Из любопытства, что ли? Никогда не поверю, что случайному человеку это приятно делать! Ножки забрасывает ему... Куролесит, как заполошная... Он ее мнёт всю, тонкую... В троллейбусах, в трамваях все девочки сидят, как подобает, никто на голове не стоит. Попробуй тронь там, в троллейбусе, девушку. Погладь ее. Получишь сразу. А вот если ты сделал какой-то набор действий, самый примитивный, - она сразу на все готова. Она знает-то тебя, на один комплект чулочков и на четыре глупые шутки больше, чем соседа в трамвае. И уже готова от тебя зачать ребенка! Даже если у неё сто спиралей

стоит, она все равно готова зачать! Чего они такие дуры?

Я молчу.

- Ты как думаешь, Егор, их бог наказывает?

- Наверное, Бог всех наказывает. Всех без исключения.

Мы бросили бычки в урну.

- Чего-то меня мутит, - говорит Сашка.

- Надо ещё выпить, - предлагаю я.

- Надо, - соглашается Сашка.

Мы отпрашиваемся у начштаба, - и отправляемся на рынок.

Саня сразу прётся к девушке-полукровке.

- Куда ты, Сань? У неё водки нет! - смеюсь я.

Саня меня не слышит. Я думаю о том, что Саня сказал.

«Не буду об этом разговаривать» - решаю для себя. За раздумьями не замечаю, как покупаю водку. Понимаю то, что купил, уже отойдя от прилавка. Оборачиваюсь, - вроде, думаю, я денег много дал торговке, а сдачи она дала мало. Смотрю на торговку, она копошится в своём товаре.

«Чего я ей скажу? - думаю. - „Где моя сдача?“ А с чего сдача? Сколько я денег-то ей дал?»

Саня всё около девушки топчется. Смотрю на него и понимаю, что в том, как они стоят друг напротив друга, - Саня и торговка, - есть что-то неестественное.

Подхожу к ним и вижу: Саня уперто смотрит на девушку, в лицо ее. А она на него, и что-то говорит при этом, зло.

- Зачем вы приехали? - спрашивает она Саню, когда я подхожу. - Кто вас звал? Вы моих детей убили. Ваши дети будут наказаны за это.

- Пойдем, Санёк, - я тронул его за рукав.

На рыночке уже кто-то соорудил столик, две лавочки рядом поставлены.

- Давай посидим здесь, покурим? - предлагает он мне.

- Чего ты на неё смотрел?

Саня неопределенно машет рукой.

Подъезжает БТР. На броне сидят десанты.

- Здорово, парни! - кричат нам с брони. - Вы откуда?

- Со Святого Спаса! - откликаюсь я.

Прямо на броне у десантов расстелен персидский ковёр. Весь затоптанный, в чёрных иероглифах берцовских подошв, но всё равно красивый. На башне - красный флаг, советский. Я люблюсь пацанами, их бэтээром, ковром, знаменем. Случайно цепляю взглядом торговку, на которую Саня смотрел.

- Саня, глянь, как она ненавидит, - говорю, откупоривая пузырь.

Торговка смотрит на БТР, глаза ее источают животное презрение. Так смотрит собака, сука, если ее ударишь в живот.

Саня не оборачивается. Ему больше не интересно на неё смотреть.

Десанты идут к прилавкам, но деньгами они явно не богаты. Смотрят на товары, держа руки в карманах.

На рынок подъезжают грузовичок и «козелок», с солдатиками - с пехотой. Грязная пацанва в замызганной форме. Они вообще не вылезают из машин, только жадно зарятся на пиво и консервы.

Пока десанты выглядывают товар на рынке, и лениво, но постепенно озлобляясь, торгуются с чеченками, их БТР начинает разворачиваться. Он плавно въезжает передними колесами в огромную лужу метрах в десяти от ворот нашей базы, я смотрю, как чёрные густые волны с шумом занимают сухие пространства вокруг дороги. Я опять перевожу взгляд на молодую торговку на другой стороне улочки и вижу, как в лицо ей бьют черные жесткие брызги. Санька летит со скамейки. Десанты крутят головами, кто-то присел и сдёргивает с плеча автомат. Раздаются длинные и какие-то далёкие автоматные очереди...

БТР наехал на мину в луже, вот что случилось. Кувыркаюсь с лавки, в ужасе оглядывая окрестность, - куда деть себя.

«Мамочка! - зову я про себя женщину, которую не помню, - Куда мне спрятаться!»

Нет, это не дикий страх, это что-то другое, - некая ошпаренная суматошность.

Ползу куда-то в кусты, оборачиваюсь и вижу, что десанты вообще никуда не прячутся, а сидят на корточках возле БТРа. Некоторые даже курят. Обстрелянные пацаны, сразу видно. У БТРа одно колесо смотрит вбок, шина висит лохмотьями.

Солдатики повыпрыгивали из «козелка» и грузовичка, и, не теряя времени даром, тащат в машины пиво и консервы с прилавков. Торговки не сопротивляются, - спешно убирают под одежды лоточки с прищипленным к черному бархату золотишком, - кольцами, серьгами, цепочками.

Очереди раздаются всё ближе. Такое ощущение, что сначала кто-то стрелял вверх (за горелыми постройками? или со стороны асфальтовой дороги?), после начал палить по-над головами, а теперь уже норовит проредить рыночек. Чеченские бабы, покидав в баулы оставшийся товар, побежали в сторону «хрущёвок». Девушка-полукровка, как-то уродливо хромая побежала за ними, оставив товар на прилавке. Потом передумала, вернулась. С ее лотка два солдاتيку сгребают пиво, засовывая банки за

шиворот. Подбежав, она берет банку шпрот и бьет ближайшего из солдат по лицу. Тот, весело взглянув на девушку, хватая ее за руку, - я жду, что он ее сейчас ударит или вывернет руку, - но солдат аккуратно и быстро извлекает из пальцев девушки шпроты и бегом возвращается к машине.

Глупо зыркаю по сторонам. Слышу, как меня окликают по имени, оборачиваюсь на голос так резко, что кажется, шея слетает с резьбы, - Семёныч, присел возле дороги, у поваленных прилавков. Рядом Вася Лебедев.

- Егор, давай на базу!

Я встаю, но медлю. Семёныч подбегает ко мне, хватая меня чуть ли не за шиворот, толкает впереди себя:

- Давай, Егор, быстрее!

Подбегаю к БТРу, сажусь у колеса, с левой стороны, так чтоб меня не было видно с асфальтовой дороги. Десанты, почувствовав, что пахло палёным, сгрудились у БТРа, влезли под него, прямо в лужу. Стреляют куда-то, кто куда.

- Хули вы здесь лежите? - кричит на десантов Семёныч, и тут же мне, - Егор, открой ворота! Ты с кем был?

Вдруг вспоминаю, что со мной был Скворец. Не знаю, что сказать. Семёныч имеет полное право застрелить меня здесь же, - я потерял подчиненного.

- Со мной! - отзывается Скворец из под БТРа.

- Ворота откройте! - кричит Семёныч.

Встаю и теменем чувствую, как над головой пролетают пули, - они действительно свистят.

«Если бы я был выше, я бы уже умер», - понимаю я. И снова, дергаясь, присаживаюсь, опускаю зад, как баба, присевшая помочиться. Я не в силах бежать к воротам. Но Саня уже сорвался, он уже у ворот, уже открывает их. Утопая в луже, я плюхаю, медленно! медленно! медленно! едва не плача, к воротам. Подбегая, падаю на железо ворот, толкаю.

Во двор базы сразу влетают, объехавшие БТР, «козелок» и грузовик. Бегут десанты.

Я, наконец, вспоминаю, что у меня есть автомат, присаживаюсь у ворот, стреляю, - вперёд стрелять страшно, там, вроде, наши бегут, да и не видно из-за БТРа. Бью влево, через низину, в сторону асфальтовой дороги, где стоят нежилые здания.

Представления не имею, откуда стреляют по нам.

Осматриваю опустевший рыночек, - ежесекундно ожидая, что увижу чей-нибудь труп. Но нет, трупов нет. Вообще никого нет. На земле валяется

банка консервов, оброненная одним из солдатиков. А вот и наш пузырь, я его выронил, сам не заметил как. Половина уже вытекла. У меня возникает сожаление. Наверное, это исключительно русское чувство, - смертельно тосковать по поводу разлитого спиртного.

- Егор, не стреляй! - слышу.

Из кустов вылезает Слава Тельман.

- На базу все! - орёт Семёныч. Рядом с ним сидит Вася Лебедев, по рации запрашивает крышу, просит, чтобы они нас прикрыли как следует.

- Пусть повнимательнее работают! - говорит Васе Семёныч.

Кто-то открывает двери школы настежь, туда устремляются десанты и солдатики, пригибаясь, бежит Саня Скворец.

У ворот остаются Семёныч с Васей, и мы с Тельманом, несколько десантов.

Семёныч замечает Тельмана:

- Ты здесь? - говорит он недовольно. - Давай на базу.

Слава, упершись автоматом в бок, бежит к школе, давая длинные очереди в сторону асфальтовой дороги. В один прыжок через пять ступеней влетает в двери школы. Я бегу следом за ним.

Мне хочется сделать всё так же красиво, как Слава, - автомат в бок, длинные очереди на бегу. Но автомат у меня почему-то стоит на одиночных (когда я успел переставить предохранитель?), и поэтому вместо роскошных трелей своего «Калаша», я слышу редкие хлопки, сопровождающиеся ощутимой отдачей приклада в живот. Бежать и стрелять одиночными неудобно, я перестаю дергать спусковой крючок, и, прижав автомат к груди, со счастливой улыбкой вбегаю в школу. В коридоре стоят наши и солдатики, встречают. Лица у всех возбужденные. Я даже с кем-то обнялся, вбежав, и пожал руку кому-то, и улыбнулся.

За мной вбегают десант. У дверей школы, вижу я, остановился ещё один десант и самозабвенно палит в сторону асфальтовой дороги. Кто-то из стоящих рядом позвал его по имени, - хорош, мол, давай двигай в школу, - но он, взбрыкнув ногами, падает. В голове его, будто сделанной из розового пластилина, выше надбровья образовалась вмятина. Такое ощущение, что кто-то ткнул туда пальцем и палец вошел почти целиком.

Все оцепенели.

К десанту подбежали Семёныч с Васей, схватили его за руки-за ноги, и втащили в школу.

- Док где? - орёт Семёныч.

Подбегает наш док, дядя Юра. Садится возле парня, берёт его руку за запястье...

- Мужики, у него дочка вчера родилась! - говорит кто-то из десантов, будто прося: ну давайте, делайте что-нибудь, оживляйте парня, он ведь свою дочку ещё не видел.

Пощупав пульс, потрогав шею десанта, док делает едва заметное движение руками, - как бы бессильно раскрывая ладони, - смысл движения этого прост и ясен, - парень убит.

Семёныч сгоняет всех в «почивальню», приказав никому не высовываться. Сам, взяв Кашкина, собирается идти на крышу. Уже переступая порог, разворачивается, - увидев Славу Тельмана, обтирающего грязные штаны.

- Ты чего же меня бросил, боевик хуев? - спрашивает Семёныч у Славы. - Почему меня Вася Лебедев прикрывал?

- Семёныч, я в другую сторону из машины выпрыгнул... - начинает рассказывать Слава, но Семёныч уже вышел, долбанув дверь.

- Каждая божия тварь печальна после соития, - говорила мне Даша, памятуя слова одного русского страдальца; мы лежали в ее комнатке с синими обоями и она гладила мою бритую голову, - каждая божия тварь печальна после соития, а ты печален и до и после.

- Я люблю тебя, - говорил я.

- И я тебя, - легко отвечала она.

- Нет... Я люблю тебя патологически. Я истерически тебя люблю...

- Там, где кончается равнодушие, начинается патология, - улыбалась она.

Ей нравилось, что - кровоточит.

У меня начались припадки, в те дни. Я заболел.

Я шёл к ее дому, и мне очень нравилась эта дорога. С улицы, где чадили разномастные авто, я сворачивал во дворик. В подвальчике с торца дома, мимо которого я проходил, располагалась какая-то база, и туда с подъезжавшей «Газели» ежеутренне сгружали лотки с фруктами и овощами.

«Газель» подъезжала ко входу в подвальчик. В кузове стоял водитель, подающий лотки. Из подвальчика выбегал юноша в расстегнутой куртке, под которой была расстёгнутая рубаша, потный, ребристый, бритый ёжиком. Он хватал лоток и топал по ступеням вниз. Тем временем водитель пододвигал к краю кузова ещё один лоток и шёл в дальний конец кузова за следующим. Я как раз проходил мимо, в узкий прогал между «Газелью» и входом в подвальчик, и не упускал случая прихватить в горсть три-четыре сливы или пару помидорок. Так, из баловства.

Во дворе дома стояла клетка метра два в высоту, достаточно широкая. Там жили собаки, колли, - мальчик и девочка. Кобель и сучка, если вам угодно.

Их легко было различить, - сучечку и кобеля. Он был поджар, в его осанке было что-то бойцовское, гордое, львиное. Она была грациозна, и чуть ленива. Он всегда первым подскакивал к прутьям клетки, заведя меня, и раза два незлобно глухо тявкал. Она тоже привставала, смотрела на меня строго, но спокойно, глубоко уверенная в своей безопасности. Изредка она всё-таки лаяла, и что-то было в их лае семейное; они звучали в одной октаве, только его голос был ниже.

Но однажды сучка пропала. В очередной раз я повернул за угол дома, вытирая персик о рукав, слыша за спиной невнятный, небогатый мат водителя, и увидел, что кобель в клетке один.

Он метался возле прутьев, и, увидев меня, залаял злобно и не мелодично.

- Ма-альчик мой, - протянул я и тихо направился к клетке, - А где твоя принцесса? - спросил я его, подойдя в упор. Он заливался лаем, у него начиналась истерика.

Зайдя сбоку, я заглянул в их как бы двухместную, широкую конуру и там сучки не обнаружил.

- Ну, тихо-тихо! - сказал я ему и пошёл дальше, удивленный. Они были хорошей парой.

Следующим домом была общага, из раскрытых до первых заморозков окон ее, доносились звуки музыки, дурной, пошлой, отвратительной.

Возле нашего дома стояли два мусорных контейнера, в которых, мирно, как колорадский жук, копошился бомж. Приметив меня, он обычно отходил от контейнера, делал вид, что кого-то ждёт, или просто травку ковыряет стоптанным ботинком. В нашем дворе водились на удивление мирные и предупредительные бомжи. От них исходил спокойный, умиротворенный запах затхлости. В сумках их нежно позвякивали бутылки.

Возле квартирки моей Дашеньки стоял большой деревянный ящик, почти сундук, неведь откуда взявшийся. Подходя к ее квартире, я каждый раз не в силах был нажать звонок, и присаживался на ящик.

Я говорил слова, подобные тем, что произносила мне воспитательница в интернате: «Ра-аз, два-а, три-и... - затем торжественно, - Больше! - с понижением на пол тона, - не! - и, наконец, иронично-нежно, - пла-ачем!»

Сидя на ящике, я повторял себе: «Раз! Два! Три! Думаем о другом!»

О другом не получалось.

Я бежал вниз по лестнице, и, вспугнув грохотом железной двери по-прежнему копошащегося в помойке бомжа, выходил из подъезда.

«Ну зачем она? А? Зачем она так? Что она? Что она не могла что ли как-нибудь по-другому? Господи мой, не могу я! Дай мне что-нибудь моё! Только моё!»

Я бормотал, и плавил лбом стекло маршрутки, уезжая от ее дома, я брел по привокзальной площади, и сдерживал слезы безобразной мужской ревности. Мне было стыдно, тошно, дурно.

«Истерик, успокойся! - орал я на себя. - Придурок! Урод!»

Ругая себя, я отгонял духов ее прошлого, преследовавших меня. Мужчин, бывших с моей девочкой.

Я сам развёл этих духов, так же, как нерадивые хозяева разводят мух, не убирая вчерашний арбуз, очистки картошки, яичную скорлупу со стола. Я вызвал их бесконечными размышлениями о ее прошлом, - моей Даши.

К тому времени, когда мой разум заселили духи, я досконально изучил её тело. Духи слетались на тело моей любимой, тем самым терзая меня, совершенно беззащитного...

Печаль свою, лелеемую и раскормленную, до дома своего, находившегося в пригороде Святого Спаса, я не довозил. По ошибке я садился в электричку, направляющуюся в противоположную сторону. Остановки через две я замечал совершенно неожиданные пейзажи, роскошные особняки за окном.

«Когда их успели понастроить?» - удивлялся я.

«Почему я их не видел?»

«Может быть, я всё время в другую сторону смотрел? Скажем, в Святой Спас я ехал всегда, по случайности, слева, а обратно, всегда, по случайности справа? И в итоге всегда смотрел в одну сторону... Чушь...»

- Куда электричка едет не, скажете?...

«Ну вот, я так и думал...

Ну что за мудак, а».

Я вставал и направлялся к выходу, и тут, конечно же, навстречу мне заходили контролеры. Строгие лица, синие одежды. Несколько минут я с ними препирался, доказывая, что сел не в ту электричку, потом отдавал все деньги, которых всё равно не хватало на штраф, в итоге квитанцию я не получал, и выдворялся на пустынный полустанок, стылый, продуваемый, лишенный лавочек, как и все полустанки России.

Подъезжала ещё одна электричка, но там, - о, постоянство невезенья! - контролеры стояли прямо на входе, проверяя билеты у всех пяти пассажиров, бессистемно размещённых на платформе. Опережая

полубомжового вида мужчину с подростком лет семи, я подходил к дверям вагона, хватал подростка под руки, якобы помогая ему забраться, и, защищаясь своей ношей, проникал в вагон.

- Билетик где? - шумела проводница-контролер, злобная тетка лет сорока пяти, похожая на замороженную рыбу.

- Дайте ребенка-то внести! - огрызался я, обходил ее, ставил лицом к ней мальчика, и пока она брезгливо разглядывала корочки мужика полубомжового вида, я бежал в другой вагон.

Я выходил на вокзале Святого Спаса, почему-то повеселевший и пешком добирался до Дашиного дома.

Заходил в ее квартиру и ничего ей не говорил.

Семёныч ещё не успокоился после вчерашнего, - Слава Тельман сидит на своей койке хмурый; Семёныч уезжал вместе с десантами, убитого отвозил, Славу с собой не взял, - и тут ещё одно злоключение. Вася Лебедев гранату кинул в окно.

Семёныч как раз обратно вернулся; мы стоим возле входа в школу, обсуждаем случившееся. При появлении командира, конечно, все замолчали.

- Проверяйте посты, чтоб внимательней работали, - мимоходом говорит Семёныч Шее и Столяру, - Поменьше тут мельтешите. Сидите в здании.

Шея заходит за Семёнычем, кивает из-за плеча командира дневальному, - докладывай, мол.

- Товарищ майор, за время вашего отсутствия произошло чрезвычайное происшествие: боец Лебедев бросил гранату в окно.

- Пострадавшие есть? - быстро спрашивает Семёныч.

- Нет.

- Лебедева ко мне.

Лебедев, впрочем, вовсе не виноват.

Старичков, сапёр наш, когда-то вытащил чеку из РГН-ки, наверное, на одной из зачисток, но бросать гранату не стал. Обкрутил, прижав рычаг, гранату клейкой лентой, и так и носил в кармане разгрузки.

Сегодня утром, пока Семёныча не было, Старичков хорошо выпил; Плохиш, поганец, наверное, поднёс. Пьяный Старичков пришел в спортзал и со словами «На! Твоя...» дал Васе Лебедеву гранату. Лебедев взял гранату, сел на кровати, повертел РГН-ку в руках и стал снимать с нее клейкую ленту. Когда лента кончилась, раздался щелчок - сработал запал. У Васи было полторы секунды. В спортзале, на кроватях валялись пацаны,

никто, к слову, даже не заметил, что произошло.

Я видел Васю краем зрения, я читал в это время; Вася двумя легкими шагами достиг бойницы и кинул гранату.

Ниже этажом ухнуло.

- Вася, ты что охуел? - закричал Костя Столяр, подбегая к Лебедеву, все ещё стоящему у окна.

В общем, обошлось.

- Вы представляете, что такое ехать с гробом к матери? - Семёныч зло смотрит на нас, собравшихся в актовом зале, и совершенно не смотрит на Старичкова, который понуро, как ученик, стоит перед парнями, справа от Семёныча. Рядом с Семёнычем сидит неизменно строгий Андрей Георгиевич - Чёрная метка.

«Кто он такой?» - думаю.

- Вы представляете, что такое приехать и сказать матери, что ее сын погиб не героем в бою, а его угробил какой-то мудака? Ты знал, что граната без чеки?

- Знал.

- Зачем ты ее дал Лебедеву?

- Я не думал, что он ее будет раскручивать.

- Федь, ну как я мог подумать, что ты мне гранату дашь без чеки и ничего не скажешь, - сказал Лебедев с места.

- Я готов искупить кровью, - тихо говорит Старичков.

- «Готов искупить»? - передразнивает его Семёныч. - Вы ещё войны не видели! - обращается он ко всем. - Это я вам говорю. Не ви-де-ли! «Бах-бах-бах», постреляли из автоматиков, боевики вашу мать! Вот когда, блядь, клонет жареный петух, - Семёныч снова обращается к Старичкову, но не смотрит на него, - я посмотрю, как ты будешь искупать!

- Домой поедешь! - безо всякого перехода говорит Семёныч и впервые брезгливо оборачивается на провинившегося, - А здесь пацаны будут за тебя искупать. Собирай вещи.

- Сергей Семёныч... - говорит Старичков.

- Всё, свободен.

Сопровождать Старичкова в аэропорт поехали начштаба и мы со Скворцом. Вася Лебедев напросился в водилы. По дороге я избегал со Старичковым разговаривать, да и у него желания с нами общаться явно не было.

Вася всё порывался его развеселить, но он не откликался.

«Странно, - думал я, - Вася, который чуть не взорвался и к тому же остаётся здесь, успокаивает Старичкова, который вечером будет у жены под

мышками руки греть... или Старичков не женат?».

Федя, как казалось, равнодушно смотрел в окно; но уже в аэропорту, выходя из машины, я увидел, что он плачет.

«Повезло ему или нет? - думаю я. - Вот если бы меня отправили, я бы огорчился? Всё-таки домой бы приехал, к Даше...»

Я понимаю, что мне не хотелось бы, что бы меня отправили домой. Это было бы неправильно - уехать и парней оставить. Мне кажется, все наши бойцы именно так рассуждают. Со Старчковым даже никто не попрощался. Не потому, что вот его все вдруг презирали, просто потому, что он отныне - отчуждён. Да и сам Федя только Филю, пса своего обнял. Филя и не понял, что хозяин уезжает.

Начштаба пошел в аэропорт.

На крыше аэропорта стоят буквы «Г», «Р», «О», «З», «Н», «Ы», «Й».

Слева от аэропорта плац, маршируют солдатики.

«Им, может, умирать завтра, а их маршировать заставляют. Что-то тут не правильно...» - думаю.

Старичков, следом за начштаба выходит из «козелка», вытаскивает свой рюкзак. Взяв за лямки, волочит его по асфальту в сторону автовокзала.

Вася выскакивает, окликает Старичкова, - куда, мол, но тот не отзывается.

Вася, пожав плечами, садится в машину.

Проходящий мимо усатый майор строго смотрит на Старичкова. Тот останавливается, не дойдя до аэропорта.

- Санёк, хочешь домой? - спрашиваю я Скворца.

- Нет, - отвечает.

Появляется наш начштаба, молча проходит мимо Старичкова, идет к «козелку».

- Рейс отменили, - говорит начштаба. - Чего делать-то?

«Тоже, - думаю, - капитан, - совета спрашивает».

- Давай его до Рязани подбросим? - весело предлагает Вася, и в знак полной готовности хватает обеими руками руль.

- До Рязани далеко... - говорит начштаба серьезно.

«Интересно, - думаю, - он действительно тупой или просто такой вот человек?»

Начштаба явно раздумывает, вызвать ли ему Семёныча по рации, на запасной волне, чтобы спросить, что делать, и сомневается, не покажется ли он при этом слишком бестолковым.

- Поехали на базу, - насмешливо говорит Лебедев, - Завтра отвезём.

Начштаба неопределенно кивает головой, и Лебедев, как мне кажется

даже не заметив этого кивка, высовывается из машины и зовёт Старичкова.

Тот оборачивается, кивком спрашивает, что надо, но Вася не отвечает, заводит машину. Старичков нехотя идёт к «козелку».

Он открывает дверь и молча смотрит на нас.

Такое его поведение начинает раздражать.

«Он что, презирает нас всех теперь?» - думаю я.

- Садись, - говорит Вася. - Твой самолет улетел.

- Чего такое? - цедит сквозь зубы Старичков.

- Садись, говорю.

На базе Старичков хмуро вытащил рюкзак и прошел мимо курящих пацанов в спортзал. Те посмотрели на него иронично, как на новичка. Я, улыбаясь, прошел за Старичковым в «почивальню».

- Не раздевайся, - говорит мне Шея.

- А чего?

Шея не отвечает на вопрос, - приглядываясь к пацанам, выкликивая поименно, собирает кроме меня Хасана, Диму Астахова и Женю Кизякова. Отправляемся в кабинет Черной метки.

- Чего случилось, взводный? - интересуется Астахов по дороге.

- Попросили собрать пять надежных ребят. За неимением надежных остановился на вас, - говорит Шея серьезно, открывая дверь в кабинет. Нас молча ждут: Андрей Георгиевич и Семёныч.

- Хасан, знаешь дом шесть по улице Советской? - спрашивает Чёрная метка, когда мы рассаживаемся.

- Знаю, - говорит Хасан.

- Точно, помнишь, где он? Ты ведь давно в Грозном не был? - спрашивает Семёныч.

- Я здесь жил. Я помню, - отвечает Хасан.

Чёрная метка пишет на листочке цифры - 6 и 36.

- Это номер дома и номер квартиры. Здесь живет Аслан Рамзаев. По оперативным данным, он находится в городе, приходит ночью домой. Надо его аккуратно взять и привести сюда. Ночью или утром. Выбирайте, когда удобней.

«Во, бля...», - думаю я ошалело.

- Насколько аккуратно? - спрашивает Шея.

- Без пулевых ранений в голову, - говорит Семёныч.

Мне кажется, что Семёныч заговорил только для того, что бы показать, что и он тоже начальник.

Чёрная метка подробно добавляет, о том, что работать надо предельно аккуратно, и лучше даже синяков не оставлять.

Решаем выйти вечером, в 20.00. Город начинают обстреливать ближе к полночи, есть смысл выйти пораньше. А обратно уж как получится.

«Ну почему вот я стесняюсь забиться под кровать и сказать, что у меня живот болит? - думаю я в „почивальне“, - Что это за стыд такой глупый? Ведь убьют и всё... Откуда они могут знать, что этот Рамзаев один придёт? А вдруг он с целой бандой приходит? А мы будем в подъезде сидеть, как идиоты. Кому это только в голову пришло...»

Не найдя ответов ни на один из своих вопросов, я думать об этом перестал. Взял книгу, но ничего в ней не понял.

«Как можно какие-то книги писать, когда вот так вот живого человека могут убить. Меня. Да и какой смысл их читать. Глупость. Бумага».

Я ушёл курить и курил целый час. Вернулся - Шея носок зашивает.

«Видимо, он намеревается вернуться» - подумал я презрительно. Послonyaлся между кроватей, пацаны предложили мне в карты поиграть, я неприятно содрогнулся.

«В карты, бляха-муха...» - передразнил мысленно.

Хасан лежал на койке с закрытыми глазами.

Я опять вышел на улицу. По дороге встретил Женю Кизякова.

- Последний раз посрал, - сообщил мне Женя, улыбаясь.

- Да ладно! - ответил я Кизе.

Это меня немного успокоило. Хоть один нормальный человек есть. А то носки зашивают. Тоже мне.

Ну, естественно, пока я одевался, Плохиш предложил мне помыться, чтобы потом возни было меньше с трупом.

- Вы куда? - спрашивают у нас пацаны с поста на воротах.

- За грибами, - говорит Астахов.

Выходим, бежим, пригибаясь, от дома почти родного, от тёплой «почивальни»...

«Куда мы? Куда нас?...»

Присели, дышим.

- Хасан, может, ты адрес забыл? - улыбаясь, шепотом спрашивает Кизя, в смысле - «хорошо бы, если б ты дорогу забыл», и, не дождавшись ответа, обращается к Шее, - Взводный, давай в кустах пересидим, а сами скажем, что он не пришёл?

Я по голосу слышу, что Кизя придуряет. Если бы мне вздумалось сказать то же самое, это прозвучало бы слишком искренне. Кизя смелый.

«Наверное, смелее, чем я», - с огорчением решаю я.

Шея молчит.

Отойдя метров на сто от школы, сбавляем ход.

«Куда нам теперь торопиться?» - думаю иронично.

Хасан идёт первый. Договорились, что если кто окликнет, он ответит сначала по-русски, а потом и по-чеченски. Мы одеты в черные вязаные шапочки, разгрузки забиты гранатами, броников, естественно, нет.

Смотрю по сторонам. Мягко обходим лужи. Шея тихонько догоняет Хасана, останавливает его, делает шепотом замечание. Хасан подтягивает разгрузку, - видимо, что-то звякало, я не слышал.

Начинаются сельские дома, заглядываю в то окно, где мы видели труп на первой зачистке.

«Если этот труп по ночам ходит и ловит случайных путников, это не так страшно, чем сидеть в подъезде...» - думаю.

Вытаскиваю из кармана упаковку жвачки, кидаю пару пропитанных ароматной кислотой кубиков в рот. Сбоку тянется рука нагнавшего меня Кизи. Поленившись выдавливать кубики жвачки, кидаю на ладонь ему всю пачку.

Из темноты встает полуразрушенная «хрущёвка», сереет боком. Неожиданно вспыхивает огонёк в одном из окон на втором этаже. Мы присаживаемся, я, чертыхнувшись, падаю, чуть ли не на четвереньки. Огонёк тут же гаснет.

Шея машет рукой, пошли, мол. Кизя трогает ладонью землю, - жвачку мою потерял.

Медленно отходим, огибаем дом с другой стороны. Идём вдоль стены по асфальтовой дорожке. Хрустит под ногами битое стекло.

Хасан поднимает руку, останавливаемся. Прижимаюсь спиной к стене, чувствую бритым, тёплым затылком холод кирпича. Оборачиваюсь на Кизю, он жуёт - нашёл-таки. Кизя делает шаг вбок, на землю возле асфальта, видимо, пытаясь обойти стекло, и резко отдернув ногу, произносит:

- Ёбс!

Смотрю на него.

- Говно! - произносит Кизя с необычайным отвращением. Слышится резкий запах. Видимо, канализацию прорвало в доме.

Астахов, идущий позади Кизи хмыкает.

Кизя бьёт каблуком по асфальту.

Шея недовольно оборачивается:

- Женя, ты что, танцуешь?

- В дерьмо вляпался, - поясняю я.

Идём дворами мимо то деревянных, то железных заборчиков, лавочек у подъездов, мусорных куч. Лицо задевают ветви дворовых деревьев.

Останавливаемся на углах, перебегаем промежутки между домами, осматриваемся, идём дальше. Хасан уверенно ведёт нас.

Как всё-таки здесь всё похоже на российские городки, на пыльные дворики Святого Спаса. Сейчас вот подойдем к этой трехэтажке, а там Даша половички вытрясает, в белых кроссовочках, в голубеньких брючках, в короткой маечке, и виден открытый загорелый пупок, и тяжелые грудки встряхиваются, когда она половичком взмахивает... Ага, Даша... Хасан, выворачивая за угол, лоб в лоб сталкивается с женщиной, здоровой чернявой бабой в платке, в кожаной, расстегнутой на груди куртке, в юбке, в резиновых сапогах. Некоторое время все молчат.

- Напугалась... - говорит она спокойно, и чуть улыбаясь - это слышно по голосу.

Хасан отвечает что-то нечленораздельное, но по-русски. Приветливый набор звуков, произнесённый Хасаном, должен по его замыслу выразить то, что мы тоже немного напугались, но всё, как видим, обошлось благополучно, мы вот тут прогуливаемся с ребятами и сейчас разойдемся мирно по сторонам. Чуть склонив голову, женщина тихо проходит мимо нас, мы стоим недвижимо, как манекены, глядя вперед.

Обойдя замыкающего Астахова, женщина заходит в подъезд, дверь громко и неприятно скрипит, и зависает в полуоткрытом состоянии.

Шея оборачивается на нас, Астахов коротко и многозначительно кивает головой вслед женщине. Шея раздумывает секунду, потом говорит:

- Идём!

Чувствую, что Астахов недоволен. А я? Не знаю. Чего, убить ее, что ли, надо было? Взять бабу и зарезать? Как корову... Ну что за дурь.

«Сейчас она позовет своих абреков, - думаю, - и они нас самих перережут. Как телят».

Покрепче перехватываю ствол. Сжимаю зубы.

«Сейчас, перережут. Хер им».

Останавливаемся у корявых кустов. Присаживаемся на корточки. Смотрим назад, на тот дом, от которого отошли. Ломаю веточку, верчу в руках, бросаю. Где-то далеко раздаются автоматные очереди. Здесь, вокруг нас, тихо.

Встаем, двигаемся дальше. Совсем уже стемнело.

Как мы пружинисто и цепко идём, какие мы молодые и здоровые...

Всё, наш дом, приплыли. Пятиэтажное здание серого цвета, «хрущёвка», второй подъезд. Напротив дома, видимо, была детская площадка. В темноте виднеется заборчик, качели, похожие на скелет динозавра, беседка, как черепашка...

Шея тыкает в меня пальцем и затем указывает на дальний угол дома.

- Глянь и вернись, - говорит он тихо, когда я прохожу мимо него.

Как всё-таки плохо идти одному. Чувствую себя неуютно и нервно. Неприязненно кошусь на окна: разбитое, целое, разбитое, потрескавшееся... Вот было бы замечательно увидеть там лицо, прижавшееся к стеклу, расплывшиеся губы, нос, бесноватые глаза. Даже вздрагиваю от представленного. Угол. Заглядываю за. Помойка, мусор, тряпки, битое стекло. Вглядываюсь в темноту. Опять где-то раздаются выстрелы. Дергаюсь, прячусь за угол.

«Ну чего ты дергаешься, - думаю, - чего? Черт знает, где стреляют, а ты дергаешься».

Возвращаюсь к своим, не глядя на окна. Хасан и Шея уже зашли в подъезд, Астахов держит дверь, ждет меня. Вхожу, Астахов медленно, по сантиметру, прикрывает дверь, но она все равно выдает такой длинный, витиеватый скрип, что у меня начинается резь в животе.

Поднимаемся на второй этаж. Смотрю вверх, в узкий пролет. Естественно, ничего не вижу. Шея щелкает зажигалкой перед одной из дверей - только на секунду, прикрыв ее ладонью, при вспышке озаряется цифра «36».

«Надо же, - думаю, - номер сохранился. А чего бы ему ни сохраниться. Кому он нужен...»

Мы быстро, стараясь не шуметь, поднимаемся выше этажом. Прислушиваемся.

«Бля, куда мы забрели», - думаю.

Чувствую внутри мутный страх, странную душевную духоту, словно всё сдавлено в грудной клетке.

- Чего будем делать? - спрашивает Астахов.

- Попробуем выбить любую дверь, - отвечает Шея. - Может быть, через окна удастся уйти.

Распределяемся: Женя Кизяков, Дима Астахов и я усаживаемся возле окна на площадке между вторым и третьим этажами - смотрим на улицы, поглядываем на двери, чтобы кто-нибудь нежданный не выскочил с гранатометом. Хасан и Шея стоят сидят на лесенке чуть ниже нас.

Вижу качели на детской площадке. При слабом порыве ветра дзенькает стекло ниже этажом...

Дерево... Крона как будто бурлит на слабом огне... Кто-то когда-то сидел под деревом, целовался на скамеечке. Чеченский парень с чеченской девушкой... Или у них это не принято - так себя вести? У Хасана надо спросить. Принято у них под деревьями в детских садах целоваться было,

или это вообще немыслимо для чеченцев.

Куда всё-таки нас, меня занесло. Сидим посереде чужого города, совсем одни, как на дне океана. Чего бы Даша подумала, узнай она, где я сейчас?...

На какое-то время в подъезде воцаряется тишина. Потом Дима тихонько кашляет в кулак. Чувствую, что у меня затекла нога, меняю положение тела, громко шаркая берцем. От ботинок Кизи веет тяжелым, едким запахом кала...

- Кизя, может, ты снимешь ботинок и положишь его за пазуху? - предлагает Астахов шепотом. - Я сейчас в обморок упаду.

Я чувствую, что Кизя улыбается в темноте. Он необидчивый. Даже как-то радостно реагирует, когда над ним шутят. И от этого значение и едкость шутки совершенно растворяются.

Хасан поправляет ремень, что-то звякает о ствол.

Шея стоит недвижимо, спиной к стене, полузакрыв глаза.

Далеко раздаются автоматные очереди.

«А что, если я сейчас заору дурным голосом „...тё-мна-я ночь! только пули свистят по степи...“ - что будет?» - думаю я. И сам неприязненно дергаюсь. Какое-то время не могу отвязаться от этой шальной мысли. Что бы отогнать беса сумасшествия, тихонько, одними губами напеваю эту песню.

- Ташевский молится, - констатирует Астахов.

- Цыть! - говорит Шея.

Замолкаем. Всё время хочется сесть иначе, ноги затекают. Терплю. Смотрю на пацанов, никто не шевелится. Терплю. Наконец, Астахов пересаживается иначе; следом, Кизя, сидящий на лестнице, вытягивает ногу в обгаженном ботинке и ставит ее на каблук рядом с Астаховым; под шумок и я пересаживаюсь.

- Как куры, блядь, - говорит без зла Шея.

- Кизя, тварь такая, убери ботинок, - просит Астахов.

Кизя молчит.

Астахов наклоняется над берцем Кизи, пускает длинную слюну - сейчас мол, плюну прямо на ногу.

- Ага, и платочком протри, - советует Кизя.

Астахов сплёвывает в сторону и отворачивается к окну.

Смотрим вместе в темноту. Качели иногда скрипят. Крона все бурлит.

- Пойдем, на качелях покачаемся? - предлагаю я Димке, пытаюсь разогнать внутреннюю мутную тоску.

Молчит.

«Забавно было бы... Выйти, гогоча, и громко отталкиваясь берцами от земли, начать качаться... Чеченцы удивились бы...»

От того, что я вспоминаю чеченцев, произношу мысленно имя этого народа, мне становится ещё хуже.

«Они ведь близко... Где-то здесь, вокруг нас. Может быть, в этом подъезде... Мама моя родная...»

Метрах в тридцати раздаётся пистолетный выстрел. Бессмысленно перехватываю автомат.

«О, наш идет, - думаю иронично, пытаюсь себя отвлечь, - возвращается домой и от страха в воздух палит».

Начинаю мелко дрожать.

«От холода...» - успокаиваю себя. Дую на озябшие руки.

Резко скрипит входная дверь и меня окатывает внутренняя тошнотворная волна. Разум дёргается, как рыба, брошенная на сковороду. Не знаю что делать. Кизя медленно встает. Астахов уже стоит.

Шея поднимает руку с открытой ладонью - «тихо!» Слышны спокойные шаги. Один человек будто бы... Да, один.

«Один, один, один, один...» - повторяю я в такт сердцу, быстро.

Медленно снимаю предохранитель, встаю на колено, направляю ствол между прутьями поручня. Появляется мужская голова, спина, зад.

- Аслан Рамзаев? - спрашивает Шея, шагнув навстречу поднимающемуся мужчине.

Мужчина делает ещё один, последний шаг и встает на площадке напротив Шеи. Автомат Шеи висит сбоку, дулом вниз, отмечаю я. Шея стоит вполоборота к подошедшему, расслабленно опустив руки.

- Да, - слышу я ответ чечена, чувствуя мякотью согнутого пальца холод спускового крючка.

Шея очень легким, почти незафиксированным моим глазом движением бьёт чечена боковым ударом в висок. В паденье чечен ударяется головой о каменный выступ возле двери собственной квартиры. Я смотрю на его тело. Тело недвижимо. Шея хлопает чечена по карманам. Подбегает Хасан, помогает Шее...

Я расслабляю палец, тупо зависший над спусковым крючком. Кошусь на Кизякова, тот смотрит на двери третьего этажа, держа ствол наперевес. Астахова не вижу, он у меня за спиной.

- Как там на улице? - спрашивает Шея тихо глядя поверх меня. Какой у него голос спокойный, а.

- Пусто, - отвечает Астахов.

Шея рывком переворачивает чечена, ловко связывает припасенной

веревкой руки. Извлекает из разгрузки пластырь и нож. Отрезав сантиметров на двадцать ленты, заклепывает чеченцу рот. Перевешивает автомат на левое плечо. Взяв чечена за брюки и за шиворот, вскидывает на правое плечо, головой назад.

- Хасан, Егор, посмотрите... - просит Шея на первом этаже.

Выходим, обойдя взводного с его поклажей, на улицу. Вглядываемся в темноту детской площадки. Расходимся в разные стороны. Я добегаю до конца дома, заглядываю за угол. Сдерживаю дыхание, прислушиваюсь. Луна необыкновенно ясная стоит над городом Грозным. Помойка, расположившаяся за домом, источает слабые запахи тлена.

Возвращаюсь, нагоняю уже вышедших из подъезда своих.

Хасан чуть торопится. Постоянно уходит вперед, потом, присев, и оглядываясь на нас, поджидает.

«До-мой, до-мой, до-мой...» - повторяю я ритмично и лихорадочно.

- Гэй! - кричит кто-то рядом.

Останавливаемся.

«Сейчас начнётся!» - понимаю я.

- Гэй-гэй-гэй! - повторяют явно нам - то ли с крыши, то ли из одного из окон, неясно...

Все присаживаются. Шея сбрасывает чечена с плеча, тот внезапно вскакивает, Шея хватается его за горло, валит на землю, прижимает головой к земле.

Несколько мгновений мы всматриваемся в темноту, ища источник крика.

- Я тебе, сука, голову отрежу, - говорит Шея внятным шепотом своей оклемавшейся ноше. - Понял?

Я не вижу, отвечает ли чечен.

- Пошли! Бегом! - командует Шея.

Вскакиваем, я сразу догоняю Шею, потому что чеченец впереди него бежит не очень быстро. Шея хватается его за шиворот, дергает так, что трещит и рвется куртка. Подбегаем к дому, жмёмся к стенам, сворачиваем за угол.

- Ещё бросок!

Добегаем до следующего дома. Чеченец крутит головой, таращит глаза, смотрит назад.

- Давай, порезвей работай клешнями... - говорит Шея чечену, пропуская его вперед.

- Егор, веди его, - приказывает мне взводный; отходит назад, к углу дома и вместе с Астаховым начинает вглядываться и вслушиваться в

темноту, которую мы миновали.

Я толкаю чечена, он делает несколько шагов, спотыкнувшись, падает, я подцепляю его за ремень, он смешно встает на четыре конечности, и оттого, что я все ещё судорожно тяну его за ремень вверх, не может никак подняться. Нас догоняет Шея, хватает чечена за волосы, дергает его вперед, наш пленник делает длинный прыжок вперед и набирает скорость.

«Почему никак не стреляют?» - думаю я.

Пробегаем ещё квартал. Садимся с Астаховым к стене, пускаем длинную, тягучую слюну. Чеченец быстро дышит носом. Он морщит скулы и мышцы лица, я понимаю, что ему хочется отлепить пластырь. Я мягко бью ему пальцами левой руки по лбу, чтоб перестал.

Шея стоит на углу дома.

- Тихо... - говорит он, подойдя к нам. - Вроде тихо.

Мы бежим дальше, чеченец часто спотыкается.

Шея связывается с базой, предупреждает, что мы близко.

Метров за пятьдесят до базы становится легко. Уже дома. Почти уже дома. Совсем уже дома.

Мы входим во двор и начинаем смеяться.

- «Гэй-гэй-гэй!» - пародирует неизвестного, окликавшего нас, Астахов, заливаясь. Я тоже хохочу.

- «Гэй!» - повторяю я. - «Гэй-гэй-гэй!»

В ночном Грозном раздаётся наш смех.

- Кизя, мы не скажем парням, что ты боты обгадил от страха! - смеётся Астахов, и Кизя тоже смеётся.

- Ну что, аксакал, поскакали дальше? - спрашивает гыгыкающий Шея у чеченца, хмуро смотрящего куда-то вбок. И мы снова хохочем.

Нас встречает улыбающийся Семёныч и начштаба. Семёныч кажется родным, хочется броситься ему на шею.

«И начштаба - отличный мужик!» - думаю я.

Чеченца сразу уводят в кабинет Чёрной метки.

Мы входим в «почивальню» посмеиваясь. Пацаны дрыхнут.

«Гэй-гэй-гэй!» - повторяем мы, улыбаясь, уже на исходе здорового мужского хохота.

Скворец поднимает заспанную голову, улыбается нежно, щурит глаза.

«Гэй-гэй-гэй...» Что может быть забавнее.

VIII

Потихоньку излечившись от расстройства желудков, пацаны начали разъедаться. После завтрака, сопровождаемого добродушными напутствиями от Плохиша, уже в полдень мы собираемся душевной компашкой, - Хасан, Скворец, Димка Астахов, Андрюха-Конь, Кизя, - порой, конечно, кто-то из нас дежурит на крыше или на воротах, - ну вот, в этом или в усечённом составе собираемся, открываем каждый по банке кильки в томатном соусе, каждый режет себе по луковичке, и за милую душу всё это уминаем.

Спустя пару часов подходит время обеда, все с отличным аппетитом отведывают супчику, порой опять рыбного, из кильки, ничего страшного - рыба штука полезная, иногда щей, иногда горохового.

Однажды Костя Столяр, всё время поругивающий Плохиша за распиздяйское отношение к поварским обязанностям, самолично изготовил украинский борщ, выгнав поварёнка из его кухоньки, чтоб не мешал. Борщ получился бесподобный, Вася Лебедев не постеснялся хлебушком протереть чан, что послужило побуждением Плохишу предложить Васе отведать из ведра для отходов на кухоньке, «там такие славные очистки, и хлебушек размякший» - посулился Плохиш.

Ближе к ужину мы встречаемся за столом ещё разок, на этот раз почаевничать. Всё скромно, разве что между делом банку тушенки съедим. Пацаны, конечно же, были бы не прочь выпить пива, но Семёныч запретил пиво пить до 21.00. Причём, после наступления заветного срока, могут выпить только те, кто не заступает на посты.

Ну, естественно, чаем сыт не будешь, так что к ужину опять все голодные. Полвосьмого Плохиша, привычно дремлющего на койке, на втором ярусе, все уже гонят из «почивальни» - иди, поварёнок, обед грей.

- Холодное пожрёте, скоты ненасытные, - отругивается Плохиш, и накрывается одеялом с головой.

- Ударь его копытом, - просит Язва нашего Коня: у Андрюхи Суханова койка расположена ниже ярусом лежанки Плохиша. Андрюха-Конь послушно бьёт ногой в то место, где сетка кровати особенно провисает под телом Плохиша - предположительно, по заду поварёнка.

- А-а, по почкам! - блажит Плохиш.

Андрюха бьёт ещё раз.

- А-а, по придаткам! - ещё громче завывает поварёнок, и слезает-таки вниз, попутно желая Андрюхе всяческих благ, сено на завтрак, золотые подковы и бант на хвост.

«Как я их люблю всех... - думаю я. - И ведь не скажешь этим уродам ничего...»

«Как я боюсь за них. За нас боюсь...» - ещё думаю я.

«Как погиб этот пацан? - думаю следом, вспоминая десантника. - Отчего он погиб? Может быть, смерть приходила к кому-то из нас, искала кого-то, а зацепила его? Как это нелепо... Приехал на рыночек, глазел на чеченок, приценивался к консервам... Стрельба началась, даже не очень испугался, привычно присматривался - оценивал обстановку - на глаз, как мужики прицениваются, оставаться ли в баре или другой искать... даже покурил - дымку глотнул напоследок. Не собирался ведь умирать. Потом побежал и упал. И нет его. Зачем он тогда приценивался? Консервы, что ли ему были нужны? Чего курил? Мог бы и не курить. Мог бы и не жить совсем... Дочь у него родилась, за этим жил? Одна будет расти, девочка, без отца».

Семёныч приехал из ГУОШа, серьезный, озабоченный. И даже поддатый. Отозвав Шею и Столяра, тихо распорядился выставить на стол спиртное. По две бутылки на взвод. У нас на такие приказы слух наметанный, все сразу приятно оживились.

- Вчера было некогда... - говорит Семёныч за столом, - Сначала... - тут он смотрит на Федю Старичкова, который так и не уехал, - Никуда не поедешь, - обрывает Семёныч начатое предложение, потому что и так все поняли, что речь шла об эксцессе с гранатой, - Будешь тут искупать, - жёстко заканчивает он, и у меня сразу появляются неприятные предчувствия, - Потом вот ребятки ушли... за добычей, - Семёныч смотрит на Шею, на Хасана, мне хочется, чтобы Семёныч посмотрел и на меня - и он останавливается взглядом на мне, и даже головой кивает, вот, мол, и Шея, и Хасан, и Кизяков, и Астахов, и Егор - эти ребятки ходили за добычей, - Знатную птицу поймали, - продолжает Семёныч. - От лица комсостава вам... - здесь Семёныч снова обрывает начатое, но мы и так понимаем, что нам «от лица комсостава» благодарность, - Вчера было недосуг, - говорит Семёныч, - А сегодня надо помянуть пацана, десантника. Смерть к нам заглянула. Мы должны помнить о ней.

Первую пьем за наше здоровье. Вторую - за тех, кто нас ждёт. Третью - молча и не чокаясь. «Давай браток... Пусть пухом...»

После третьей глаза заблестели, и даже от души отлегло - всё-таки нехорошо, когда душа человеческая не помянута. Но особенно

развеселиться нам Семёныч не дал.

- Так, ребятки, - сказал он, - Томиться я один не хочу, скрывать от вас ничего не желаю. Завтра мы выезжаем за город, будем брать селенье Пионерское. Или Комсомольское... Без разницы, какое... Главное, вот что. В селенье, согласно данным разведки, находится группа боевиков... Будет большой удачей, если каждый второй из нас вернется раненым.

Так все и онемели. Ну, Семёныч, мать твою, видно ты немало выпил...

- Всем привести себя в порядок, - продолжает Семёныч. - Больные есть?

Я смотрю на пацанов. Многие сидят чуть прикрыв глаза, будто смотрят внутрь себя, перебирая как на базаре органы - так, печёнка... нет, печёнка не болит; селезёнка... и селезёнка работает; желчный пузырь... в порядке; сердечко... сердечко что-то пошаливает... да и в желудке беспокойно... Но, в общем, здоровья хоть отбавляй, будь оно неладно.

- Больных нет, - заключает Семёныч. - Командиры взводов могут по своему усмотрению изменить график заступления дневальных или заменить кого-то из дежурящих на крыше, на тот случай, если больные всё-таки обнаружатся. Вопросы есть?

- Мы что, одни будем штурмовать? - спрашивает Хасан.

- Нет, скорей всего, не одни. Точно ничего не знаю. Не докладываются генералы. Все детали на месте.

Пацаны ещё вяло пожевали. Что делать теперь? Курить, конечно.

- Ни хера себе «детали», - говорит Хасан. - Одно дело, мы одни побегим деревню брать, а другое...

- А другое дело, туда сначала ядерную бомбу кинут, - заканчивает его мысль Плохиш.

Хасан не отвечает. Все молчат.

- Ну, дела... - произносит кто-то.

Бычком по очереди сигареты в умывальнике, лениво бредем по ступеням в «почивальню».

«Ну что, сейчас начнешь думать, как тебе жить хочется? - ёрничаю я сам над собой, пытаюсь отогнать тоску, - ну и что? - отвечаю сам себе. - Хочется. Очень хочется».

«Всё, что было до сегодняшнего дня, - всё ерунда, - думаю я. - Ну, зачистки, подумаешь... А завтра кого-нибудь убьют, наверняка. Мама родная, может меня завтра не станет? Чего я делать-то буду?»

Доели ужин, бодрясь, допили початое и спать пошли.

Руслан Аружев повертелся, повертелся на кровати, поохал, и, вижу, к доктору пошёл, сейчас скажет, что ему таблетки нужны «от сердца».

Получил таблетки, пьёт, зубами стучит о стакан.

Переворачиваюсь на бок, лбом к стене прижимаюсь, тошно как мне.

«Завтра бой». Где-то я слышал эти слова. Ничего в них особенного никогда не находил. А каким они смыслом наполнены, неиссякаемым. Сколько сотен лет лежали так ребятишки на боку, слушая тяжелое уханье собственного сердца, помня о том, что завтра бой, - и в этих словах заключались все детские, беспорядочные, смешные воспоминания, старые, хвостатые мягкие игрушки с висящими на длинных нитях, оторванными в забавах, конечностями, майские утра, лай собаки, родительские руки, блаженство дышать и думать... Даша... - и всё это как бульдозером задавливало, задавливает, вминает во тьму то, что завтра.

«Может быть, лежать и думать - всю ночь? Жизнь будет длиннее на сколько там, на восемь часов, наверное, уже не на восемь, остается всё меньше и меньше, вот сейчас уже несколько секунд прошло, а пока думал, что прошло несколько секунд - ещё несколько, и пока говорил „ещё несколько“ - ещё... Может быть, что-то надо сделать? Может быть, выйти сейчас из „почивальни“, будто помочиться захотел, стукнуть дневального по плечу, дескать, сиди, браток, слушай рацию, схожу вот помочусь... На улицу выйти и направиться к воротам... На воротах у нас ночью поста нет. Выйти за ворота, делая вид, что не слышишь, как тебя с крыши кличут и пойти, пойти, потом побежать, через город, до самой Сунжи, до моста... Прячась в подъездах, таясь, подрагивая всем телом, кому я нужен - один, без оружия, беззащитный дезертир. Через мост переберусь, там нет блокпоста, и ночью пойду, побегу, может быть, заплачу от стыда, это ничего, от этого не умирают... Так до самой границы и добегу... А в Дагестане сяду на электричку, и буду ехать, пока меня контролеры не снимут с вагона. Тогда сяду на следующую электричку. А потом ещё на одну. И приеду в деревню деда Сергея, сниму там домишко какой-нибудь, заведу собаку... Устроюсь сторожем в... чего там осталось-то, колхоз или совхоз?... ни того, ни другого, вроде уже не осталось... устроюсь сторожить чего-нибудь... пугалом устроюсь на огород... буду в шляпе стоять, и в старом пальто, руки расставив... в зубы мне вставят милицейский свисток, буду свистеть, когда вороны слетятся... Приедет комиссия: „Нет ли у вас тут дезертира Ташевского?“ Надвину шляпу на глаза, никто не узнает... Да никто и не приедет... Так и буду всю жизнь стоять на огороде... Блаженство какое - дыши, думай, никто не мешает. Совсем не будет скучно. Кто вообще эту глупость придумал - что бывает скучно? Ерунда какая. Ничего нет скучнее, чем умирать. А жить так весело... Из сельсовета Даше позвоню, она приедет в деревню... Не узнает меня сначала. „Что это за

пугало?“ А это герой чеченской войны Егор Ташевский. Да уж, герой... Разнюнился... Занюнился... Вынюнился...»

Что поделаешь с этим человеком, а? Плохиш даже в это утро заорал, в четыре часа утра. Невроз, накопленный в невыспавшихся головушках бойцов, размышлявших и ворочавшихся до полночи, мог вылиться в крайние формы, проще говоря, Плохиша могли забить ногами, но он, прокричавшись, говорит:

- Не ссыте, пацаны. Я с вами пойду. Всю ночь думал, веришь Семёныч?

Я разлепляю глаза, и понимаю, что Плохиш врёт про свою бессонницу, рожа его - розовая и выпавшаяся.

- Решился, - продолжает Плохиш. - Первым пойду. Шашка наголо, и на коне. Конь! - Плохиш берет подушку и бьёт ей по голове Андрюху Суханова, - Слышишь меня? Я на тебе поеду, - здесь Плохиш обрывает себя, - Серьезно, Семёныч? Вон, сердечник жратву приготовит. - Плохиш кивает на Аружева, и я вижу лежащего будто при смерти Аружева с обмотанной полотенцем головой.

Я начинаю смеяться, и те, кто поднимает хмурые головы от подушек, тоже начинают смеяться, видя Аружева. Руслан, наконец, поняв, в чем дело, снимает полотенце и засовывает его под матрас. Вот Руслан-то уж точно не спал.

«Ну как, Егор, чувствуете себя?» - интересуюсь я мысленно.

«Нормально, - несколько грубо отвечаю своему второму „я“. - Не беспокойся...»

Спрыгиваю с кровати, накидываю тапки, беру мыльно-рыльные принадлежности, помещающиеся в волглom полетиленовом пакете и бреду к умывальникам неспешным шагом спокойного, даже вроде напевающего что-то молодого человека.

Возле умывальника извлекаю из пакета зубную щетку, она сырая, мылом замазанная, держать в руках ее неприятно. Рефлекторно провожу языком по зубам и тут же моё выпестованное сном настроение сходит на нет. Я вижу зубы того парня, одного из убитых, виденных мной возле аэропорта; оскаленные, мертвые, белые зубы, частоколом торчавшие из разодранной пасти. Сжимаю свою щетку, глядя на себя в зеркало.

Я даже боюсь открыть рот, ощерить зубы, потому что на лице моём, кажется, сразу проступят костяные щеки и замороженный подбородок того парня.

Длинно плюю кислой ночной слюной в рукомошник, и слюна виснет на моих почему-то холодных губах.

Меня оттискивают от умывальника, я, не осознавая, что делаю, выдавливаю из тюбика пасту, но не могу попасть на щетку и белая субстанция с резким неживым мятным запахом сочно падает на сырой и грязный пол.

Кое-как почистив зубы, тяну себя, хватаясь за железные прутья перилл на второй этаж.

До выхода ещё полчаса. Чего делать-то все это время?

«Может, завещание написать?» - пытаюсь я рассмешить самого себя. Если бы та моя часть, что так шутит, на мгновение отделилась от меня, я бы в рожу ей плюнул.

Заглядываю в «почивальню», и вижу, как пацаны собираются, суеются.

«Куда собираемся?» - хочется мне крикнуть. Вместо этого я бочком прохожу к своей кровати, вытаскиваю из рюкзака сигареты, и снова спускаюсь вниз, на ходу прикуривая.

Дохожу до умывальни, затягиваюсь, глядя на конец сигареты, мягко обвисающий пеплом.

«Нет, покурить я ещё успею, - думаю я, - Покурить время будет».

Бросаю непотушенную сигарету на пол, задумываюсь, куда идти.

Из туалета слышны громкие желудочного происхождения звуки.

«Жизнь», - думаю я.

Видю, как Плохиш с Аружевым несут наверх чан с дымящимся супом. Иду за ними, как собака, привлеченная запахом. С радостью замечаю, что я голоден.

«Вот что надо сделать, - думаю, - надо супчику покушать».

Поедаю суп, не замечая его вкус, глубоко и старательно жую большими ломтями откусываемый хлеб - мне кажется, что, двигая скулами, я не думаю, не думаю, не о чем не думаю.

Доев суп, я понимаю, что абсолютно не голоден, вообще не хотел есть, не знаю зачем ел.

Присаживаюсь на кровать Сани Скворца, скидываю тапки, вытаскиваю из-под кровати свои берцы, одеваю, старательно и крепко зашнуровывая. С самого начала командировки я сплю в одежде, поэтому одевать мне больше нечего, кроме разгрузки, но ее пока рано.

Покачиваюсь на кровати Саньки Скворца, смотрю на затылки парней, приступивших к поеданию макарон.

«Нет, макароны не хочу. Тушенку не хочу. Хочу чая. Чая нет. Хочу компот».

Иду с кружкой к Плохишу, он наливает мне компот. С бульканием

падает в стакан какой-то склизкий фрукт, похожий на выдавленный глаз. Молча выливаю содержимое стакана обратно в чан.

- Чего, стаканчик всполоснул? - совершенно спокойно спрашивает Плохиш. - Ничё- ничё, можешь ещё ручки там помыть.

- Мне без фруктов, - говорю я.

Залпом выпиваю компот, снова иду курить.

Привалившись спиной к мешкам с песком, наваленных у окон, курю в туалете. Все уже опорожнились, туалет пуст.

- Ташевский! - кричит Шея. - Построение! Отделение будешь свое собирать?

«Бля, у меня ещё и отделение. На хер бы оно мне нужно, это отделение», - думаю я, не двигаясь с места, и пытаюсь увидеть кончик уже докуриваемой сигареты.

Держа сигарету в зубах, я щелкаю по ней указательным пальцем, привычным движением, именуемым в народе «щелобан» - когда согнутый указательный палец мгновение придерживается большим, и затем с разгоном выскальзывает из-под него. Сигарета, к моему удивлению, не взлетает, сделав под потолком нужника красивый круг, а аккуратно бьёт мне в глаз ещё дымящимся концом.

Господи, как больно! Мамочки, я выжег себе глаз! Какой стыд! Что я скажу Семёнычу?

Натыкаясь на стены, я бегу к умывальнику, глаз щиплет, будто его посыпали перцем или солью и всё это залили водкой.

Врубаю воду, набираю в горсть и начинаю омыwać свой сощуренный в боли и ужасе зрак.

- Ташевский! - орёт Шея.

После шестой горсти воды, прижатой к лицу, и растекшейся по рукам, за рукав, и дальше к локтям, глаз начинает разлепляться.

«Видит!» - радуюсь я.

Ресницы будто обмазаны клеем.

«Я успел его закрыть, мой глазик», - понимаю я.

«Как же я успел его закрыть? А? Сигарета летела сотую долю секунды, а он успел закрыться! Что было бы, если бы она впилась мне прямо в глаз горящим кончиком? Ослеп бы?»

Ещё немного умываюсь, пальцами раздираю реснички, и спешу на второй этаж.

Радость, что я не ослеп, настолько сильна, что я бодро пихаю в бока идущих мне навстречу товарищей.

Накидываю разгрузку, надеваю на бритый череп вязаную шапочку,

цепляю на плечо автомат, с радостью чувствую его славную, привычную тяжесть. Несколько раз подпрыгиваю на месте: всё ли нормально лежит в разгрузке, не вываливаются ли гранаты из кармашков.

Пацаны почти все уже вышли, только Монах копошится в рюкзаке.

- Давай, Монах, не тяни, - говорю я грубовато. Он не реагирует.

Толкаясь, строимся на улице.

Смотрю на своё отделение, все на месте, стоят в два рядка, ломцы хмурые. Встаю в строй - мне оставили место.

Выходит Семёныч. Недовольно провожает взглядом неспешно выбредающего из школы Монаха, взгляд профессионального военного автоматически оценивает начищенность его ботинок, недовольство в глазах Семёныча сменяет безгливость, но и она тут же исчезает - не до этого...

Смотрю на Семёныча с надеждой. Мне кажется, что все так смотрят на командира. Семёныч, отец родной...

- Я не знаю, что там будет, что нас ждёт, - говорит он. - Надеюсь, нам дадут время, что бы мы определились, как будем работать.

Мне очень нравится это слово - «работать». Хорошо, что он так говорит.

- Первый зарок: поддерживать связь. Рации у всех заряжены? Не будет связи - всё. Слушайте рацию! Второй зарок: бойцы смотрят на командиров, командиры делают то, что говорю я. Никакого геройства, никаких «за мной, в атаку!» Третий зарок: не кучковаться. Толпой не так страшно, но стреляют всегда по толпе.

От слова «стреляют» по строю пробегает легкий озноб. Так всё-таки мы будем «работать», а по нам будут «стрелять».

- Кто первый обнаруживает огневые точки противника: немедленно связывайтесь со мной. Командиры взводов всегда должны знать, где у них гранатометчики и пулеметчики, чтобы координировать огонь.

Рядом с Семёнычем стоит начштаба, но он не пойдёт с нами. И хорошо, что не пойдёт, думаю я. У капитана Кашкина вид виноватый. Чуть поодаль стоит дядя Юра, взгляд его задумчив и бестолков одновременно - как у пингвина.

«Дядя Юра, - думаю с нежностью, - может быть, будешь меня вытаскивать с поля боя... Легко раненого. В мякоть ноги... „Кость не задета“... И - домой».

- Лопатки все взяли?... Через пятнадцать минут по трассе пойдёт колонна, мы загружаемся в грузовики, - заканчивает Семёныч.

Выходим за ворота. Оглядываюсь на школу. Из кухоньки выглядывает Аружев, но тут же прячется.

- Удачи, мужики! - слышу я в рации голос кого-то из пацанов, оставшихся на крыше. Выбредаем к трассе. Все курящие сразу закуривают. С минуту все стоят, выглядывают, не едет ли колонна.

Потом бойцы по одному начинают присаживаться на корточки, а кто и прямо на зад.

- Не расслабляйтесь! - говорит Семёныч, - Поглядывайте по сторонам. Костя! Сынок! Организуйте наблюдение...

«Чего тут может быть страшного? - думаю я о городе, который ещё недавно пугал меня всем своим видом, каждым домом, любым окном, - Такие тихие места...»

Докуриваю, и только сейчас вспоминаю, что я себе глаз едва не сжёг. Трогаю его аккуратными, не доверяющими пальцами, как слепой. Глаз на месте, не гноится, не косит, все в порядке, смотрит по сторонам, как настоящий; второй, здоровый за ним поспевает.

Ещё издалека слышим колонну. Все встают с мест, хотя машины ещё не появились.

- А танков нет... - говорит Язва задумчиво, определяя машины по звуку.

Мы ждем ещё и, наконец, видим колонну - три БТРа, три грузовичка.

У пацанов заметно портится настроение.

На первом БТРе, среди нескольких солдат, сидит Чёрная метка.

Колонна подъезжает, Чёрная метка спрыгивает с БТРа, отряхивается и, подождав пока водитель заглушит БТР, говорит:

- Здорово, мужики!

Бойцы молчат. Только Саня Скворец отвечает: «Здорово», и это его приветствие в наступившей тишине кажется особенно нелепым. Чёрная метка будто не заметив ничего, отводит Семёныча в сторону, говорит ему что-то.

- Блядь, где танки? - интересуется кто-то из парней.

Ему шепотом отвечают, где. Очень далеко...

- Итак. По данным разведки в селенье находится группа боевиков, от десяти до пятидесяти человек, - рассказывает всем Семёныч, вернувшись.

- Чего, пятьдесят на пятьдесят? - спрашивает Плохиш, но даже его весёлость исчезает на глазах; вопрос начинается, как «эх, бля, веселуха» а заканчивается, как «ну, пиздец».

- Будет сопровождение, - говорит Семёныч, но как бы не отвечая Плохишу, а продолжая фразу, - Два танка. Мы следом за танками входим в деревню. Ну и БТРы... - Семёныч оглядывает машины с солдатами. Солдатики смотрят на нас, ищут в нас, более взрослых, чистых, здоровых

успокоение.

- Живём! - говорит Шея, и весьма ощутимо хлопает Монаха по спине.
- Не дрейфь, архимандрит! - смеется он своей нелепой шутке.

Никто кроме Шеи особенно не радуется. Ну и что, что танки? В танках, наверное, не страшно, зато на каждого из нас хватит одной маленькой пульки.

«Неужели нельзя взять село только усилиями одних танков? - думаю я.
- Подъехать на танке и сказать: „Сдавайтесь!“ Чего они сделают, ироды, против танков? А, убегут... Мы для того, чтоб их ловить».

Я снова закуриваю, мне не хочется, но я курю, и во рту создается ощущение, будто пожевал ваты. И ещё, будто этой ватой обложили все внутренности головы - ярко-розовый мозг, мишуру артерий, - как ёлочные игрушки.

Дают команду грузиться.

Пацаны легко взлетают в крытые брезентом кузова.

«Какие у меня крепкие, жесткие мышцы», - думаю я с горечью, впрыгнув в кузов.

Меня немного лихорадит.

«Истерика», - определяю я мысленно.

Кажется, кто-то высасывает внутренности - паук с волосатыми ножками и бесцветными рыбьими глазами, постепенно наливающимися кровью. Моей кровью.

Трогается машина.

«Нас везут на убой».

Пытаюсь отвлечься на что-то, смотрю на бойцов, но взгляд никак не может закрепиться на чём-то. Небритые скулы, чей-то почему-то вспотевший лоб, ствол автомата, берцы с разлохматившимся охвостом шнура, потерявшего наконечник.

Мысленно я засовываю это охвостье в дырочку для шнурков в берцах - обычно из разлохматившегося шнура извлекается одна нитка, эту нитку нужно просунуть в дырочку, а с другой стороны эту ниточку прихватить двумя пальцами, и потянуть: так вытаскивается шнурок.

Начинают ныть ногти, мне кажется, я их давно не стриг, я даже ощущаю, как они отвратительно скользнут друг по другу, когда нитка выскочит из пальцев.

Меня начинает мутить. Закрываю глаза. Во рту блуждает язык, напуганный, дряблый, то складывающийся лодочкой, собирающей слюну, то снова распрямляющийся, выгибающийся, тыкающийся в изнанку щеки, где так и не зажила со вчерашнего дня ранка, когда я, вернувшийся с поста,

жадно ел, и хапнул зубами мягкую и болезненную кожу, мгновенно раскравянившуюся, и окрасившую своим вкусом хлеб, кильку в томатном соусе, только луку было ничего не страшно, его вкус даже кровь не перебивала, разве что щипало от него во рту, в том месте, где, как мне казалось, дряблыми лохмотками свисала закушенная щека.

«Странно, что вчера вечером я, когда мы поминали десантника, эту ранку не замечал. Наверное, сегодня язык ее растревожил...»

Наконец, и язык успокоился, и повалился лягушачьим брюшком на дно рта, ткнувшись кончиком в зубы, рефлекторно проехавшись напоследок по чёрному от курева налету на зубах.

Пытаюсь задремать. На брезентовое покрытие кузова голову не положишь - трясёт. Расставляю ноги, с силой упираюсь в ляжки локтями, кладу лоб на горизонтально поставленные ладони. Так тоже качает. И ещё сильнее тошнит.

Сажусь прямо, закрываю глаза. На десятую долю секунды открываю их, «фотографирую» пацанов, и разглядываю их лица, уже закрыв глаза. Успеваю рассмотреть только нескольких, - задумчивого Шею... бледного Кешу Фистова с эсвэдешкой между ног... с силой сжавшего скулы, будто сдерживающего злой мат Диму Астахова... Остальные расплываются. Ещё раз открывать глаза мне лень, тяжело, не хочется, не интересно - из перечисленных причин можно выбрать любую и каждая подойдет. Чтобы отвлечься, начинаю считать.

«Один, два, три, четыре...»

Мне почему-то кажется, что я считаю наших пацанов, отсчитываю их жизни, как на счётах, и поэтому я испуганно прекращаю этот счёт, и снова начинаю - уже с пятидесяти.

«Пятьдесят один, пятьдесят два, пятьдесят три, пятьдесят четыре...»

Язык лежит, как полудохлая лягва в иле.

«Сто сорок один, сто сорок два...»

На ухабах зрачки дергаются под глазами, как мелкие, глупые птички.

«Четыреста одиннадцать, четыреста двенадцать...»

Пахнет деревьями, ветками, землёй. Значит, выехали из города. Нет, не буду глаза открывать.

«Тысяча семьсот девяносто пять... Тысяча семьсот девяносто... Может быть, я не о том думаю? Может быть, нужно что-то решить с этой жизнью? А чего ты можешь решить? И кому ты скажешь свое решение? И кому оно интересно? Тысяча семьсот девяносто семь... или шесть? Или семь?»

Машины останавливаются. Открываю глаза. Минимум пейзажа - голая

земля, почему-то отсыревшая.

Кто-то из сидящих ближе к краю, высовывается из кузова.

- Чего там? Чего? - спрашивают сразу несколько человек.

Ввиду того, что ответа не следует, пацаны поднимают со скамеек отсиженные зады, толпясь, пытаются, согнувшись подойти к краю кузова, но Семёныч, вызвав по рации Шею и Столяра, и даже не дождавшись их ответов, приказывает всем оставаться на местах.

- Курить-то можно? - спрашивает кто-то у Шеи.

Шея молчит, я закуриваю; после первой затяжки сладостно жую - будто ем дым. Сладкий, вкусный дым, нравится... Опять нравится...

Шея смотрит на меня недовольно. Не только потому, что я закурил без разрешения, но потому что он дым не любит - некурящий у нас взводный. А машина, хоть и кузов - всё-таки помещение, надо честь знать. Делаю несколько жадных затяжек и бычкую сигаретку о пятку берца. Машина трогается. Подумав, куда бросить окурок, и не найдя места, бросаю его на пол. Некоторое время смотрю, как он катается по полу, измазываясь изящными бочками, мухоморного окраса пенечком фильтра.

На ухабах машины переваливаются, едва не заваливаясь на бок, пацаны с трудом держатся, кто за что может.

«...какая тягомотина, скорей бы уж...»

Смотрю на улицу, появляются деревья, не знаю их названия. Какие-то деревья, из тех, что растут только в Чечне. По крайней мере, в Святом Спасе они точно не растут. Впрочем, я и тех деревьев, что растут в Святом Спасе, по названиям не знаю. Береза, дуб, клён и всё. А, ещё рябина... «Ах, рябина кудря-я-вая...» И калина.

«Калина - это дерево?» - сомневаюсь я, но не успеваю разрешить свои сомнения.

Машины снова останавливаются, моторы глушатся; какое-то время гудит БТР, тот, что шёл первым, но вскоре и его глушат.

Все сидят молча.

Смотрю на улицу, вижу кабину машины, шедшей за нами, лицо шофера. Не могу понять его настроения, черты лица шофера расплываются.

Зато появляется лицо Семёныча - он подошел к борту нашего кузова, заглядывает внутрь, командирским чутьём, нюхом оценивая состояние коллектива.

- Разомните косточки, ребятки... - говорит Куцый, видимо, оценивший наше состояние, как нормальное.

Все с готовностью вскакивают с мест, и поэтому долго приходится

стоять, согнувшись, дожидаясь, пока ближние к краю, спрыгнут с машины; карманы разгрузки, отягощенные гранатами, тяжело свисают, мышцы спины и шея начинают ныть. Наконец, подходит моя очередь.

Спрыгиваю, не очень удачно, потому что приземляюсь на пятки («чему тебя учили?» - злюсь), боль бьёт в мозг, и теряется в нем.

Осматриваюсь по сторонам. Бродят люди, каждый о своём молится. Вижу нескольких мужиков в танкистской форме, а где танки? а вот стоят...

Холмистая местность, никаких признаков жилья. Быть может, за тем холмом?

- За тем холмом... - доносится до меня обрывок разговора.

Я оборачиваюсь. Стоят: Чёрная метка, Семёныч и танкист без знаков отличия, но сразу видно - служивый никак не меньше капитана. Вояка указывает на холм рукой.

Мне по-детски хочется их подслушать. Мне кажется, они говорят друг другу правду, какую нам постесняются сказать. Что-то вроде: «пятью-шестью бойцами придется пожертвовать, но что делать...»

Но я не двигаюсь с места. Даже отворачиваюсь от командиров.

Семёныч объявляет построение.

- Вот за тем холмом находится село... Совершаем марш-бросок. Рассредоточиваемся на холме, у взгорья, выше не забираемся, не светимся. Как только мы достигнем обозначенного рубежа, двинутся танки, в объезд холма. Дожидаемся, когда они выйдут напрямую, и делаем рывок следом. До села триста или чуть более метров.

«А почему сначала мы побежим, а танки потом? - думаю я, - Танки быстро пойдут, и мы за ними не поспеем - километра полтора жилы рвать, поэтому - сначала мы. - отвечаю сам себе, - Тем более, что они верх не полезут, а за ними бежать - круг давать... На полянке же наши чудомашины в полный дух попрут. И мы за ними. Остается только уповать, что бы танки не разбудили чичей, пока не выйдут на прямую. Если чичи, конечно, уже не проснулись. Наверняка, уже проснулись. И ещё вчера вечером пристрелялись к полянке. И мин там наставили. Бляха-муха, какой ужас... Может, разбежаться и вдариться головой о кузов? Потом скажу, что у меня было минутное помешательство...»

- В нескольких, предположительно четырёх ближних к поляне домах и амбарах располагаются боевики, - продолжает Семёныч, - Возможно, они есть и в селе, но в селе есть и мирные люди, поэтому...

- Поэтому просьба действовать аккуратно, - вставляет Чёрная метка.

- Щас, нахуй, «аккуратно», - передразнивает его шепотом Астахов, - надо было с вертушек разхерачить это село...

- Что мы, пехота? - буркает кто-то недовольно неподалёку от меня.

- А что, спецназ? - спрашивает Астахов.

- Да, спецназ.

- Хотел, чтобы солдатики село взяли, а ты там зачисткой занимался? - зло говорит Астахов.

- Разговорчики, - обрываю я парней.

- При подходе, если не начнётся бой, блокируем дворы, где предположительно находятся боевики, и дальше по обстоятельствам. Если бой начнётся раньше, окапываемся, подавляем огневые точки противника. Повторяю самое главное: поддерживать связь, командирам слушать рацию, бойцам слушать командиров - это раз. Идти за техникой, не кучкуемся - это два. Окапываться резво, чем глубже закопаемся, тем лучше.

- Может быть, лучше подкоп под село сделать? - говорит Язва тихо. - Вылезем как кроты из подпола... «А вот и мы!»

- Выходим через пять минут, - заканчивает Семёныч.

Пацаны вяло расходятся.

- Сергей! - говорит Язва, столкнувшись лицом к лицу с Монахом.

- Чего? - отзывается Монах неприязненно.

- Держи хуй бодрей, - зло отвечает Язва.

«Помолиться, что ли? - думаю. - Ни одной молитвы не знаю. Господи-господи-господи-господи...»

Подхожу к машине, прислоняюсь плечом к борту. Хочется лечь. Внутренности уже высосаны, пустое нутро ноет, где-то на дне живота как холодец подрагивает недоеденный пауком, отвалившийся откуда-то ломоть мяса.

«Моё тело, славное моё тело...» - я пытаюсь почувствовать свои руки, и сначала чувствую автомат, его холод, а потом, кажется, ещё более холодные свои пальцы; ещё я хочу почувствовать свою кожу, свои соски, и узнаю их, болезненные, сморщенные как у старика, потерявшись о тельник.

«...моё тело...» - ещё раз повторяю я.

Пытаюсь согнуть и разогнуть пальцы; окоченелые, они не поддаются.

- Егор, строй своих.

«Чей это голос? Кажется, взводный что-то сказал...»

Выискиваю взглядом Кизю... Монаха... Стёпку Черткова... Скворца... Андрюха-Конь стоит, расставив ноги, держит пулемет наперевес...

«Надо же, я ещё людей узнаю...» - удивляюсь я.

Открываю рот, хочу что-то сказать, но раздается нечленораздельный, сипло-писклявый звук. Оборачиваюсь по сторонам: не заметил, не услышал ли кто...

Говорю несколько слов шепотом: «Е-гор... из-за леса, из-за гор... Егор... едет дедушка Егор... сам на коровке... детки на лошадаках... внучки на козлятах... а жена на сивом мерине...». Нет, дар речи меня ещё не покинул.

- Строимся, братцы!

До того, как мы взберёмся на холм, нас, наверное, не убьют.

Построившись - повзводно и с интервалом, топчемся нерешительно.

- С Богом, родные... - говорит Семёныч по рации.

Хватаю ртом воздух, ноги уже бегут, легко бежать, кажется, толкнувшись сейчас и взлечу... Рассыпаемся по взгорью, интервал пять-семь метров. Бегу первым. Пацаны чуть поодаль. Слышится топот и мерная тряска чего-то железного в карманах.

В голове ни одной мысли. На голове шапочка, в руках автомат. Всё на месте.

Подъем становится круче, сбавляем ход.

Ещё десять шагов, ещё пятнадцать, ещё пять... Так бы и взбираться на этот холм бесконечно.

«Сейчас выползем на верх, а там - море... И в море - Дашенька», - неожиданно проносится в голове, как спугнутая птица, одна мысль.

- Стоп! - глухо говорит Шея.

Падаем на землю: ноги расставлены широко, левая рука, присогнутая в локте, выбрасывается вперед, в правой - ствол; при паденье основной упор приходится на левую руку.

Семёныч, Шея и Столяр уползают выше, у всех троих бинокли. Замечаю, что они ползут к нескольким людям, уже пришедшим и разместившимся на холме до нас.

«Разведка, смотри-ка ты...»

Позади раздается ровное, мощное гуденье.

«Танки».

Смотрю в упор на землю.

Рация подо мной.

«Не услышу».

Ложусь на бок.

- Выдвигаемся, - слышится тут же чей-то голос в динамике.

«Как быстро» - успеваю подумать я.

- Пошли! - говорит Язва.

Гуденье всё ближе.

Взлетаем на холм, инстинктивно пригибаясь.

Селенье подставляет солнцу бока ладных домишек. Кажется, селенье

повернулось к нам спиной. Много деревьев. Глаза елозят туда обратно, ищут те самые четыре дома, которые нам нужны...

«Где? Где? Где? Да вот же они!» - понимаю я.

Одновременно выезжают, взрыхляя землю два танка, выворачивают напрямую. А за ними и БТРы. Солдатики, приехавшие на броне, спрыгивают, спотыкаясь.

Мы стремятся к машинам, как цыплята к курицам.

Путаемся немного.

Шея орёт на Хасана:

- За бэтэром выстраивайтесь, за бэтэром!

«Ага, нам танк достался!» - думаю я.

Каждое отделение встает за своей машиной.

«А ведь не херово быть командиром, - думаю я, догоняя чуть сбавивший ход танк, и глядя на его изящный монументальный зад, подрагивающий в метрах пятнадцати от меня, - я ближе всех к этой машине...»

Выпрыгиваю из колеи танка, беру в беге немного в бок, пытаюсь разглядеть, как следует, село.

«Ну, на хер, - решаю для себя, - вдруг там мины... Приедут куда надо...»

Смотрю направо: Язва сосредоточенно бежит рядом. Его нагоняет Андрюха Суханов с пулеметом. Тяжело такую железяку тащить, наверное.

Почему не стреляют? Ну, стреляйте же... Мы по вам из танка шибанем. Узнаете тогда, как в Егорушку целить.

Оглядываюсь на пацанов. Лица сосредоточенные, мокрые. Здесь только понимаю, что и по лицу моему течёт пот, за воротник течёт, горячий...

Облизываю губы, касаясь языком щетины над губой, и чувствую солёный и пыльный вкус...

Близко, мы всё ближе. Концентрируется страх - в дыхании моём и дыхании бегущих рядом, в грохоте танка, в воздухе. Вот сейчас, вот сейчас разрежет напополам очередью воздух, и небо лопнет, и кто-нибудь перепрыгнет через меня и побежит дальше.

Ноги, кажется, могут согнуться в любую сторону, настолько они стали безвольными. Или я просто устал? Запыхался?

Я кошусь налево, пытаюсь увидеть Шею, где он? Сразу же вижу - он бежит с отделением Хасана, машет мне рукой, держа у лица рацию. Слышу его голос.

- Ваш дом - второй справа. Второй справа.

- Наш дом - второй справа! - говорю Язве. Он не реагирует.

«У него же у самого рация», - догадываюсь я.

Танк встаёт резко, словно упёрся в бетонную стену. Обегая его, вижу, что он поводит дулом, как напуганный таракан усом.

Слышу, что кто-то за спиной дышит уже со всхлипами, будто плачет. Не хочу смотреть, кто.

Дом весь расползается перед глазами, у меня никак не получается заглянуть в окно, присмотреться - не видно ли там что-нибудь. Чердак... Чердак закрыт. И забор, где тут калитка в этом отсыревшем частоколе? Перепрыгивать?

Андрюха-Конь, видимо, тоже не обнаруживший калитки, с разбегу бьёт в забор ногой, сразу разломив верхнюю поперечную рейку. Он хватает колья руками и вырывает их, он буквально рвет забор, как сделанный из картона. Затем проходит в ошетилившийся гвоздями и обломками дерева довольно большой пролом, следом, рванув зацепившийся за что-то рукав, вбегаю я, неотрывно и с ужасом смотря на окно, находящееся прямо напротив щели. Окно отражает солнце у нас за спиной.

В два прыжка долетаю до стены, встаю у окна. Язва пробегает ко входу в дом, который расположен с правого бока, я успел заметить вход - угадал его по приступкам.

Пацаны впрыгивают в пролом один за другим.

- Окружаем! - говорю я пацанам, и делаю при этом круговое движение указательным пальцем, имея в виду, что нужно окружить дом. - Гранаты приготовьте.

Разворачиваюсь к окну, пытаюсь заглянуть в него сбоку, и стукаюсь о стекло наискосок нацеленным в нутро дома стволом. Ничего не вижу, отсвечивает... Кусок грязной стены, в желтых, кажется, обоях... А вдруг там кто-то стоит посреди комнаты с базукой в руках, и целит в окно?

Вижу боковым зрением, как Женя Кизяков, чуть левей от пролома пытается перелезть через забор, неловко усаживается наверху и прыгает на ноги с двухметровой высоты. Прямо возле небольшого сарайчика.

- Стёпа! - зову я Черткова, - Давай к Кизе!

Стёпка подбегает к Кизе, тот что-то показывает ему знаками. Стёпка кивает головой. Кизя поднимает автомат, упирает приклад в плечо, наводит ствол прямо на закрытую дверь сарайчика. Стёпа, стоя сбоку, в правой вертикально держа автомат, левой рукой открывает дверь, тут же прячась за косяк. Кизя, не опуская автомат, заглядывает внутрь. Пинает во что-то ногой. Раздается звон.

Бухает взрыв в соседнем доме, там работает отделение Хасана. Где-то

раздаётся автоматная очередь. Сейчас меня стошнит. Сейчас я осыплюсь, развалюсь на мелкие куски. И язык, как жаба упрыгает в траву. И мозг свернется ежом и закатится в ямку.

«Чего делать? Дом окружили, что делать? Стрелять по нему? Хрен я полезу вовнутрь...»

С другой стороны окна встает Стёпка Чертков.

Бегу к Язве, нырнув под окном возле двери, встаю рядом с ним.

- Будем гранаты кидать? - спрашиваю у Язвы, глядя на его мокрый затылок - он держит на прицеле дверь.

Язва поворачивается ко мне на мгновение, кивает головой. Щеки у него совсем серые, но взгляд сосредоточенный, ясный.

«Своих угробим, что на той стороне дома, - думаю, - У Скворца есть рация».

Вызываю его.

- Будем гранаты кидать, аккуратней, понял? - говорю.

- Всё понял.

Семёныч запрашивает Шею, но я не вникаю в их переговоры, не вслушиваюсь.

Вытаскиваю РГН-ку. Выдергиваю чеку. Андрюха-Конь с размахом бьёт локтем в одностворчатое окно. Бросаю гранату в прощёлок; отдергивая руку, режусь о край стекла.

Перед взрывом успеваю подумать: «не взрывается», и испугаться, что гранату сейчас выбросят обратно, прямо нам под ноги.

Прыгающими руками достаю ещё одну РГН-ку. По пальцам обильно течет кровь. Слышу, что Язву вызывает Шея.

Бросаю ещё гранату, окропив стекло красным. Всю лапу себе распахал...

- Как дела? - интересуется взводный бодро, назвав позывной Язвы.

- Пока никак, - отвечает Язва.

- В доме есть кто?

- Ещё минуту... - неопределенно говорит Язва.

Только сейчас замечаю, что на двери висит замок.

- Там нет, наверное, никого, - говорю Язве, кивая на замок.

- Отойдём, - говорит он.

Метров с десяти даем три длинных очереди по двери, метаясь по замку. Подходит, не таясь окон, Кизя, тоже даёт очередь по двери.

Скворец кличет меня по рации, волнуется, видимо.

- Все хорошо, Сань. Дверь открываем.

Изуродованный замок отлетел. Толкаем дверь, прячась за косяки. Она

мирно и долго скрипит.

Заглядываю внутрь - там оседает пыль. Держа палец на спусковом крючке, вхожу, поводя автоматом по углам...

Прихожая, ведро воды стоит на столике. Из простреленного ведра бьют два фонтанчика воды, растекаясь на столе, покрытом белой клеёнкой. На полу тряпье, валяется кружка. Вхожу в комнату - она пуста, обои висят лохмотьями. Весь потолок выщерблен осколками. По полу, вдоль стен лежат матрасы, усыпанные стеклом и извёсткой. На полу валяется несколько использованных шприцов, кусок кровавого бинта.

- Они же тут были... - говорю, хотя это и так понятно Язве, Кизе и Андриюхе-Коню, стоящим рядом.

- Кололись, что ли? - ни к кому не обращаясь, говорит Кизя.

Выглядываю в окошко, Саня, прижавшийся к стене, дергается от неожиданности. Его автомат нацелен мне прямо в рот. Аккуратно отодвигаю ствол двумя пальцами. Улыбаюсь, хочу что-то сказать, но никак не придумая, что.

«Как хорошо, что никого здесь нет...» - думаю, стряхивая и слизывая обильную кровь с порезанной руки. С неприязнью плюю красным на землю.

Язву снова вызывает Шея.

- Пусто... - отвечает Язва, - Видимо, недавно ушли.

- Выдвигаемся в селенье, - говорит Шея.

«Не может быть, что там кто-то есть...» - успокаиваю сам себя, глядя на лежащие чуть в отдалении дома.

Извлекаю из кармана бинт, - постоянно ношу его в кармане, используя вместо носового платка, обматываю руку.

- Сань, завяжи, - прошу подошедшего Скворца.

Саня по-девичьи аккуратно завязывает бинт.

«Какой он всё-таки славный парень», - думаю с нежностью.

Смотрю на часы - только семь утра, с копейками... Весь день впереди.

Я уверен, что ничего больше не произойдет. Ничего. Всё будет хорошо.

Подходят отделение Хасана, все пружинистые, бодрые. За ними, одноцветные, маячат солдатики. К нам топают Шея.

- В селенье две параллельные улицы, - говорит он. Семёныч со взводом Столяра пошел по одной... Мы - пойдем туда... - Шея указывает пальцем на ряд домов, - Аккуратно стучим, никому не хамим, спрашиваем, нет ли случайно у вас в доме боевиков. Здесь в обуви не принято в дом входить, разуваться мы, конечно, не будем, но ножки о половики надо

вытирать.

- Подмываться не надо возле каждого дома? - спрашивает Астахов.

- Чего у тебя с рукой? - интересуется Шея, не отвечая.

- Обрезался, - говорю я, глядя, как неприязненно смотрит Монах на Астахова.

- Да, - с того края села, оказывается, вояки стоят, - говорит Шея. - Увидите людей в форме - не пальните случайно.

- Чего ж они, как херово блокировали село? - спрашивает Язва; тон у него такой, что, кажется, ответ ему как бы и не интересен. Может быть, он подсознательно тоже рад, что заблокировали херово. А то бы... Понятно, что.

Разделяемся на две группы. Шея с Хасаном идут по левой стороне, мы - по правой.

В первом же доме никто не открывает.

- Чего делать-то? - спрашивает Шею Язва.

- Эдак у нас гранат не хватит... - говорит Язва иронично, оглядывая длинную улицу, - ожидая ответа.

- По своему усмотрению, - отвечает Шея по рации.

- Да на хер он нам нужен, - решает Язва, подумав. И в подтвержденья своих слов, несильно и презрительно пинает ногой в дверь. - Пошли.

Выходим со двора. Скворец аккуратно закрывает за собой калитку.

Где-то в другой стороне деревни бьёт очередь.

- А хорошо живут... - говорит Кизя, оглядываясь на дом, не обращая внимания на выстрелы.

У следующей калитки Язва останавливается, глядя на землю.

- Сапогами натоптали, - говорит он.

- Кто? - спрашивает Скворец.

Язва молчит, глядя по сторонам. Обегаем с двух сторон белый кирпичный дом с красным фасадом. Язва с Кизей остаются у двери. Я, Стёпка Чертков, Андрюха-Конь, Монах, Скворец идём вдоль фронтона.

- Открыто, - говорит Андрюха-Конь, кивая головой на окно.

Не дойдя двух шагов до белых распахнутых створок, мы слышим неожиданный и резкий шум в комнате, где-то возле окна. Одновременно с другой стороны дома раздаётся звон, кто-то кричит. Застываю на месте, не зная, что предпринять.

Андрюха-Конь делает шаг к раскрытому окну, хватает высунувшийся из окна ствол автомата правой рукой, автомат даёт очередь и пули брызжут по каменистой дорожке; запустив левую руку, Андрюха подцепляет кого-то в окне, и, рванув, вытаскивает наружу. Бородатый мужчина в кожаной

куртке, ухваченный Андрюхиной лапой за шиворот, вертится на земле, цепляясь за вырываемый из его рук «Калаш».

«Боевик!» - понимаю я, и смотрю на него так, будто увидел живого чёрта.

Андрюха-Конь вырывает из его рук автомат, и несколько раз бьёт прикладом этого же автомата в лоб, в нос, в раскрываемый, сразу плеснувший красным, рот чеченца. Стёпа Чертков помогает ногами, - слишком часто, и поэтому, не очень сильно нанося удары в бок лежащему.

Опасливо заглядываю внутрь дома, вижу ковры на полу и на стенах, противоположное, разбитое окно. Мелькает платье - кто-то выбегает из дома, туда, где стоят Язва и Кизя. Бегу к дверям, предупредить.

Кизя, раздувая бледные, тонко выточенные ноздри, уже держит за грудки, пытаюсь остановить, женщину, чеченку, дородную бабу - это она была в доме. Кизя коротко бьёт ее лбом в переносицу, она, охнув, обвисает у него в руках.

- Тяжёлая... - говорит Кизя, не в силах удержать женщину, и потихоньку опускает ее, мягкую, будто бескостную, на приступки.

- В дом затащите, - говорит Язва.

Мы берём женщину под подмышки - они теплые, чувствую я; пытаемся стронуть, но не можем. Перехватываемся, взявшись за пухлые запястья женщины, и затаскиваем ее в прихожку.

- Сука, щеку распахала... - говорит Кизя, трогая щеку на которой разбухают четыре глубоких царапины.

Заходим в дом, открываем шкафы, Кизя даже отодвигает незаправленный, с нечистым бельём диван.

Андрюха-Конь, положив мощные лапы на подоконник, смотрит в дом, на нас. Лицо в розовых пятнах от злости и возбуждения.

Выходим на улицу, чеченец лежит скрючившись, в сознании. Смотрит безумными глазами, рот открыт, изо рта, из носа, со лба течет кровь. Голову ему трудно держать, он падает виском на землю, прикрывает глаза.

- Чего, потащим его с собой? - спрашивает у Язвы Стёпка, стоящий рядом с чеченцем. Язва отрицательно качает головой.

Кизя щелкает предохранителем.

«На одиночные поставил», - понимаю я, услышав только один щелчок.

Кизя кивком головы просит Стёпу отойти. Стёпа тихо, чуть не на цыпочках отходит от чеченца, словно боясь его разбудить. Кизя проведя ладонью по изгибу сорокапятизарядного рожка, медленно переносит руку на цевье, и сразу нажимает на спусковой крючок. Пуля попадает в грудь лежащего, - он, дёрнувшись, громко хэкает, будто ему в горло попала кость

и он хочет ее выплюнуть. Кизя стреляет ещё раз; из шеи чеченца, подрагивая, дважды плескает красный фонтанчик.

У Кизи до синевы сжаты, словно алюминиевые, покрытые тонкой кожей, скулы.

Ещё несколько пуль Кизя вгоняет в голый, выдувающий розовые пузырьки, живот все слабее дергающегося человека. После шестого или седьмого выстрела чеченец слабо засучил ногами, словно желая помочиться, и затих.

Новые пули входили в него, обмякшего и неподвижного.

Только голова, после нескольких выстрелов, начала дробиться, колоться, разваливаться, утерьяла очертания, завис на нитке глаз, потом отлетел куда-то с белыми костными брызгами, тошнотворными ляпками разбрызгался мозг - словно пьяный хозяин в дурном запале ударил кулаком по блюду с холодцом...

Отворачиваюсь.

Хлопаю по карманам в поисках сигарет. Прикуриваю, глядя на большой палец с белой лункой на ровно постриженном ногте. Выстрелы следуют друг за другом ритмично и непрерывно.

- Сорок пять, - констатирует Кизя. Я слышу, как он снимает пустой рожок.

Поднимаю глаза. Держась за стену, стоит женщина, чеченка, глядя на убитого. По лицу ее течет кровь. Глаза ее спокойны и пусты.

Иду со двора, молча. За мной Кизя, Стёпа. Скворец обходит женщину, словно она горячая, раскалённая. Язва медлит. Он подходит к женщине и, наклонив голову, смотрит ей в глаза. Держу калитку открытой, глядя на них. Язва поправляет автомат на плече и выходит.

Заворачиваем в следующий двор, равнодушно расходимся - каждый на своё место около дома. Язва стучится. Открывает женщина.

- Никого нет, никого, - говорит она. - Все недавно ушли, в окраинных домах были... утром убежали...

- Куда?

- Я не знаю. Откуда знать.

- Тут вот один не убежал... - говорит Язва задумчиво.

- Он ненормальный был. Душевнобольной, - отвечает тетка.

Язва, Андрюха-Конь и Кизя заходят в дом.

Слышу их, заглушаемое стенами, потопывание в доме. Прикуриваю ещё одну.

Скрипит входная дверь. Одновременно падает пепел с сигареты.

За домом начинается длинный забор - дощатый, крепкий, в два метра

высотой. За забором лежит пустырь, на пустыре - разрушенные строения, в которых спрятаться невозможно - просматриваются насквозь, да и стены еле держатся, окривели совсем. Может быть, забор нагородили, чтобы строительство какое-нибудь начать, может ещё зачем.

Идём, и в голове каждого, кажется мне, копошатся беспомощные мысли, которые привести в стройность и ясность никто из нас не может.

По левую руку, вдалеке, за домами виднеется мечеть, неестественно чистая на солнце.

Андрюха-Конь вытащил откуда-то семечки, шелухает, плюется. Все, кроме Монаха, разом тянутся к нему - суют сухие, крепкие, красивые ладони. Процедура раздачи подсолнечного зерна нас объединила.

- Ты откуда семечки-то взял? - интересуюсь я, с облегчением разрушая тишину и наше хмурое сопенье.

- А из дома привез, - отвечает Андрюха-Конь спокойно, и у меня мелькает сомнение, что он и не думал самокопаньем заниматься, ну убили чечена и убили, чего на него смотреть надо было? Говорят, их из ГУОШа отпускают, пленённых на зачистках. То ли чины наши кормятся на этом, то ли приказ такой бездарный спущен.

- Андрюх, ты как автомат-то заметил? - спрашивает Стёпка Чертков. - Ловко ты его... - не дожидаясь ответа, засмеялся Стёпа, - за шиворот...

Я тоже улыбаюсь, и Скворец, вижу краем глаза, губы кривит довольно. Монах смотрит в сторону. Тонкий рот Кизи, словно с силой сделанный резцом в листе алюминия, сжат. На лице, на скулах, разгоняя сплошную бледную синеву, иногда появляются розовые пятна.

- Не толпитесь... - говорит Язва всем нам, сгрудившимся и бодро плюющим жареной, солоноватой шелухой.

Я не жую семечки по одной, - довольно бестолковое это занятие, - а собираю их в ложбинке у щеки. Язык, совсем было отупевший, пока ехали сюда, теперь ловко выполняет свою работу, распределяя, хоть и с ошибками порой, шелуху в одну сторону, а съестное в другую. Я всё оттягиваю тот момент, когда можно будет начать жевать, сладостно давя семена, числом, может, около тридцати - больше не получится, а меньше не хочется.

«Ну вот, последнюю...» - думаю я, совсем уже довольным взглядом озирая местность, проём в заборе, недалекий уже домик, а за ним ещё один, слышу лай собаки; приостанавливаюсь, потому что Андрюха мочится на забор, и, поводя бедрами, рисует черные, мокрые, дымящиеся, и тут же оползающие вниз вензеля на досках. Пересыпаю из правой ладони в левую зерна, выбираю попузатей одну, и от неожиданности громко выплевываю все, собранные в трудах, семечки, и они обвисают у меня на бороде - кто-то

из-за ограды, по-над головами нашими даёт длинную, в пол рожка очередь. Андрюха, как ошпаренный, отпрыгнул от забора, Стёпка присел на корточки, Язва и Кизя мгновенно вскинув автоматы дают две кривые очереди по забору, в местах прострела сразу оцетинившегося раздолбанным щепьём.

- Ебашь чеченов, Сидорчук! Рядовой Сидорчук! Я сказал, ебашь! - орёт кто-то за оградой дурным голосом, напрочь лишенным акцента.

- Там наши! - кричу я, останавливая и Язvu и Кизю, и Андрюху-Коня, всадившего короткую очередь в забор из ПКМа.

- Эй, уроды! - ору я изо всех сил тем, кто стрелял в нас. - Охуели совсем, по своим лупите!

Ещё ожидая выстрелов, я бегу к проему в заборе, пригнувшись, заглядываю туда, и вижу низкорослого, хилого солдатика, и бугая-прапора. Солдатик держится двумя руками за цевьё автомата прапора, и увещевает его:

- Не стреля! това пра!... Не стреляйте! Я говорю вам, там спецназовцы идут!

- Какие на хуй, спецназовцы! - ревьёт, пытаюсь высвободить автомат, прапор; он давно бы вырвал у солдатика свой ствол, если б не был дурно пьян, - по его широко расставленным ногам и полубезумному взору я определяю его непотребное состояние. Кажется, что это не солдатик держит ствол, а прапор держится за автомат, чтобы не упасть.

- Вот он! - увидев меня, прапор жмет на спусковой крючок. Одновременно солдатик с силой давит на автомат, и пули бьют в землю.

Дергаюсь, хочется попятиться задом, но я чувствую, что кто-то из пацанов уже стоит позади меня, подталкивает коленом. Выскакиваю, делаю отличное балетное па, потому что очередь проходит прямо у меня под ногами.

- Уйди, бля! - орёт прапор, и с силой, толкающим бабьим движением бьёт солдатика в лицо. Тот отпускает автомат, но я уже близко. Отработанным механическим движением, предварительно уйдя с линии огня, я бью ногой прапору под колено, одновременно прихватив и чуть потянув на себя правой рукой его ствол. Прапор ёкает, даже пьяным мозгом своим расчихав боль в коленной чашечке, я дёргаю ствол на себя, прапор подаётся вперед, почти падает на меня, но сразу же получает прямой удар в скулу моей левой раскрытой ладонью, которую я тут же переношу на приклад его автомата, и уже двумя руками легко вырываю ствол. Прапор пытается нанести удар мне в лицо, но тут же получает прикладом своего «Калаша» в морду и падает.

- Вы чего, мужики? - спрашивает он уже с земли, трогая висок и глядя на замазанную красной мокротой ладонь. Вместо ответа Андрюха-Конь наносит ему удар под ребра ногой.

- Ребят, мы свои, не убивайте его... - просит солдатик, боязливо трогая Суханова; малый, кажется, по пояс Андрюхе, ну может быть, чуть повыше, чем по пояс, но весит явно килограмм на сто меньше.

Прапор тянется рукой к поясу, я вижу на поясе красивые ножны, - «здесь, поди, резак надыбал», - думаю я, делая шаг к прапору, совершенно не боясь его - что может сделать эта пьянь! Андрюха-Конь, опережая меня, наступает прапору на руку и, нагнувшись, легко, как у ребёнка, отнимает извлеченный из ножен резак, и какое-то время рассматривает его, не убирая ноги с длани прапора, шевелящей в грязи корявыми пальцами. Прапор неожиданно резво поворачивается на бок, и вцепляется зубами в лодыжку Андрюхи.

- Ах, ты... - ругается Суханов, рванувшись, да так и оставив в зубах прапора кусок комка. Андрюха со злобой бьёт ногой в лицо лежащему, и я удивляюсь, как голова прапора не взлетает подобно мячу, и не делает красивый круг, помахивая ушами на солнышке...

- Хорош, Андрей, - урезонивает Коня Язва, - Убьёшь...

Прапор ещё жив, и, раскрывая склеенные кровавыми соплями, в которых белеет зубное крошево, скулы, мычит.

- Прокусил, гнида! - злится Андрюха-Конь, - Может, он бешеный? Эй, как тебя, - зовёт он солдатика, - прапор не бешеный?

- Не понял, - отзывается солдатик пугливо.

- Ну, пену не пускает? Не воеет по ночам?

- Нет, вроде...

- Дай-ка ствол, - просит Язва у меня автомат прапора.

Язва отсоединяет рожок у автомата и кладёт его в карман. Передёргивает затвор, и пуля, сделав сальто, падает на землю. Стёпка ее подбирает.

Язва снимает крышку ствольной коробки, и как следует замахнувшись, кидает ее куда-то за ограду. Следом летит возвратная пружина. Куда-то в противоположную сторону улетает затворная рама, газовая трубка и цевьё.

Пламегаситель даётся тяжело.

- Грязный какой ствол, а... - ворчит Язва.

Пламегаситель улетает в развалины.

- Ну-ка, Андрей, ты запусти... - просит Язва Коня, подавая ему голый остов автомата. Андрюха, как сказочный молодец размахивается; автомат летит неестественно далеко и падает куда-то в кусты за развалинами.

- Ну, пойдем? - говорит Язва таким тоном, будто мы только что сделали что-то очень полезное.

- Мужики, а как я? - спрашивает солдатик.

- Иди и доложи командиру о произошедшем... - говорит Язва строго и серьёзно, хотя я чувствую, что он дурит, и вообще очень доволен.

Благодушной оравой выбредаем на улицу селенья. Впереди маячат наши плечистые товарищи. Гудит БТР.

Открываю лоб сентябрьскому чеченскому ветерку. Кажется, нам опять повезло...

Когда мы были вместе, Даша спасала меня от моих ужасов. Но, вернувшись к себе домой, - оставшись в одиночестве, я не справлялся с припадками.

Валялся дома, смотрел в потолок. Вскикивал, клал себе на шею пуговую гантель, начинал отжиматься. Отжимался и кричал:

- Рраз! Два! Три! Ррраз! Два! Три!

Потом снова лежал на диване, - руки на сгибах локтей алели жилками, - отжимаясь, я рвал капилляры.

Потом выпивал стакан водки и снова лежал.

Часы прокручивались медленно, как заводимый ручкой мотор заledenевшего автомобиля. Закрывал глаза, и картинки ее прошлого разлетались колодой карт брошенных в пропасть. Мелькали бесконечные вальты... и ещё: ножки, грудки, губы, затылок, подрагивающие лопатки. Физиологические бредни оккупировали мозг.

Я наливал себе холодную ванну и ложился в нее. Ходил по квартире, оставляя холодные следы, ёжился, пьяно косился на зеркало, отстранёно наблюдая, как страдает мой лирический герой. Одевался, снова ехал к Даше. Трезвел в дороге. Бормотал, кривил губы и крутил головой в электричке, выходил на перроне вокзала Святого Спаса, бежал к трамваю.

Подходя к ее дому, я пытался посмотреть вокруг глазами моей Даши, возвращающейся домой, - тогда, в один из дней вне и до меня. В голубых джинсиках, только что выебанная, ленивая, между ножек уже подтекает сперма, трусики мокрые и джинсики в паху приторно пахнут.

Что она думала тогда? Улыбалась? Шла, как ни в чем не бывало? Хотела скорее замочить, посыпав голубым порошком, нежно-белый комочек измазанной ткани, принять ванну и лечь спать?

Подходя к дверям ее квартиры, я никогда сразу не звонил. Ящик в углу лестничной площадки, припасенная в недрах ящика для себя, задёрганного, сигарета. Затяжки глубокие, как сон солдата, нервные пальцы исследуют

поверхность небритой щеки.

Ее мужчины не были призраками, - они наполняли пространство вокруг меня. Они жили в нашем, завоёванном нашей любовью, городе. Они ездили на тех же трамваях, переходили те же улицы. Гуляя с Дашей, мы проходили мимо их домов. Домов, где бывала она; позволяла себя целовать, трогать, сжимать, жать, мять, рвать... «Тихо-тихо», - говорила она им, возбужденным. Позволяла себя раздевать: свиторок через голову, с трехсекундным отрывом от губ; джинсики сползали с трудом, - запрокинувшись на спину, подняв вверх ножки, она любезно предоставляла партнеру право и возможность снять их с нее; трусики, невесомые, падали возле дивана; со второй или с третьей попытки расстегивался лифчик, выпадали огромные, ослепительные грудки, белые как мякоть дыни, с потемневшими от возбуждения сосками, похожими на полюса спелого арбуза.

Эти мужчины, они были всюду. Я чувствовал их запах, ощущал их присутствие. Их было слишком много, для того, чтобы нам всем хватило места в одном городе.

Как я узнал об их существовании? От неё.

Как-то мы зашли в кафе, я заказал себе пива, она заказала себе несколько блюд, названия которых я не знал; пока я курил и разглядывал себя в зеркалах, время от времени довольно косясь на ее строгое лицо, принесли заказ. Осторожно касаясь вилочкой белого мясца сладкого морского зверька, она заявила с присущей ей легкостью:

- Знаешь, я сегодня сосчитала всех... - здесь она сбавила скорость разогнавшейся было фразы, - своих... - она ещё чуть-чуть помедлила, - мужчин. Если у тебя такое же количество женщин, значит, у нас с тобой начался новый этап.

- Ну и сколько их у тебя... получилось? - хрипло, как водится в таких случаях у мужчин, спросил я.

- Угадай.

- Пятнадцать, - быстро ответил я, внутренне решив, что сразу назову оптимальную цифру. Всё-таки ей было едва за двадцать лет, она совсем недавно окончила советскую, исповедующую пуританство и строгие нравы, школу.

Она отрицательно покрутила головой.

- Меньше? Больше? - спросил я нервно.

- Больше, - легко ответила она.

- Двадцать, - с трудом выдавил я.

- Больше.

- Тридцать, - уже раздраженно накинул я десятку.
- Меньше.
- Двадцать пять.
- Двадцать шесть, - отдельно сказала она и улыбнулась. - А у тебя?
- А у меня ты первая, - сказал я, помолчав. Так и не решив ещё, что сказать, - правду, неправду?
- Врёшь, - ответила Даша и зрачки ее на секунду расширились.
- В любом случае, нового этапа не будет.

Потом она говорила о чем-то другом, а я думал только о том... да нет, ничего я не думал. Что тут думать. Сидел и повторял: «Двадцать шесть... Двадцать шесть». Потом шёл по улице и снова повторял эту цифру. «Двадцать шесть бакинских комиссаров...» - выплыло у меня в голове. «Джапаридзе, иль я ослеп? Посмотри, у рабочих хлеб!» - декламировал я по памяти про себя.

- Чего такое с тобой? - спросила она. Даша не любила негативных эмоций, замкнутости, мутных настроений...

Она совершенно искренне не поняла, в чём дело.

Потом мы опять встречались, я хочу сказать, что сказанное ей не убило меня наповал; возможно, мы встречались ещё несколько недель, и я вёл себя вполне спокойно.

До тех пор, пока однажды, впад по обыкновению после двухчасового постижения возможностей наших молодых тел в лиричное настроение, она не сказала:

- Мужские половые органы делятся на несколько типов. Тип первый...

- Прекрати, поняла? - едва не закричал я.

Она улыбнулась и погладила меня:

- Прости, Егорушка. Правда, я не хотела.

Спустя дня три, я не выдержал и задал ей какой-то пошлый вопрос, множество глупых мужских вопросов: «кто был первым» или «кто последним» или «кто был в середине», и «в какой последовательности» и «как с ними со всеми было» и, наконец, «не знаю ли я кого-нибудь из... ее списка».

Она посмотрела на меня удивленно, Даша не любила, когда ее дёргали, когда ее домогались, однако, я же говорил, она любила, когда - кровоточит. Это был знак качества для нее. Признак истинности, всамделешности чувства. Поэтому по ее молчанию, я догадался, что кого-то знаю, - не смотря на то, что общих знакомых у нас практически не было.

Я задал последний вопрос ещё раз. Как бы нехотя и как бы смущаясь, она назвала мне фамилию молодого преподавателя философии в институте,

где мы, изредка появляясь, проходили курс неких замечательных наук.

- Я с ним училась на одном курсе, - пояснила она, - пока я в академах была, он преподавателем стал, - засмеялась она, и посчитала своим долгом добавить, - это было давно уже. Мне тогда было 17 лет.

Преподаватель был крепким, чуть пухловатым парнем с уверенными нагловатыми глазами; он обладал совершенно необъятной эрудицией, он был настолько богат знаниями, что лекции вёл плохо. Стоило ему оступиться в рассказе в причастный оборот («...считавшийся до тех пор...» или «встречавшийся ранее...»), он уходил от первоначальной темы и возвращался к ней, хорошо, если спустя полчаса. Отличницы раздраженно откладывали авторучки, не в силах соблюсти в своих записях последовательность повествования; что касается редких учащихся мужеского пола, - они снисходительно (а на самом деле, униженно) улыбались.

Я почувствовал, что иду по следу, и спросил у Даши:

- Где? Где у вас это происходило?

Она, с удивительной готовностью, с озорной улыбкой, будто рассказывая о том, как она с товарищем по детсаду мороженое своровала, ответила:

- Прямо в институте. После лекций. Там помнишь, на втором этаже, напротив аудиторий, есть маленький коридорчик, ведущий в бывшую курилку, которую сейчас закрыли... Вот там, в этом коридорчике... Нас тогда декан заметил, - развоспоминалась Даша, - мимо проходил и увидел...

- Он узнал тебя? - спросил я, не понимая о чем я, собственно. Речевой аппарат не плохо справлялся с вопросами без особого моего участия.

- Не знаю. Его узнал. Мы бочком стояли, я лицом к стеночке... Декан голову опустил и шагу надбавил, - засмеялась Даша.

Мы допили чай, - наш разговор шел за привычным чаем. (Из спальни мы переключивались на кухню, и, думается, большую половину проведенного вместе времени проводили в этих состояниях, - либо с вариациями лежа, либо сидя). Итак, мы допили чай, и даже поговорили о чем-то ещё. Я проявил редкое хладнокровие.

- Будем собираться в институт? - поинтересовался я равнодушно.

- Егорушка, я, наверное, не пойду, устала...

Честно говоря, я обрадовался. Собрался за три минуты. «Рано придёшь, Егор!» Не слыша ее: «Ага»... Выскочил на улицу. Каждые пятнадцать шагов переходя на истеричный бег, я добрался до остановки. В маршрутке я смотрел в лобовое стекло, будто притягивая взглядом, магнитя

институт.

Я махнул студенческими корочками перед лицом вахрушки, и, услышав ее недовольный крик, в полном гнетущем бешенстве вернулся к ней, - ткнул бабуле в лицо свой студенческий, чтобы она разглядела его и сверила юную шестнадцатилетнюю со следами полового созревания физиономию с нынешним моим лицом, - серым, небритым (в области скул и бритым в области черепа, - помните, да?)

Перепрыгивая через две (неудачно стараясь перепрыгнуть через три) ступени, я добежал до второго этажа, и повернул в тот самый коридорчик. Я стоял там, - здесь стоит написать «тупо стоял», и что удивительно, только так и можно написать, потому что, как ещё в этом закутке четыре года спустя (отличное слово! очень к месту!) стоять, как смотреть, о чем думать?

Я поозирался немного, посмотрел на пол, будто ожидая увидеть густые капли, («...а как тут могло бы капнуть? - подумал я, - они же не раздевались тут донага! Значит, она стояла, приспустив джинсики и трусики до колен. И если капнуло - сразу после - из нее, то упало в трусики, в джинсики... Упало, пока она натягивала свои одежды, чуть-чуть вертя попкой; а он в это время застегивал ширинку, всё-таки мазнув членом, отекившим спермой, по черным брюкам, - он всегда ходит в брюках»). Стыдливо оглянувшись, - нет ли кого рядом, - я подошёл в тот угол, где как мне казалось, всё и должно было происходить. Прижался щекой к стене, посмотрел вбок, - на коридор, где тогда прошёл декан. Коридор видно хорошо. Узнал ее декан? Не узнал? Какая разница...

Я посидел немного на подоконнике. Потом посмотрел в окно. Потом пошел на первый этаж, в туалет. Выворачивая из-за угла к туалету, я увидел преподавателя философии.

Стараясь не топтать, я побежал к туалету. Ни о чём не думая, просто побежал. Когда я вошёл, он ещё мочился, - я услышал. Он заканчивал мочиться и, наверное, тряс членом, сбрасывая последние капли. Дверь в его кабинку была не закрыта на защелку, чуть-чуть отходила от косяка. Он не посчитал нужным закрыться. По ботинкам я увидел, что он разворачивается.

«Нужно скорей!» - я сделал шаг и рванул его дверку на себя.

Я даже не знаю, какое у него было выражение лица, кажется, он что-то сказал, вроде: «Вы что, не видите, что занято?», - я смотрел на его член, который он ещё не успел упрятать. Я увидел, - член был небольшой, пухлый, мышинного цвета, с прилипшим на головку волосом. Это продолжалось меньше секунды. Я извинился и зашёл в другую кабинку.

- База? - серьезно спрашивает Плохиш, небрежно держа у пухлого лица рацию, вызывая по запасному каналу Руслана Аружева, застывшего дневальным. Ветер шевелит блондинистые, будто переспелые волосы Плохиша. Он ритмично и нечасто, в ритме здорового сердца, бьет мякотью сжатого кулака по крыше.

- База на приеме, - строго отвечает Руслан.

- Два кофе на крышу, будьте добры.

Пацаны, уютно расположившиеся между мешков и плит поста, и прислушивающиеся к переговорам Плохиша, смеются. Я довольно лежу на спине, распластавшись, как до смерти замученная ребятней и высохшая на солнце белопузая жаба. Очень хорошо помню этих жаб - над которыми интернатские дружки изголялись. Что с ними только не делали, с безотказными меланхоличными лягушками.

Движение туч предельно увлекательно. Увлекательней разве что кидать камушки в воду, прислушиваясь к улькающему звуку.

- Чего на базу не идешь? - спрашивает меня Плохиш, - он меня сменил, - Там ваша команда уже кильку пожирает.

Блаженно жмурюсь, не отвечая. Облака лишены мышц, но всё равно не кажутся вялыми. Мнится, будто они сладкие и невыносимо мягкие. Делая легкое усилие, их можно рвать руками, как ватное нутро вспоротого, источающего мутно-затхлые запахи дивана...

Ожидая отца, я часами смотрел в окно на облака, вспоминаю я. И у меня те же чувства были, что и сейчас. Что же, я с тех пор больше ни разу не смотрел так в небо? Сколько лет прошло? Пятнадцать? Двадцать? Времени не было, что ли?... За столько-то лет!...

- База! Где наше кофе? - не унимается Плохиш. Кажется, я слышу, как смеются пацаны в «почивальне». И даже представляю, как хмурится Руслан, мучаясь, оттого что не в силах придумать достойный ответ Плохишу.

«Не уймётся, пока Семёныч не обматерит», - думаю о Плохише.

«Нет, напрасно мне Плохиш напомнил о кильке...» - думаю ещё.

Чувствую ноющий, предвкушающий утоление голод.

- Ну, ты идёшь, нет? - ещё раз спрашивает меня Плохиш.

«Что-то тут не так, - думаю, - Чего он пристал...»

- Ну, как хочешь... - говорит Плохиш, и достает бутылку водки.

«Как я сразу не догадался!»

- Будешь? - предлагает Плохиш.

На голодный желудок не очень хочется, но отказаться нет сил.

«Сейчас быстренько выпью, а потом побегу закушу», - решаю.

- У меня только одна кружка, - говорит Плохиш.

- А я из горла.

Я могу пить из горла.

Плохиш наливает себе, горлышко бутылки позвякивает о кружку. Раздается резкий запах водки. Морщусь неприязненно: всё-таки я голоден.

- Ну, давай, - Плохиш протягивает мне бутылку.

Чокаемся. Зажмурившись, делаю глоток, второй, четвертый...

- Эй-эй! Эй, дружище! - останавливает меня Плохиш, - присосался...

- Спасибо, - говорю отсутствующим голосом, глубоко вдыхая носом запах мякоти собственной ладони.

Со всех концов крыши к Плохишу сползаются бойцы.

Чувствуя легкую тошноту, бреду к лазу.

Дышу полной грудью - чтобы не тошнило.

В «почивальне» забираю у жующего Скворца початую банку кильки, («Санёк, открой себе ещё одну!») и жадно начинаю есть, слизывая прекрасный, необыкновенно ароматный томатный сок с губ. Тошнота отходит.

Саня хмыкает, и ножом ловко вскрывает ещё одну банку.

Быстренько покончив с килькой, чувствую, что не прочь выпить ещё. У меня три баночки пива припасены, сейчас я их уничтожу.

- Санёк, пойдем пивка выпьем? - говорю я.

- Угощаешь?

- Ага.

Проходим по школьному дворику, ставшему уютным и знакомым каждым своим закоулком. Толкаем игриво поскрипывающие качели, - кто-то из парней, наверное, руковитый Вася Лебедев, низкий турник приспособил под качели. Только не качается никто, разве что Плохиш, выдурясь, влезет порой на качели.

Садимся на лавочку за кухонькой. Откупориваю две банки, одну даю меланхоличному Саньке. Подмывает меня поговорить с ним о женщинах. Алкоголь, что ли, действует.

- Саня, давай поговорим о женщинах, - говорю я.

Саня молчит, смотрит поверх ограды, куда-то домой, в сторону Святого Спаса. Я отхлебываю пива, он отхлебывает пива. Я закурываю, а он не курит.

«Как бы вопрос сформулировать, - думаю я, - спросить: „Тебя ждёт кто-нибудь?“ - это как-то пошло. А о чем ещё можно спросить?»

- Меня никто не ждёт, - говорит Саня.

Я задумчиво выпускаю дым через ноздри, глядя на солнце в

рассеивающемся перед моим лицом никотинном облачке.

Своим молчанием я пытаюсь дать Сане понять, что очень внимательно его слушаю. Боковым зрением смотрю на него.

Саня усмехается, косясь на меня:

- Что уставился на меня, как дурак на белый день?

- Да ну тебя на хер... - огрызаюсь я, улыбаясь.

- Я был женат около тридцати минут, - говорит Саня. - Мою жену звали... Без разницы, как ее звали. Мы расписались, и по традиции поехали к Вечному огню. Поднимаясь по ступеням возле постамента, я наступил ей на свадебное платье, оставив симпатичный чёрный след. Она развернулась и при всех, - при гостях и при солдатах, стоящих у вечного огня, - дала мне пощёчину. Взяв ее под руку, я поднялся на постамент, вытащил из бокового кармана пиджака свидетельство о браке и кинул в огонь.

Я бычкую сигарету и тут же прикуриваю вторую.

- Поэтому я не хочу больше жениться, - говорит Саня. - Вдруг я наступлю жене на платье?

На крышу кухоньки падает камень.

- Эй, мальчики! - кричит с крыши Плохиш. - Прекратите целоваться!

Кряхтя, встаю. Выхожу из-за сараюшки и показываю Плохишу средний палец, поднятый над сжатым кулаком.

- За сараем спрячутся и целуются! - нарочито бабьим голосом блажит Плохиш, его слышно на половину Грозного. - Совсем стыд потеряли! Я вот вам, ироды!

Плохиш берёт камень и опять кидает в нас. Увесистый кусок кирпича едва не попадает в меня.

- Урод! - кричу, - Убьешь ведь!

- Саня, иди домой! - не унимается Плохиш, - Христом Богом прошу, Саня! Ты не знаешь, с каким жульём связалась! Валенки он тебе все равно рваные даст!

На шум выбредает из школы Монах, задирает голову вверх, прислушиваясь к воплям Плохиша.

- Монах! - зову я. - Хочешь пивка?

- Я не пью, - отвечает он.

- Ну, иди покурим... - предлагаю я, осведомлённый о том, что Монах и не курит.

Под комментарии блюстителя нравственности с крыши, Монах неспешно бредёт к нам, время от времени оборачиваясь на неистовствующего Плохиша, тихо улыбаясь.

Подойдя, но, так и не решив, что делать с улыбкой, Монах оставил ее

на лице.

Пиво славно улеглось, создав во взаимодействии с водкой и килькой ощущение тепла и нежного задора.

- Монах, ты любишь женщин? - спрашиваю я.

- Егор, тебя заклинило? - спрашивает Скворец.

- Ладно, на себя посмотри, - огрызаюсь я. - Ну, любишь, Монах?

- Я люблю свою жену, - отвечает он.

- Так ты не женат! - я откупориваю, сладко чмокнувшую и пустившую дымок, банку с пивом и подаю ему.

- Егор, я не пью, - улыбается Монах.

Как хорошо он улыбается, морща лоб, как озадаченное дитё. Я и не замечал раньше. И даже кадык куда-то исчезает.

- Какое это имеет значение... - серьёзно говорит Монах, отвечая на мой возглас.

- А какая она, твоя жена? - интересуюсь.

Скворец морщится на заходящее солнце, кажется, не слыша нас.

- Моя жена живет со мной единой плотью и единым разумом.

И тут у меня что-то гадко ёкает внутри.

- А если она до тебя жила с кем-то единой плотью? Тогда как?

- У меня другая жена. Моя жена живет единой плотью только со мной.

- Это тебя Бог этому научил?

- Я не знаю, почему ты раздражаешься... - отвечает Монах. - Девство красит молодую женщину, воздержанность - зрелую.

- А празднословие красит мужчину? - спрашиваю я.

Монах мгновенье молчит, потом я вижу, как у него появляется кадык, ошестинившийся тремя волосками.

- Ты сам меня позвал, - говорит Монах.

Я отворачиваюсь. Монах встаёт и уходит.

- Чего он обиделся? - открывает удивленные, чуть заспанные глаза Саня.

- Пойдём. Пацаны чего-то гоношатся, - говорю я вместо ответа, видя и слыша суету в школе.

- Чего стряслось? - спрашиваю у Шеи, зайдя в «почивальню».

- Трое солдатиков с заводской комендатуры пропали. Взяли грузовик и укатали за водкой. С утра их нет.

- И чего?

- Парни поедут их искать. Поедешь?

- Конечно, поеду, - отвечаю искренне.

Вскидываю руку, сгибая ее в локте - почти рефлекторное движение,

благодаря которому камуфляж чуть съезжает с запястья, открывая часы. Половина восьмого вечера. Самое время для поездок.

В «почивальне» вижу одетых Язву, Кизю, Андрюху-Коня, Тельмана, Астахова, хмуро-сосредоточенных.

Плюхаюсь на кровать Скворца.

- Ямщи-ик... не гони... ло-ша-дей! - пою я, глядя на Андрюху-Коня.

Конь, до сей поры поправлявший, по словам Язвы, сбрую - а верней, разгрузку, вдруг целенаправленно идёт ко мне.

- Где выпил? - спрашивает он.

Я смотрю на Андрюху ласковыми глазами.

- Поварёнок налил? - наклоняясь ко мне, спрашивает он.

Не дождавшись ответа, Конь выходит из «почивальни».

Спустя пять минут, возвращается - и по вздутым карманам я догадываюсь, что он выцыганил у Плохиша два пузыря.

Андрюха-Конь садится рядом со мной.

- Может, мы до утра будем их искать, - говорит он. - Надо же как-то расслабиться.

- Кильку возьми... - говорю я.

- А чего не едем? - спрашиваю я громко у Тельмана.

- Уже едем, - говорит он. - Чёрную метку ждали.

- А его-то куда несёт?

Никто не отвечает.

- Все готовы? Конь? Тельман? Сорок пять? - спрашивает Язва.

Язва придумал Женьке Кизякову новое прозвище: «Кизя - сорок пять» или просто - «сорок пять», - за тот расстрел.

На улице стоят два подогнанных к школе «козелка». Вася Лебедев, чему-то ухмыляясь, смотрит на нас. Лезем к нему в вечно душную машину, Кизя, Астахов, я... Строгий, появляется Андрей Георгиевич, следом шагает раздраженный Куцый.

- Мы другого времени не можем найти, чтобы их искать? - спрашивает он зло. По голосу Куцего слышно, что разговор начался раньше, ещё в здании.

Чёрная метка молчит, но не отстраненно, не презрительно - молчанием давая понять, что согласен с Семёнычем, но повлиять на сложившиеся обстоятельства никак не может и не хочет.

Вася Лебедев смотрит на Семёныча, выдерживает паузу, чтобы не заводить машину пока Куцый не выговорился. Куцый злобно плюет и отворачивается. Вася поворачивает ключ, мотор с ходу начинает урчать.

Куцый подходит к ещё не захлопнутой задней двери, со стороны

Астахова, держащего между ног «муху»:

- Дима! Самое важное сразу определить, откуда идет стрельба. Даёшь туда первый выстрел, а там пацаны разберутся.

Дима молча и серьезно кивает своей большой лобастой головой.

Приспосабливаю автомат дулом в форточку. Настроение замечательное. Одна беда - Конь едет во второй машине, сейчас вылакают всё без меня.

В открытую фортку ласковыми рывками бьёт вечерний грозненский воздух. Я пытаюсь оглянуться, посмотреть в заднее окно «козелка» на следующую за нами машину. Почти с ужасом представляю себе, что увижу Коня хлебавшего водку из горла и передающего пузырь по кругу. Ничего, естественно, не вижу.

Выхватываемые фарами, боками к дороге, стоят дома. Внутренностей у многих домов нет, будто кто-то выковырнул из их середины всю сердцевину, оставив сохлый, крошащийся скелет, с чёрными щелями меж поломанных рёбер. Я смотрю на дома и в душе моей мягко и тепло, как у разродившейся суки под животом.

На поворотах я, кренясь, касаюсь стекла лбом, открытым потому, что задрал черную свою шапочку на затылок. Я вообще чувствую себя расслабленно, не пытаюсь удержаться на поворотах, и посему покачиваюсь из стороны в сторону, будто я плюшевый медведь, усаженный на задние сиденья. Впрочем, даже в таком состоянии, я увидел неожиданно появившуюся в темноте белую «Копейку», без включенных габаритов, еле двигавшуюся по дороге.

Вася резко крутанул руль, раздался звук удара, скрежет. «Копейку» катнуло вперёд. Вася не сбавляя скорости выровнял нашу машину, и ещё поддал газку. Второй «козелок», выставив автоматы в сторону «Копейки» резво покотил вслед за нами.

Мы смеёмся, нам смешно.

В машине, идущей за нами, Язва включил рацию, чтобы сказать что-то, и я слышу, что там тоже все смеются.

- Нормально? - неопределенно интересуется Язва.

- Душевно... - не менее неопределенно отвечает Вася.

И мы снова, все одновременно засмеялись, восемь человек посередине мрачного города, молодые безумные парни. Даже Чёрная метка словно нехотя скривился.

- Тише, тут блок-пост... - говорит он Васе негромко.

- Учтём, - отвечает Вася.

Напрягаю мышцы - то на бицепсах, то шейные. Неожиданно остро

начинаю чувствовать собственные соски, касающиеся тельника. Ссутуливаю плечи, чтобы отстранить ткань от груди, избавиться от этих раздражающих касаний.

Аккуратно трогаю пальцами дверную ручку, - чтобы рука запомнила ее местонахождение, не спутала, не заблудилась в потемках, если понадобится резко открыть дверь.

Метров за тридцать до блок-поста, мы, прижавшись к обочине, встаём. Я, несказанно и непонятно отчего счастливый, выскакиваю на асфальт из машины.

- Эй! Свои! - кричу я.

И расхлябанно двигаюсь к посту. Из проёма меж плит выходит офицер, недоверчиво глядя на меня.

- Машину ищем. Солдатики из заводской комендатуры уехали за водкой и не вернулись. Не видели? - спрашиваю я, подавая ему руку.

Он отрицательно качает головой. Ладонь у него вялая, и - в темноте чувствую - грязная, в сохлом земляном налете.

Тихо подъезжают наши машины. Выходит, хлопнув дверью, Чёрная метка. Я ухожу - сейчас начальство повторит вопросы, только что заданные мной.

За вторым «козелком» уже толпятся пацаны, - Язва, Вася, Кизя-45, Тельман, Андрюха-Конь, Астахов...

- Опа! - говорю я.

Астахов, вытирая губы, тут же вручает мне пузырь, из которого только что отпил сам, и, судя по его сразу покрасневшим и отяжелевшим глазам, отпил много. Я трясущей бутылкой перед собой, зачем-то взбаламучивая содержимое, и, раскрыв рот, щедро заливаю вовнутрь отравы. Сладко бьёт под дых, сжимает мозг, я прикрываю глаза и рот рукавом. Кто-то бережно извлекает из моих пальцев бутылку.

- Дайте что-нибудь сожрать... - говорю я сипло и тут же вижу, что Андрюха-Конь держит на лапе вскрытую банку кильки.

Догадавшись, что есть надо пальцами, я щедро хватаю из банки несколько рыбок и, обливаясь соком, переправляю их в рот.

Кизя допивает водку, и, обнаружив, что рыбы в банке больше нет, выливает из банки себе в пасть остатки томатного соуса, видимо, уже смачно просоленного нашими пальцами.

- По коням, - говорит Язва, просто так, чтобы что-то сказать. Никто и не собирався тут оставаться.

Облизывая губы, и вытирая щетину, последние дни плавно превращающуюся в чёрную, раскудрявившуюся, почти чеченскую бороду,

я с блаженной ласковостью разглядываю виды за окном.

Наверняка, на крышах некоторых домов, мимо которых мы сейчас проезжаем, сидят люди с автоматами, мечтающие кого-нибудь из нашего брата отправить в ад. Вот они, поди, удивляются, видя нас, несущихся по городу.

Быть может, они едят, перекусывают между пальбой, и, увидев нас, от неожиданности роняют шашлык на брюки, хватаются за стволы, но мы уже, дав газку, исчезаем из вида, только пустая бутылка, выброшенная из окна «козелка», гокается о придорожные камни.

«Быть может, чеченский боевик, только что видевший нас, сейчас связывается со своим напарником - высматривающим цель в том районе, куда мы въезжаем?» - думаю я, словно пытаюсь себя напугать. Но дальше мне думать лень и я решаю про себя: «А по фиг...»

Подъезжаем к комендатуре, нам заботливо и споро открывают ворота.

Чёрная метка уходит в здание комендатуры с сутулым офицером, вяло что-то доложившим.

Вася деловито извлекает из-под сиденья пузырь, и все присутствующие радостно вопят.

Выпрыгиваем из машины на распогодившуюся, тёплую улицу.

- Воды бы... - говорю я.

Вася идет к машине, и приносит пластмассовую бутылку с водичей. Наверняка, вода теплая и чуть протухшая - как у всех водителей.

«Отрава» идет по кругу, резво опустошаясь. Голова тяжелеет.

Незаметно появляется Чёрная метка. С трудом сдерживаю желание как-нибудь громко выразить свою радость по этому поводу. Вася тихо закатывает бутылку куда-то в кусты.

- Бесплезно искать... - говорит Чёрная метка, - Видимо, придётся здесь ночевать.

Мы переглядываемся.

Верно расценив наше молчание, Чёрная метка добавляет:

- Или?

- Мы, наверное, на базу поедим, - говорит Язва.

- Ну, как хотите... - отвечает Андрей Георгиевич. Оглядывает наши раскривевшиеся с выпитого рожи, и коротко кивнув головой, уходит.

- Спокойной ночи! - говорит кто-то ему вслед дурацким голосом.

Грузно усаживаемся, перепутав машины, кто куда. Главное, чтоб водители не потерялись. Я, впрочем, по привычке сажусь вперед, на место освобожденное Чёрной меткой: ну нравится мне впереди сидеть.

Заводятся машины, и в тоже время за воротами будто начинается

светопреставление. Во все щели ограды бьёт слепящее электричество.

- Никак наши орлы прибыли, - говорит Вася, щурясь от дальнего света фар грузовика, подъехавшего к воротам.

- Они самые, - икнув, подтверждает Конь, когда грузовик въезжает. В кабине видны три человека.

- Пошли! - срывается вдруг Конь. Я выхожу вслед за ним.

Солдатики раскрыли двери, но выпрыгивать из кабины не спешат. Сидящий в середине салона, меж водителем и вторым пассажиром солдатик свесил голову, и, похоже, находится в сладком обморочном состоянии. Что называется, пьян в хламину.

Офицер, тот, что докладывался Чёрной метке, вспрыгнув на подножку, хватая водителя за шиворот, выдёргивает его, слабо сопротивляющегося, на улицу, бросает наземь и начинает месить ногами, бессмысленно матерясь.

Солдатик, тот, что сидел с левой стороны, видя такие дела, сам вылезает из машины, и пытается ретироваться. Офицер, оставив поверженного водителя, нагоняет второго солдатика, и для начала отвешивает ему бодрый и щедрый пинок.

- За работу, - тихо говорит Андрюха-Конь, и мы впрыгиваем в кабину грузовика, где ещё дремлет третий виновник суматохи.

Начинаем рыться в кабине.

Быстро обнаруживаем целую курицу - жареную, с малейшими изъянами в виде отсутствующей ноги и нескольких небрежных укусов в области груди. Водки нет.

- Под сиденьями посмотри, - говорит Язва, подошедший к машине и озирающийся по сторонам.

- Вы чего там ищете? - интересуется вернувшийся из комендатуры Андрей Георгиевич.

- Да вот вытаскиваем... героя... - говорю я, и, действительно, прихватив за шиворот, аккуратно выволакиваю на божий свет, верней на божью темь, ни на что не реагирующего солдатика. Он плюхается рядом с постанывающим (для вида, уверен) водителем.

Чёрная метка стоит, не уходит, и мы с Язвой, поняв, что поиски спиртного в машине будут выглядеть неприлично, возвращаемся к «козелкам».

- Так вы всё-таки поедете? - спрашивает Чёрная метка.

- Да, поедем, - отвечает Язва.

Вася бьёт по газам, ловко объезжает криво поставленный грузовик, и вылетает за ворота. Я слышу блёмканье стеклянной посуды. Оборачиваюсь

и глаза в глаза встречаюсь взглядом с Андрюхой-Конём.

- Нашел, чертяка?

- Достойная оплата за наш риск, - отвечает Андрюха, приподнимая пакет - на вид в нём бутылок восемь, а то и больше.

- Вася, запомни, нас никто не имеет права убить, пока мы все это не выпьем, - говорит водителю Язва, усевшийся с нами.

- Учтём, - отвечает Вася.

Выехав за ворота, тут же останавливаемся - делимся с парнями из второго «козелка» добычей, - чтоб не скучали в пути.

Каждый из наших пацанов пьёт своеобразно, по-своему.

Андрюха-Конь затаивается перед глотком, будто держит в руке одуванчик и боится неровным выдохом его растревожить. В его манере пить есть истинно лошадиная аккуратность и благоговение хорошо воспитанного коня перед жидкостью, которую предстоит потреблять.

Язва, перед тем как глотнуть, отворачивает голову, и пьёт, заливая «отраву» себе куда-то в край рта.

Слава Тельман пьёт аккуратно и спокойно, - как педант микстуру.

Вася Лебедев - залихватски, громко хэкает после. Бьёт по газам, и мы идём на взлет, счастливо щуря моржовые глаза свои.

Мне нравится пить водку. И то, что мы едем - не такое уж неудобство. Сейчас Вася врубит четвертую, и я глотну. Глотаю. Пузырь идет по второму кругу.

Пока я приняхивался к рукаву, - пузырь возвращается ко мне.

Так вот, водка мне нравится. Однако, чем больше я ее потребляю, тем труднее мне даётся питье. Скажем так, когда количество выпитого лично мной переходит за пол литра, я перестаю смаковать водку, и просто, жмурясь, заливаю ее вовнутрь - на авось - приживется как-нибудь, усвоится. Закусить бы хорошо... Вот и курочку мне парни подают почтительно; грязными своими, кривыми пальцами всю ее залапали.

Некоторое время жую, хрустя куриными косточками, которые мне лень выплёвывать, - зубы молодые, все перемелят.

Летим по городу, как ангелы, дышащие перегаром.

На ухабах выпитое и съеденное взлетает вверх, но мы крепко сжимаем зубы.

Между тем Андрюха открывает ещё одну бутылку, и, чокнувшись со стеклом, дегустирует первым, уменьшив содержимое на четверть.

- Вась, тебя попоить? - предлагаю я водителю, получив бутылку.

Вася протягивает руку, и я вкладываю бутылку в его раскрытую клешню.

- Смертельный номер, - говорит Вася. Не отрывая глаз от дороги, он опрокидывает бутылку в рот, и делает несколько внушительных глотков, даже не поморщившись. Возвращает мне бутылку, и снова тянет руку, - я вкладываю в неё куриные лохмотья. Вася целиком засовывает в рот данное ему, и с аппетитом жуёт. Глаза его становятся всё больше и больше, - видимо от напряжения челюстей, но когда Васе удастся сглотнуть прожеванное мясо, чуть ословелый взгляд его вновь исполняется умиротворения.

Я вижу накатывающий на нас город, и с трудом сдерживаю желание выскочить из машины на улицу, побежать во дворы, крича от счастья, паля во все стороны. Парни не поймут.

- Андрюха, запевай! - говорит Язва.

- Какую? - ёрничает Андрюха, - «Ямщик, не гони лошадей»? «Ходят кони над рекою»? «Три белых коня»?

Смеёмся и валимся на бок на очередном вираже.

- Давай про ямщика, - говорит Язва.

- «Ям-щик, не гони ло-ша-дей!» - ревёт Андрюха.

Я нажимаю тангенту рации, чтобы пацаны, следующие за нами во второй машине, могли насладиться пением.

- «Мне не-куда больше спе-шить!» - подхватывает Вася.

«Мне не-кого больше лю-бить...» - кричим мы в четыре глотки.

Я отпускаю тангенту, и тут же в рации раздаётся пение наших парней из второго «козелка»:

- «Ямщик! - орут они дурными голосами, - Не гони! Ло-ша-дей!»

Роскошные волны раскатываются в обе стороны из лужи, по которой мы проезжаем, вылетев напрямую по направлению к нашей школе, и, не успев затормозить, машина бьёт бампером в железные ворота - приехали. Грохот, кажется, должен быть слышен где-нибудь во Владикавказе.

- Ещё! - говорит Вася, протягивая руку.

Вручаю ему пузырь. Он открывает его зубами.

Совсем пьяный, давясь, я глотаю ещё. Закусывать уже нечем. Во втором «козелке» всё ещё поют.

Даже не вижу, кто открывает дверь. На краткое время очухиваюсь в «почивальне», увидев дневального - Кешу Фистова. Его косой взгляд меня добивает, и, стараясь ни на что больше не смотреть, я, по памяти, бреду к своей кровати, обнаруживая по пути подозрительно много сапог и тапок. Взявшись наверх, кажется, наступаю на живот Скворцу (когда же я снял берцы? да и снял ли я их?), и засыпаю, ещё не упав на подушку.

...Просыпаюсь я, кажется, не от того, что вокруг все шумят, а потому,

что у меня из раскрытого рта натекала на подушку слюна, словно я расслабившийся даун, а не боец спецназа. Чувствуя гадкую гнилостную сырость на лице, я очнулся.

О, господи. Мою голову провернули в мясорубке...

Я не удивлюсь, что один мой глаз сейчас находится на подбородке, а второй в шейной складке. Правда, рот, если так можно назвать это сохлое, присыпанное старым куриным пометом отверстие, есть. Но дышать через него не хочется. Одним глазом я пытаюсь смотреть на происходящее в «почивальне». Вчерашняя курица просовывает свою бритую, ощипанную голову мне в горло, и дух ее жаждет свободы.

Если я оторву затылок от подушки, может случиться что-то страшное. Я даже боюсь себе представить, что именно. Перевожу глаз на свою ногу - вижу носок. Значит, берцы я всё-таки снял. По крайней мере, один ботинок. Надеюсь, что я снял их в помещении, а не, например, в «козелке».

- Вставай, чудовище, - говорит Хасан где-то рядом.

Неожиданно открывается мой второй глаз. Он всё-таки на лице, и вроде бы не очень далеко от первого. Несколько секунд наводится резкость, сначала вижу рыжую щетину Хасана, отвратительно открывающийся и закрывающийся рот, затем становится видным все лицо. Не в силах вынести зримое, я закрываю глаза.

«Почему нас не обстреляли вчера? - думаю. - Сейчас бы я спокойно лежал в гробу. Возможно, вскоре домой бы полетел».

Дальше мысли не движутся. Приоткрываю глаза, Хасана нет. Зато появился Аружев. Стоит ко мне спиной. Хочется его убить. Нет, если я его убью, будет кровь, от этого меня стошнит.

Пробую двинуть рукой. Определенно, рукой двигать можно. И ногой тоже.

Хорошо бы, если б возле моей кровати поставили хорошую ёмкость с ледяной водой. Я бы пододвинулся к самому краюшку кровати и плюхнулся в воду. И какое то время лежал бы на дне, пуская пузыри.

Неожиданно для себя, резко поднимаюсь, голова начинает кружиться, но я, не взирая на тошноту, дурноту и маяту, преисполняющие меня, спрыгиваю в два приема на пол, - сначала, изогнувшись, встаю на кровать Скворца, а оттуда уже переправляю своё тело вниз.

Вот и берцы мои, в разные стороны глядят...

Не завязывая их, бреду на первый этаж. Навстречу поднимается Андрюха-Конь, такое ощущение, что на нём недавно подняли целину.

Мы проходим мимо друг друга равнодушные, как космические тела.

У раковины кто-то копошится, сплевывая и похрюкивая. Прислоняюсь

затылком к стене и мерно издаю стонающие звуки. Мне освобождают место у крана. Я наклоняю голову под воду.

Достаю из кармана зубную щетку. Стреляю у кого-то пасты. С остервенением чищу зубы.

- Егор, ну ты долго будешь здесь отмачиваться? - слышу я голос Шеи.

- А чего?

- Объявили же, Егор - выезд через пятнадцать минут.

- Куда?

- Домой, - отвечает Шея тоном, дающим понять, что поедem мы в места дурные и неприветливые.

На лестнице опять встречаю Андрюху-Коня:

- Похмеляться будешь? - спрашивает он.

- А что, осталось?

- Ага, пузырь.

- Это мы семь бутылок выпили?!

- А ты не помнишь? Мы ещё в школе пили. На первом этаже... Ну, будешь?

- Нет, - с необыкновенной твердостью отвечаю я.

Иду в «почивальню», вернее, - несу туда свою изуродованную, сплюснутую предвотной тоской голову. Голова покачивается, как тяжелый, некрасивый репейник.

Добредаю до кровати, опять лезу вверх.

- Егор, твою мать! - орёт Шея. - Построение через три минуты!

Дождавшись, пока Шея отойдет от моей кровати, поднимаюсь и свешиваю ноги вниз. На нижней койке копошится Скворец.

- Саня! - зову, - Одень мне берцы.

- Ага. Щас, - отвечает Саня.

- Разве ты не можешь выполнить последнюю просьбу твоего товарища?

Саня молчит.

Я, кряхтя, перемещаюсь к нему.

- Саня! - говорю я патетично. - Где твоя жалость? Сколь сердце твое немилосердно, Саня...

Скворец накидывает автомат и молча выходит.

- Все меня бросили... - жалуюсь я появившемуся Жене Кизякову. Женя что-то жуёт.

- Чуть не вырвало... - говорит он мне.

- Похмеляются водкой... плебеи... - ворчу я, вновь одевая берцы. Разгрузка, автомат, рация, берет. Готов. Ох, готов...

Держась за стены, бреду на улицу. По дороге заворачиваю к крану. Жадно пью, не в силах остановиться. Наполняю водой берет, и одеваю его на голову. Вода льётся за ворот. Голова непроницаемо больна. Боль живет и развивается в ней, как зародыш в яйце крокодила или удава или ещё какой-то склизкой нечисти. Я чувствую, как желток этого яйца крепнет, обрастая лапками, чешуйчатым хвостом, начинает внутри моего черепа медленно поворачивать, проверяя свои шейные позвонки, злобную мелкую харю. Вот-вот этот урод созреет и полезет наружу.

На улице гудят три «козелка», полные народу - в каждый набилось по шесть человек плюс водитель. Скворец, сидящий в одной из машин, открывает дверь, зовет меня:

- Егор!

Втискиваюсь на задние сиденья.

Спустя полчаса езды мне приходит в голову поинтересоваться, куда мы едем:

- Саня, куда мы едем? - спрашиваю я тихо.

- В какую-то деревню.

Киваю головой, хотя ничего, собственно, не понял. Да и какая разница. В деревню, так в деревню.

Согнувшись, беспрестанно кусаю себя за мякоть руки - за то место, что находится между большим и указательным пальцем.

Семёныч вызывает по рации Шею, сидящего впереди меня.

- Подъезжаем, - говорит Семёныч.

- Принято, - отвечает Шея.

- Согласно оперативным данным, в доме, к которому мы едем, живут пять что ли братьев...

- «Что ли» пять или «что ли» братьев? - спрашиваю я, необычайно восприимчивый в это утро к деталям. Чувствую острое желание, чтобы Шея развернулся и вырубил меня хорошим ударом в челюсть.

- Они связаны с боевиками, - продолжает Шея, словно не слыша меня.
- Или сами боевики. В общем, их надо задержать.

- Может, их лучше сразу заебашить? - интересуется Астахов.

- Задержать, - строго повторяет Шея, но всё равно слышно, что настроение у него хорошее.

- Выгружаемся, - добавляет Шея.

Трусцой бежим от окраины селенья по дороге. На улицах никого нет. Даже собаки не лают.

Хочется упасть. И чтоб все по мне пробежали, а я остался лежать на земле, весь покрытый пыльными, тяжелыми следами берцев.

Рассредоточиваемся вокруг дома. Присаживаюсь на колено, снимаю автомат с предохранителя, досылаю патрон в патронник.

Семёныч, Шея, Слава Тельман, Язва и Женя Кизяков идут к дому, вход справа. Слава Тельман горд тем, что Семёныч вновь взял его собой - дал шанс исправиться, показать себя.

Я тоскливо смотрю на Славу, на Семёныча, не Шею... Скорее бы домой, в «почивальню»...

Язва и Кизя встают у окон.

- Гранаты приготовьте, - говорит им Семёныч.

Шея бьёт ногой в дверь, она стремительно открывается, - видимо, была не закрыта.

Шея со Славой входят в дом.

- Всем лежать! - орёт Шея бодро. Семёныч делает шаг следом, но в доме раздается тяжелая пальба, и он тут же возвращается в исходное положение, прижавшись спиной к косяку. Я вижу его бешеное, густо покрасневшее лицо. Стреляют не автоматы наших парней, Шеи и Тельмана - это бьёт ПКМ - пулемёт Калашникова, я точно это знаю, я слышу это. Что же наши парни, почему они не стреляют, что с ними?

Дернувшись от выстрелов, беспомощно смотрю на Семёныча. Вижу Язву стоящего у одного окна, озирающегося по сторонам и Женю Кизякова, стоящего у другого окна, держащего в руке гранату и не знающего, что с ней делать.

- Не кидай! - кричит Семёныч Кизе.

Никто из нас, окруживших дом, не стреляет. Куда стрелять? Там в доме, наверное, наши парни дерутся... Наверняка крутят руки этим уродам, и сейчас выйдут.

Сжимаю автомат, и сердце чертыхается во все стороны, как пьяный в туалете, сдуру забывший, где выход, и бьющийся в ужасе о стены.

Семёныч заглядывает в дверной проём и даёт внутрь дома длинную очередь.

«Куда же он палит? А? Там же Шея и Тельман! Они же там! Он же их убьёт!»

Семёныч присаживается на колено, будто хочет вползти в дом на четвереньках, и тут же за ногу кого-то вытаскивает из дома... Славу! Тельмана!

Кизя, убравший гранату, подскакивает и сволакивает Славу на землю.

Семёныч даёт ещё одну очередь, и снова исчезает в доме - всего на мгновение. За две ноги он подтаскивает к выходу Шею. Вслед Семёнычу бьёт ПКМ, но командир наш успевает спрыгнуть с приступков и спрятаться

за косяк.

- Отходи, Гоша! - кричит Семёныч Язве. Дает ещё одну очередь в дом и, ухватив, как куклу, Шею за ногу, тащит его на себя. Здоровенные ручищи нашего комвзвода беспомощно вытянуты.

Звякает окно в доме, сыплются стекла.

И все разом начинают стрелять. Многие бьют мимо окон, - от стен летит кирпичная пыль. Кто-то из находящихся в доме, разбивает прикладом стекло. Сейчас нас перебьют всех.

Семёныч забрасывает на плечо Шею, Кизя - Тельмана, и отбегают от дома. За нашими спинами стоят несколько тонких деревьев. Раненых (я уверен, что парни просто ранены) несут к деревьям.

Семёныч вызывает наши машины, - в динамике радиации слышен его злой, хриплый голос.

Я весь дрожу. Прятаться нам негде. Все мы находимся прямо напротив дома, на лужайке, как объевшиеся дурной травы бараны.

Косте Столяру и кому-то из его отделения чуть более повезло - парни расположилось за постройками справа от дома, напротив двери. Туда же, по отмашке Семёныча бежит Андрюха-Конь с пулеметом.

«Бляха-муха, мы что так и будем тут сидеть?» - думаю я, безостановочно стреляя. Раздается сухой щелчок: патроны в рожке кончились. Переворачиваю связанные валетом рожки, вставляю второй, полный. Снова даю длинные очереди, не в силах отпустить спусковой крючок.

«Скорей бы все это кончилось! Скорей бы все это кончилось!» - повторяю я беспрестанно.

Это какой-то пьяный кошмар - сидим на корячках и стреляем. Никто не двигается с места, не меняет позиции.

Может, окопаться?...никто не окапывается. Но я же командир! Сейчас прикажу всем окапываться и первым заруюсь!

Какой я, на хер, «командир»! Сейчас Семёныч что-нибудь придумает...

Плюхаюсь на землю, вцепляюсь в автомат. Кажется, что если я перестану стрелять, меня сразу убьют.

«Вот она, моя смерть!» - пульсирует во мне.

Осознание этого занимает все пространство в моей голове.

Подъезжают «козелки», встают поодаль, водители сразу выскакивают и ложатся у колёс, под машины.

Я кошусь на раненых, вижу суесящегося возле них дока - дядю Юру.

Шея лежит на спине, и я, мельком увидев его, понимаю, что он умер, он мёртв, мёртв. Глаза его открыты.

- У нас два «двухсотых»! - слышу я голос Семёныча в рации. - Необходимо подкрепление! Пару «коробочек»!

Автомат опять замолкает. Снимаю рожок, извлекаю танцующими руками из разгрузки ещё одну пару рожков, соединенных синей изолентой. Присоединяю, досылаю патрон в патронник. Жадно глядя на окна, даю очередь. Чувствую, что попадаю. Не снимая указательного пальца правой руки со спускового крючка, левой рукой беру с земли пустые рожки и сую их за пазуху, под куртку.

Мельком оглядываю пацанов, вижу Кизю с алюминиевыми щеками и тонкими губами, бледного Скворца, Монаха с вытянутым удивлённым лицом, Андрюху-Коня... Все безостановочно стреляют.

Кажется, что мы сейчас забьём, заполним весь этот домик свинцом.

Явственно мелькает в окне мелко дрожащий автомат, - возникает ощущение, что я кручусь на Чёртовом колесе, и моя кабинка резко падает вниз: что-то падает на дно желудка, и одновременно давит на виски изнутри.

Ни одна пуля в меня не попадала, с удивлением замечаю я.

Давление в висках не отступает.

Автомат показывается ещё раз - в одном окне, и тут же в другом.

«Сука! Сука! Сука! - повторяю я жалобно, стреляя. - Ну, заткнись же ты, сука!»

Трогается один из «козелков», уезжает. Наверное, парней, Шею и Тельмана, загрузили.

«Сейчас и тебя загрузят... Дохлого...»

Тошнит от ужаса.

«Неужели мы ещё никого не убили?»

Вновь меняю рожки. Вижу, как, невзирая на выстрелы, в окне дома, в полный рост появляется гологрудый, окровавленный, как мясник, чечен с автоматом. Он бьёт в нас, сжимая крепкими волосатыми руками автомат как щуку, - словно боясь, что подрагивающий холодным телом тонкий зубастый зверь выскочит.

Получив сильнейший разряд ужаса, усилием всех мышц тела, срываюсь с места, чувствуя спиной, как кусок земли, где я лежал, штопает из автомата стреляющий враг. Приземляюсь кое-как, на все конечности, тут же кувыркаюсь, с хрястом сталкиваюсь с Саней Скворцом лбами. Боковым зрением вижу, что чечен исчез из окна. Лежа на боку, стреляю.

Кизя палит из подствольника прямой наводкой в окно.

Оборачиваюсь назад, ищу глазами Семёныча - вижу, как его голову бинтует дядя Юра. Лицо Семёныча окровавлено. Морщась, он что-то

говорит по рации. Я не слышу, что.

«Подползти бы, кинуть гранату в окно... Нет, свои же застрелят... И даже если не застрелят, очень страшно двигаться».

Перебегаю зачем-то вбок, усаживаюсь напротив угла дома.

Андрюха-Конь целенаправленно решетит дверь из пулемета.

«А они ведь могут убежать, выпрыгнув в окна с той стороны...» - думаю о стреляющих в нас. Очень хочется всех их убить.

Нет, не убегут. На другом углу лежит Валя Чертков, «держит» окна.

Костя Столяр сидит на корточках за сараюшкой, перезаряжает автомат, в ногах лежат в полиэтиленовом пакете патроны. Костя видит меня, кивает. Что-то падает рядом с ним, похожее на камень. Ищу глазами упавшее и вижу гранату подствольника, она сейчас разорвётся. Костя не успевает ничего сделать, не успевает отпрыгнуть. Согнувшись, он тыкается головой куда-то в расщелину сарая, отвернувшись к гранате задом, поджав ноги - мне кажется, что Костя бережёт яйца. Все это я увидел, откатываясь, и Костины движения мелькали в моих глазах, как кадры бракованной киноплёнки. Я ждал, что сейчас грохнет, ахнет взрыв, и... Но взрыва не было. Взрыва нет. Граната лежит и не разрывается.

Костя понимает это, оборачивается, хватая с земли оставленный рожок, делает движение, чтобы уйти и навстречу ему из двери делает шаг почему-то дымящийся чечен. В руках у него автомат. Он поводит автоматом, направляя ствол то на Андрюху-Коня, то на Костю. Андрюха-Конь не стреляет, он только что прекратил стрелять, он возится с лентой («Где его „второй номер“? - тоскливо подумал я»). Андрюха смотрит в упор на чечена не пытаясь спрятаться. Переворачиваясь, я лёг на автомат. Увидев чечена, я пытаюсь вырвать его из-под себя, но он зацепился за что-то затвором, за какой-то карман на разгрузке.

Я слышу выстрелы, - Костя вскинул «ствол» и трижды выстрелил в грудь чечену одиночными. Чечен спокойно упал. Мне кажется, что он притворяется. Я стреляю в упавшего.

Из двери выскакивает ещё один чеченец и бежит на Валю Черткова. Костя хочет выстрелить, подбить выбежавшего, но чечен уже подбежал к Вале, он рядом. Валя встаёт, выставляет навстречу чеченцу автомат, держа его как копьё, даже убрав палец со спускового крючка, - кажется, он решил проткнуть чеченца стволом. Он делает выпад в сторону подбежавшего, тот уворачивается, и ловко бьёт Валю в лицо прикладом. Валя падает, схватившись за лицо. Чеченец перемахивает через забор и бежит по саду. Никто не стреляет ему вслед, - и Андрюха-Конь и Костя палят в открытую дверь.

Зачем-то находящиеся в доме, выбрасывают из окна белую, грязную тряпку. В остервенении стреляю в это тряпье.

«Чего они задумали?»

В голове у меня путаются мысли о каких-то детских пеленках, может быть, они намекают, что у них дети в доме?

Бля, какой же я дурак, они не хотят, чтобы мы их убили. Я отпускаю спусковой крючок. Кто-то ещё стреляет, но в течение нескольких секунд выстрелы стихают. Самыми последние замолкают стволы Кости Столяра и Андрюха-Коня - они не видели простыни. Им дают знак.

Из окон вываливаются один, два, три человека. Они ковыляют нам навстречу, делают несколько шагов и останавливаются. Автомат только у одного из них, - он бросает его на землю.

Ещё двое вышли из двери. Андрюха-Конь поднялся из-за укрытия, держа пулемет на весу, на белых спокойных руках. Я привстаю на колене, держа на прицеле самого ближнего ко мне.

Волосы вышедших всколочены, потны, грязны, лица в царапинах и в крови. Ближний ко мне - тонок и юн, грудь его дрожит, и губы кривятся, - быть может, от боли, - левая кисть мальчика качается в обе стороны, - рука, наверное, пробита, изуродована в локте. По пальцам беспрестанно течет кровь.

Андрюха-Конь стреляет первым. Он бьёт, оскалив желтые зубы, в тех, что вышли из двери, и они падают. Следом начинаем стрелять мы. Стреляю я.

Я должен был попасть в живот стоявшего передо мной, но кто-то свалил его раньше, и очередь, пущенная мной, летит мимо, в дом. Я опускаю автомат, чтобы выстрелить в упавшего, но у него уже нет лица, оно вскипело, как варенье.

Мы встаём. Андрюха-Конь, опустив пулемет вниз, обходит трупы. Он стреляет короткой очередью каждому, лежащему на земле, в голову - в лицо или в затылок. Кажется, что куски черепа разлетаются, как черепки кувшина.

Мы, не таясь, бредём к дому. Заходим внутрь. Кажется, я иду вторым.

Прямо напротив входа - лежанка. Возле неё стоит пулемёт из которого убили Шею и Тельмана. Рядом с пулемётом, на боку лежит мужик с дыркой в глазнице. Кизя стреляет мертвому во второй глаз.

На полу гильзы и битое стекло. Бельё с одной из двух кроватей сорвано. Одеяла без наволочек лежат на полу. Я брезгливо обхожу одеяла, не наступаю на них.

Выхожу на улицу. Парни под руки поддерживают Валю Черткова, все

лицо у него в крови, щека бордовая, окривевшая. Рот открыт, изо рта течет.

Пацаны курят. Андрюха-Конь держит в зубах не дымящуюся сигарету. Вижу Федю Старичкова, прижимающего локоть к боку. Его разгрузка набухла тяжелой, красной жидкостью.

- Федя, что с тобой?

- А?

- Что у тебя? - я указываю рукой ему на бок.

- Не знаю, ободрался что ли, - отвечает Федя, но руку не убирает. Он немного не в себе.

- Какой «ободрался»! Ты весь в крови. Дядя Юр!

Федю ведут к «козелку». Там уже сидит Валя, он стонет.

Я вижу: к нам едут машины из города. Помощь прибыла...

IX

В Грозном начался дождь. Лупит по крыше «козелка». Я выставил руку в окно, по руке течёт вода, размывает грязь. Навстречу «козелку» несутся потоки воды. «Козелок» сбавляет ход. Вася Лебедев тихо матерится. Переключается со второй скорости на первую. Что-то связанное с душой... с душой только что убитого человека... с душами недавно убитых людей... никак не могу вспомнить. При чём тут дождь, никак не могу вспомнить.

В «козелке» все молчат. Если нас сейчас начнут обстреливать, что мы будем делать? Неужели опять будем стрелять? Ползать, перебегать, отстегивать рожки, вставлять новые, передергивать затвор, снова стрелять...

Закрываю глаза. Как много дождя вокруг. Вода течет по стеклам, по стенам «козелка», по шее, по позвоночнику, уходит под лопатки... хлюпает под ногами.

Ствол сырой, и рука... вяло подрагивающая моя рука с ровными ногтями кое-где помеченными белыми брызгами... рука моя зачем-то поглаживает сырую изоленту на рожках...

Кто-то пытается закурить, но дождь тушит сигарету, и она уныло обвисает сырым, черным сгустком непрогоревшего табака.

Мне кажется, что я сумею закурить, просто надо держать сигарету в ладонях. Не слушающимися руками я лезу в карманы, ищу спички, нахожу их. Но спички сырые. Я выбрасываю их в окно, их закручивает волной, поднимаемой колёсами.

Зачем-то ищу сигареты. Они лежат во внутреннем кармане куртки, превращенные в комковатую россыпь табака и бумаги. Извлекаю пачку, бросаю вслед за спичками.

Язва хмуро косится на меня. Вижу, что даже ему тяжело шутить, хотя тупая последовательность, с которой я выбрасываю что-то в окно, весьма располагает к произнесению остроты.

В руинах, в развалинах уже накопились большие лужи. «Дворники» на лобовухе работают беспрестанно, но все равно не успевают разогнать обилие воды.

Вася Лебедев иногда останавливается, рассматривает дорогу, чтобы не съехать на обочину.

- Мы похожи на кораблик... - прерывает молчание Язва, - Дождь размыл землю во всей округе, и теперь все невзорвавшиеся мины сами плывут на встречу нам.

Глядя в лобовуху, я пытаюсь рассмотреть дорогу, всерьез желая различить плывущую навстречу нам мину. Не видно ни черта.

У ворот школы «козелок» плотно садится в лужу. Вася Лебедев некоторое время терзает взывающую машину. Пытается сдать назад, но «козелок» лишь дрожит, и колеса крутятся впустую.

Вылезает под дождь, отсыревшая, в мутных пятнах воды одежда, враз становится полностью, тяжело сырая. Входим, равнодушные, в лужу, толкаем плечами «козелок».

Нас мало. Я смотрю на свои упершиеся в борт «козелка» руки, не видя тех, кто рядом, но чувствую, что нас не хватает. Прорядили.

Хмуро выходят пацаны из «козелка», ехавшего за нами.

Кто-то становится рядом со мной, я узнаю густо поросшую черными волосками лапу Кости Столяра.

«Козелок» выползает, залив нас всех по пояс, а нам всё равно. Чавкая ногами, мы выползаем из лужи. Мне подает руку дядя Юра - он смотрел на нас грустно. По усам его течет вода.

- Где Семёныч? - спрашиваю я.

- В ГУОШе. Поехал с докладом, повез... пацанов. Обещал вернуться.

- Чего у него?

- Голова цела. Пол уха не хватает.

Дядя Юра нежно хлопает меня по плечу:

- Давайте, родные, надо согреться.

Мы идём в здание. Иногда произносим какие-то слова. Но есть ощущение, что мы двигаемся в тяжелом, смурном пространстве, словно в вате. И произнесенные слова доносятся как через вату. Хочется что-то сделать.

Руслан Аружев, хронический дневальный, не смотрит на нас, смотрит на стол, в журнал дежурств, что-то пометает там.

Пацаны, снявшиеся с поста на крыше, вглядываются в нас, словно по лицам пытаюсь определить, у кого уместно спросить, что с нами было.

Стягиваю с ног берцы, безобразно грязные и сырые носки. С удивлением смотрю на свои белые, отсыревшие пальцы, шевелю ими.

Рядом садится Скворец, тоже разувается. Тоже шевелит пальцами. Сидим вдвоем и шевелим белыми, живыми, пахнущими жизнью, сладкой затхлостью, розовыми пальцами. Мне хочется улыбнуться.

Поднимаю голову, вижу, что Аружева уже нет на посту дневального.

Слышу из коридора его голос, он рассказывает, как шел бой.

«Вот урод», - вяло и без злобы думаю я.

- Надо бы выпить... - говорит Костя Столяр. Я вижу его красивые, красные, пухлые тапки на босых ногах. Поднимаю глаза. На мгновение удивляюсь, почему он не может решить этот вопрос с Шеей, при чём тут я. Но Шея лежит мертвый где-то. На сыром брезенте, - почему-то так представляется мне. На черном и сыром брезенте.

Язва тоже где-то шляется...

«А Семёныч? Разрешил?» - хочу спросить я, но вспоминаю, что Семёныч с прострелянным ухом уехал в ГУОШ. И Чёрная метка убыл, и начштаба Кашкин тоже вослед за Куцым умчался.

- Надо, - говорю.

- Надо, Сань? - спрашивает Столяр у Скворца.

Скворец молчит и смотрит на свои пальцы.

- Плохиш! - зову я.

- Чего, мужики? - спрашивает Плохиш серьезно, без подъёба. Кажется, я впервые слышу, чтоб он разговаривал таким тоном.

- Надо выпить, - говорю, и смутно вспоминаю, что на днях я серьезно напился. Только надо вспомнить, когда это было. Это было меньше суток назад. Вчера ночью. Утром я проснулся со страшного похмелья. И даже хотел умереть. Теперь не хочу.

- Я хочу вернуться к моей девочке, - говорю я вслух, выйдя на улицу, негромко. Слышу чьё-то движение, вздрагиваю. Повернув голову, вижу Монаха. Ссутулившись, он проходит мимо меня. Я даже не понимаю, что я хочу больше - обнять его или жестко ударить в бок, в рёбра.

На улице только что кончил лить дождь, и в воздухе стоит тот знакомый последождевой глухой шелест и шум: такое ощущение, что это эхо дождя, - мягкое, как желе, эхо.

В «почивальне» пацаны знатно устали. Консервы вскрыты, у бутылок водки беззащитно обнажены горла, луковицы взрезаны и слабо лоснятся хрустким нутром, хлеб кто-то нарезал треугольниками. Ржаные похоронки.

Никто ничего не трогает из лежащего на столе. Каждый из парней подтянут и строг.

Мы садимся за стол, переодетые в сухое бельё, с отмытыми, пахнущими мылом руками, в чёрных свитерах с засученными рукавами. Мы молчим. Сухость наших одежд и строгость наших лиц каким-то образом рифмуются в моём сознании.

Мы разливаем водку, и, замешкавшись на мгновение, чокаемся. За то,

что нас не убили. Чокаемся второй раз за то, чтобы нас не убили завтра. Не чокаемся в третий раз и снова пьем.

Молчим. Дышим.

Я беру хлеб, цепляю кильку, хватаю лепестки лука, жую.

Улыбаюсь кому-то из парней, мне в ответ подмигивают. Так как умеют подмигивать только мужчины - обеими глазами, с кивком головы. Иногда мужчины так кивают своим детям, с нежностью. И очень редко - друзьям.

Кто-то у кого-то шепотом попросил передать хлеб. Кто-то, выпив, и не рассчитав дыхания, пустил слезу, и кто-то по этому поводу тихо пошутил, а кто-то засмеялся.

И сразу стало легче. И все разом заговорили. Даже зашумели.

Я вижу Старичкова. Его левая рука прижата к боку. Заметно, что под свитером бок перевязан.

- Чего у тебя? - говорю я, улыбаясь.

Он машет рукой, - ничего, мол, переживём. - Тебе бы домой...

Старичков разливает, не отвечая.

Быстро спьянились. Пошли курить. Я тоже пошел. С кем-то обнимались, даже не от пьяной дури, а от искреннего, почти мальчишеского дружелюбия.

Возвращаясь, слышим, что в «почивальне» уже кто-то разошелся, кричит, что - «я их, блядь... я им, блядь!...»

Смотрим, а это - Валя. Роба его от удара прикладом вспухла необыкновенно, смотреть на него жутко.

- Валя, милый! - говорю я.

- Ну и ебало, - говорит Плохиш.

- Зато теперь их можно со Стёпой различить, - говорит Язва.

Даже ещё не присев, я жадно кинулся есть, макать в банки из под кильки хлеб. Пацаны, вернувшись из курилки, спутали места, на которых сидели. И все мы доедаем друг за другом, из разных тарелок, жуем недоеденный товарищем хлеб и надкусанный соседом лук.

И все разом рассказывают, как оно было, там. Кто, что делал. И выходит, что всё было очень смешно.

- Валя! - шумит Столяр, смеясь, - Ты проткнуть хотел чечена автоматом? Чего не стрелял?

- А ты?

- Боялся тебя прибить!

- А у меня патроны кончились!

- Он мог бы всех положить, и меня, и Костю, и Валу, и Егора, - говорит Андрюха-Конь о чеченце, убежавшем в сады, - Но у него тоже,

наверное, патронов не было...

- У них и стволов-то, слава богу, было... сколько? три? или четыре?

Спорим недолго, незлобно и бестолково, сколько у чеченцев было автоматов, почему они сдались, кончились ли у них патроны, и ещё о чём-то.

Пьем ещё, и, спокойные, решаем идти на крышу. Не спать же ложиться.

На улице вновь полило. По крыше струятся ручьи.

Вылезает под дождь, розовоголовые, тёплые, дышащие луком и водкой.

Андрюха-Конь, разгорячившийся, снял тельник, открылось, белое, парное тело.

Андрюха прихватил с собой пулемёт, держит его в тяжелых руках. Выплёвывает сигарету, которую мгновенно забил дождь. Идёт в развязанных берцах к краю крыши. За несколько шагов до края останавливается и даёт длинную очередь по домам. Тело его светится в темноте, как кусок луны. Наверное, он хорошо виден из космоса, голый по пояс, омываемый дождем.

Стеля, Андрюха-Конь медленно поводит пулеметом.

Кто-то из парней идёт к нему, на ходу снимая оружие с предохранителя и досылая патрон в патронник. Кто-то присаживаются на одно колено у края крыши, кто-то встаёт рядом с Андрюхой.

Я смеюсь, мне смешно.

Вижу среди стреляющих Монаха. Он пьян. Стоит широко расставив ноги:

- Мы куплены дорогою ценою! - кричит Монах и стреляет, - Мы куплены дорогою ценою!

По кругу идет бутылка водки. Мы пьем и раскрываем рты, и в паленые наши пасти каплет ржавый грозненский дождь. Кидаем непочатый пузырь, стоящим у края крыши. Бутылку ловят.

Андрюха пьёт, прекратив ненадолго стрельбу, и отдает бутылку Монаху. Тот допивает, и, закашлявшись, бросает пузырь с крыши, и сам едва не падает - его ловит за шиворот Андрюха.

Пока происходит эта возня, никто из наших не стреляет.

Кто-то менял рожки, Андрюха мочился с крыши, когда из «хрущёвок» раздалась автоматная очередь.

- Ложись! - орёт Столяр. Все, кроме Андрюхи ложатся.

Пока на Андрюху хором умоляли лечь, он убрал член в штаны, и, сказав неопределенно «Сейчас я им на хуй...», дал ещё одну длинную

очередь.

- Мы куплены дорогой ценой! - снова вопит Монах, и я чувствую по голосу, что он от остервененья протрезвел.

Я бегу к пацанам, крича, чтоб они прекратили стрелять. Кого-то из лежащих у края и уже изготавливавшихся к стрельбе, хватаю за шиворот, поднимаю. Толкаю Монаха, крича что-то ему. Повернувшись, он мгновенно смотрит на меня, улыбаясь, и в полный рост, не спеша, уходит к лазу.

Вместе с подоспевшими Столяром и Язвой, мы уводим Андриюху-Коня.

В «почивальне» с горем пополам находим тех, кому необходимо заступить на посты, отправляем наряд на крышу.

Кто-то ложится спать. Столяр что-то шепчет Плохишу, и тот вскоре приносит ещё спиртного. Дядя Юра пытается уговорить нас утомониться.

- Все нормально, Юр! - говорит Столяр. Косте, наверное, уже за тридцать, посему он называет пока не по отчеству, и не «дядя», а просто по имени.

В который раз начинается разговор о случившемся днём, на этот раз повествование ведёт дядя Юра. Он ведь первый узнал, что Шею и Тельмана убили, и он рассказывает, как всё было. И мы ещё несколько раз поминаем парней. Обоих сразу, и по одному. И всех остальных солдат, погибших на этой земле.

Приходит кто-то с наряда на крыше, просит водки.

- Вы там... понятно, да? - строго говорит Столяр и водку выдает.

- Не стреляют больше? - спрашивает Язва.

Отвечают, что нет.

- Только дождь льёт. Холодно. Сейчас с крыши смоем нас.

Бесконечно усталый, усталый, как никогда в жизни, иду спать. Наверное, я так же был ошарашен случившимся, так же устал, и столь же ощущал себя счастливым, когда родился. Какое-то время, взобравшись на кровать, я думаю обо всём этом. И как обычно перед сном, кажется, что из мысли, ворочающейся в голове, должен быть выход, как-то она должна забавным и верным образом разрешиться.

- Ключицы, - одно из самых красивых мест у мужчины, - говорила Даша, и застенчиво улыбалась, - Ты подумаешь, что я сумасшедшая...

- Нет, говори, пожалуйста.

- У многих мужчин они просто безобразны. Но если... если, например, в автобусе, я увижу молодого человека с определенным видом ключиц, я только по ним одним могу определить, что у этого юноши тонкие запястья... что у него вытянутые мышцы живота - продолговатый такой

живот... что, если у него есть растительность на груди - она как у собак (здесь Даша назвала породу) - такая редкая волнистая шерсть.

Я бы хотел, чтобы Даша была художницей, - у неё было зрение. Когда Даша говорила о мужчинах, я чувствовал себя неуютно, я стремился к зеркалу, чтобы увидеть себя ещё раз, но другими, новыми глазами, - я вдруг понимал, что прожил двадцать с лишним лет и не видел своих ключиц.

«Но ведь всё, что она говорит, всё это изощрённое знание, у неё было и до меня, всё это она изучила до меня, любила до меня?» - думал я.

Это стало моей основной целью, - узнать о мужчинах моей девочки всё. Я старательно изображал равнодушие, и задавал, как бы ненароком, наводящий вопрос. Я с удовольствием задавал бы прямые вопросы, (где, когда, как именно и сколько раз), но, я повторяю, она не любила назойливости. Любая беседа должна быть к месту и к настроению. Как одежда. Ничто не должно выливаться в выяснение отношений, тем более, в допрос.

Это могло быть так. Случайно, скажем, по дороге в кафе, зашёл разговор о лошадях.

- Я раньше никогда не кончала, - неожиданно начинает откровенничать Даша, - Я даже думала, что так и должно быть. Я научилась кончать на ипподроме. Когда едешь на лошади - и она меняет шаг, скорость - вот в эти секунды... когдаходишь в ритм езды... это подступает. И у меня стало получаться, - я поняла, в чем дело. Нужно уловить ритм.

И здесь, будто крадучись меж расставленного на полу хрусталя, в разговор вступал я. Получалось плохо, - раздавался звон, видимо, я что-то ронял, но Даша не подавала виду. Может быть, это было ее не до конца осмысленной забавой, - потягивать меня за нервы, (так ребенок оттягивает струны у гитары). Но, скорее, она, действительно, воспринимала всё, что говорила мне, легко.

Мужчины выходили из-за самых неожиданных углов и закоулков ее жизни.

Обмолвившись о ком-либо из них, она, если я просил, всегда рассказывала что-то, однако ее интересовала, по большей части, духовная сторона отношений ее отношений с мужчинами, меня - физическая. Я никак не мог себе представить, что эти губы и эти руки...

Что они были для нее? Кто она была для них?

Семнадцатилетняя девочка, черно-алый цветок, биологическая редкость, лакомый кусочек для психолога за тридцать? Сумасшествие для вернувшегося с зоны рецидивиста? Бесшабашная самочка, изящное существо двадцати лет, которая не откажет очаровавшему ее мальчику,

юнцу?

В ночных клубах, закатившись туда с пьяными друзьями, я высматривал похожих на нее, - брюнеток, с короткими волосами, с почти бесстрастным, чуть строгим взглядом, неестественно изящных, большегрудых. Иногда мне везло, - я видел что-то подобное ей. Они ничего не значили для меня сами по себе. В них я видел ее во временной ретроспективе, - ее до меня. Вальяжные посетительницы ночных клубов, меняющие мужчин в разные вечера, изящно играющие в бильярд, пьющие сок маленькими глотками, целующиеся, закинув голову, в центре танцзала, уезжающие на скользких и лоснящихся, как леденцы, машинах, - неужели это и она тоже? Я безобразно напивался, глядя на них, похожих на нее, но не подходил к ним, никогда.

Позже Даша, когда я поделился с ней своими кабацкими страданиями, заявила, что никогда не знакомилась с мужчинами в ночных клубах, - «это не мой стиль».

«А что - „твой стиль“? - вопил я мысленно, и мысленно бил бокалом о стену».

Милая моя, развратная, божественная, сладкая, какие воображаемые сцены я устраивал.

- Ты говоришь, что ждала меня? Что тебе был никто не нужен? - кричал я. - Ты лжёшь! (О, я был так пошел в своих обвинениях! Даша вполне могла сказать бы мне: «Ты старомоден, как граммофон, Егор!», но она молчала, с интересом поглядывая на меня, быть может, догадываясь о том, что я думаю; иногда легко касаясь моей по бритой в области черепа и небритой в области скул...)

- Это неправда! - клял я ее мысленно. - Бесконечно выпрашивая тебя, я выяснил, что за год, предшествующий моему появлению, ты сменила двенадцать мужчин! Но даже это не самое страшное, - ты ведь не меняла их каждое тридцатое число, каждого месяца. Ты жила с (мысленно я называл имя одного из), а в это время встречалась с цыганом, со своим бородатым психологом, ещё с кем-то, - все они не разделяются временем. В разные выходные одного месяца ты спала с разными людьми! Если бы ты забеременела тогда, ты бы даже не знала чьё дитя ты будешь носить!

- Ты изуродовала меня. Ты создала урод. Я тронут тобой до глубины души. Их лица плывут передо мной, их руки распинают тебя ежедневно в моей голове. Я хочу иметь что-нибудь своё! У меня уже было в интернете всё общее! Я хочу своё!

Я смотрел на неё сумасшедшими глазами и молчал.

- Я так мечтаю зайти с тесаком за пазухой к каждому из твоих

кавалеров. Я так мечтаю собрать классифицированные тобой органы этих мужчин в один пакет. Большой прозрачный целлофановый пакет, будто бы наполненный раздавленными помидорами, - полный яйцами и скурвившимися членами. Я вижу, как я иду по улицам, из пакета капает на асфальт, а мимо меня проносятся машины скорой помощи, спешащие в те дома, где я только что был. Я хочу принести этот пакет тебе и сказать: «На! Это - твоё!»

- Что с тобой, Егор? - прерывая мои до неприличия патетичные внутренние монологи, спрашивала ты, когда я открывал тебе дверь в кафе, чтобы пропустить тебя.

- Егор? Что случилось? - ещё раз спрашивала ты, видя мою унылую физиономию.

Мы любили ходить в кафе. Когда у нас не было денег на кафе, мы сдавали в ломбард мой золотой кулончик или какие-нибудь бирюльки, которые дарили Даше ее мужчины.

- А это кто подарил? - по обыкновению спрашивал я, когда Даша извлекала из своей очень маленькой сумочки, помещавшей, однако, массу полезных вещей, очередное украшение.

- Знакомый один.

- Какой знакомый?

- Я тебе о нем рассказывала...

И она называла ещё одно имя.

Я перебирал эти имена в голове, зачем-то перебирал их всё время, может быть, выискивая смысл в их последовательности. Но смысла не было.

Даша серьезно подходила к выбору блюд в кафе. Она заказывала много всего. Я мучился опасениями, что у нас не хватит денег, и скользил глазами не по названиям блюд, а по ценникам, и только натыкаясь на приемлемую цифру, читал написанное слева от цифры, («...так-с... Это у нас, что такое дешевое? Зажигалка... Читаем снова. Это дорого, это дорого, это дорого... Всё. Так, ещё раз...») Тем временем Даша уже диктовала официанту заказ, и я вздрагивал от каждого названия. Дашу, судя по всему, вопрос расплаты не волновал совершенно, - она пришла отдыхать.

Зараженный ее спокойствием, я тоже успокаивался и смотрел на нее.

- Я так хотел бы, что бы ты сбылась для меня, той, как я тебя задумал, - мечтал я. - Я бы вернулся в этот город, и ты бы тоже была там, вся та же, с тем же взглядом, с той же походкой, в тех же голубых джинсах, в той же немыслимых цветов курточке. И пусть бы у тебя к этому времени был парень, пусть было бы у тебя несколько парней, - у любой девушки может

быть парень или несколько парней. Но зачем тебе столько мужчин? Пусть они исчезнут. Пусть они не дойдя до тебя, - пятнадцатилетней, семнадцатилетней, девятнадцатилетней, - нескольких шагов, - лопнут, как мыльные пузыри.

...Приносили заказ, - сначала салатики. У меня всегда был здоровый солдатский аппетит, посему, пауза между салатиками и вторым меня раздражала и томила. Как правило, к тому времени, когда приносили мясо, салатик я уже съедал, и минут десять тщетно пытался найти место для опустевшей тарелочки. Даша, напротив, ела аккуратно и медленно, ни секунды мне не казалось, что она растягивает время до того, как принесут следующее блюдо, всё получалось у нее предельно естественно, - к моменту появления на нашем столе дымящихся тарелок, Даша как раз заканчивала с салатом, и ей не приходилось, как мне, двигать тарелочку из-под салата с места на место, - потому что ее сразу забирал официант.

Задав необходимое для моего внутреннего успокоения количество вопросов, я на какое-то время успокаивался, ненадолго.

Ещё глубокой ночью я почувствовал, что хочу отлить, но поленился вставать. К утру желание стало нестерпимым.

Я открываю глаза и вижу пальцы своих ног, они немного ссохшиеся, словно виноград, полежавший на солнце.

«Пацанов убили, - думаю я, и морщусь. - Господи, как хуёво, что их убили!» - хочется мне закричать.

Все спят. Дневальный заснул. Никто не храпит.

- Никто не храпит, - говорю я вслух, пытаюсь незначащими словами отогнать жуткую, повисшую летучей мышью в горле тоску. - Никто не храпит, - повторяю я, - Быть может, мы ангелы?

Вроде бы с улицы доносится чей-то крик, гортанный. Показалось, наверное. Но я всё же возвращаюсь к кровати, попрыгивая на ходу от желания помочиться, хватаю автомат, и бегу вниз. В коридоре вижу пацанов с поста на крыше, - спят, черти. Дождь согнал их сюда.

Спеша вниз, я пинаю кого-то из лежащих, ругаюсь матом, - говорю, чтоб немедленно отправлялись на пост. Тот, кого я пнул, отвечает мне что-то борзым, полупьяным голосом.

Расстегивая ширинку и притоптывая на ходу, я выворачиваю с площадки между вторым и первым этажом, и вижу бородатых людей, волокущих полуголого мужика из туалета. Дергаюсь, как ошпаренный, назад, и понимаю, что полуголый человек, - это дядя Юра. Сквозь сон я слышал, как он вставал, тоже, наверное, в туалет пошёл.

Снимаю автомат с предохранителя, передергиваю затвор.

Я выглядываю ещё раз и даю очередь по верху, чтобы не попасть в дядю Юру. Два чечена тащат его под руки, у него спущены штаны. Мне кажется, что чечены даже не дёрнулись когда я выстрелил.

Увидев меня, чечен, стоящий у туалета, широко улыбаясь, даёт длинную очередь от живота. Известка летит на меня, присевшего, и, кажется, накрывшего голову рукой.

- Пацаны! Пацаны, ёбанный в рот! - каким-то не своим, дурашливым криком блажу я, - Тревога!

Дожидаюсь, когда стрельба прекращается, и, поднявшись, едва выглянув, снова бью из автомата по верху.

- Ну-ка, оставьте его, суки! - кричу я, но в коридоре уже никого нет. Кто-то мелькает, исчезая в дверях школы.

- Пацаны! Мужики! - воплю.

Кто-то едва не сшибает меня, сбегая по лестнице.

- Чего? Чего?

- Тихо, там чечены! Там дядя Юра! Они его утащили!

Мы все орём, словно глухие.

- Сколько их?

- Хер его знает! Я троих видел...

- Что с дядей Юрой?

Я не отвечаю.

- Двоим стоять здесь - держать вход, - приказываю.

Бегу в почивальню. Слышу за спиной выстрелы. Стреляют с улицы. И наши отвечают.

Громыхает взрыв, тут же ещё один, непонятно где.

- Язва! Хасан! - ору. - Столяр!

Костя выскакивает навстречу в расхлябанных берцах.

- Чего? - спрашивает меня Столяр.

- Чечены дядю Юру утащили. Из туалета.

- Какие чечены? Откуда?

- Я ебу, откуда. Вооруженные...

- Ты стрелял?

- Я стрелял. По верху, чтоб дядю Юру не убить. Надо на крышу идти!

- А где пост? - округляет глаза Столяр. - Где наряд?! - орёт он. - Где дневальный?

Я накидываю разгрузку. Руки трясутся, будто у меня припадок.

- Чего, чего? - спрашивают все.

Подбегаем к окну, смотрим в бойницы.

С улицы бьют по бойницам. Все присаживаются, кроме Андрюхи-Коня, который, не взирая на пальбу, ставит пулемет на мешки, и начинает стрелять по улице.

Пацаны кидают гранаты, одну за другой. Кажется, за минуту мы их перекидали больше полусотни.

Астахов бьёт из «граника» по двору.

Начинают работать, жестоко громяхая, автоматы.

- Вон побежали! - выкрикивает кто-то.

- Кто побежал?

Ничего никому не понятно.

- Аружев! Связаться со штабом! - орёт Столяр. - Язва, брат! Давай на крышу, возьми своих! Рации все берите. Есть там кто у входа? - спрашивает у меня.

- Есть. Плохиш, ещё кто-то.

Столяр посылает Хасана ко входу.

Все сразу и с удовольствием слушаются Столяра.

Я бегу на крышу, - мне хочется что-то делать. В рации - шум, мат, треск. Стоит беспрестанная пальба.

Вылезаю наверх.

Шевеля всеми конечностями ползу к краю, к бойницам. За мной ещё кто-то. Оборачиваюсь, хочу сказать, чтобы к другой стороне крыши, где овраг, тоже кто-нибудь полз, но Язва уже приказал кому-то то же самое.

Высовываю голову и сразу вижу на школьном дворе, у самых ворот дядю Юру.

- Мать моя... - говорит кто-то рядом.

Словно увидев нас дядя Юра, бесштаный, голый, шевелит, машет обрубленными по локоть руками, и грязь, красная и густая, свалившаяся в жирные комки, перекачивается под его культиями. Дядя Юра похож на пингвина, которого уронили наземь.

«Руки измажет!» - несуразно, и, чувствуя то ли головокружение, то ли тошноту, то ли накатившее безумие, подумал я.

Вдруг понимаю, что никто уже несколько мгновений не стреляет. Наверное, пацаны в «почивальне» тоже увидели дядю Юру.

«Когда ж они успели...» - думаю, глядя на дока.

- Аллах акбар! - выкрикивает кто-то, не видимый нам, за воротами. Крик раздается так, словно черная птица вылетела из под ног, - неожиданно и вызвав гадливый и пугливый озноб. В проёме раскрытых ворот появляется чеченец, и дает несколько одиночных выстрелов в пухлую спину дяди Юры.

Кто-то из лежащих на крыше стреляет в чеченца, но он, невредимый, делает шаг вбок, за ворота, и исчезает. Мне даже кажется, что он хохочет, там за забором.

Дядя Юра ещё раз шевельнул обрубками, как плавнями, катнул грязную бордовую волну, и затих, с дырявой спиной.

Язва заряжает подствольник гранатой и прицелясь, стреляет.

- Недолёт, - зло констатирует он, когда граната падает метрах в десяти от забора - во двор. Комья грязи падают на спину дяди Юры.

- Растяжки! - рычит Язва, - Они за ночь все растяжки сняли у забора! Мы всё проспали!

Несколько чеченцев, не дожидаясь, когда граната упадёт им на голову, отбегают к постройкам.

В них стреляют все, находящиеся на крыше. Автоматы бьются в руках, захлебываясь от нетерпенья.

«Мимо бьют все, мимо...» - думаю.

Я не стреляю. Беру бинокль у Язвы, и, смирив внутренний озноб, смотрю вокруг. Едва направив бинокль на «хрущёвку», я вижу перебегающего по крыше человека.

- Берегись! - ору я, - На крыше «хрущёвок» чеченцы!

Язва, слыша меня, не пригибается, и ещё раз стреляет из подствольника.

Я ругаюсь матом вслух, злобно, пытаюсь разозлить себя, заставить себя смотреть.

Ещё раз поднимаю бинокль, и не в силах взглянуть на «хрущёвки», смотрю на дома, стоящие слева от школы, возле дороги.

Язва ложится на крышу, губы его сжаты, глаза жестоки. Несколько пуль попадает в плиты бойниц, мы слышим.

На левый край школы падает граната, - никто даже не успевает испугаться, - все разом дергаются, потом, подняв головы, смотрят на место взрыва, - там никого не было, - а затем друг на друга. Все целы.

- Подствольник, - говорит Язва. - Из подствольников бьют.

- Это чего у тебя? - спрашивает Стёпка Чертков у Язвы.

Гоше в ботинок воткнулся осколок.

Он вынимает его пальцами.

- Надо уползать! - говорю я, но не успеваю до конца произнести фразу, потому что слышу, как по рации, чудом прорвавшись сквозь общий гам, не своим голосом кричит Столяр:

- Язва! Язва, твою мать! Чеченцы в школе!

- Слева стреляют! - голосит кто-то из пацанов на крыше. - Вон из тех

зданий! - и указывает на дома у дороги.

У меня холодеют уши: я слышу, как над нашими головами свистят пули. Мерзкие кусочки свинца летают в воздухе с огромной скоростью, и от их движения происходит легкий, отвратительный свист.

- Уходим отсюда! - говорит Язва.

«Куда уходить? - думаю я, - Может, там уже всех перебили?»

Крыша видится мне чёрной, гиблой льдиной, на которой мы затерялись, оторванные от мира.

Ковыляя, никак не способные придумать, как же нам передвигаться, - ползком, на карачках, гусиным шагом, в полный рост, прыжками, кувырками, - мы движемся к лазу.

Задевая всеми частями тела обо всё, скатываемся по лестнице. Внутри школы раздается непрерывный грохот, словно там разместили несколько заводских цехов по сборке металлоконструкций.

Я ещё не слез, стою на лестнице, боясь наступить на голову нижестоящему, на меня кто-то, обезумев от спешки, валится. Сапогами, ногами, коленями бьёт меня по темени, сдирает скальп, уши, карябает, терзает шею, давит меня. Держась одной рукой, на которой висит автомат, за лестницу, я поднимаю другую, пытаюсь остановить того, кто сверху, кричу что-то при этом. Но тот, кто сверху, не останавливается, мне кажется, он садится мне на голову, хочет меня оседлать, я склоняю голову, сгибаюсь, и он переваливается через меня, едва не отодрав мне уши. Он падает вниз, лицом на каменный пол, переворачивается на бок, и я вижу Стёпу Черткова, с деформированной, мертвой головой.

- Стёпа! - вскрикивает кто-то.

«Что же это...» - думаю, и не успеваю додумать. Спрыгиваю, переступаю через Стёпу.

- Берите его! - говорит Язва.

Стёпу пытается поднять Монах.

- Погоди! - говорю я, и с помощью Монаха снимаю со Стёпы разгрузку. Одеваю ее поверх своей.

Монах вскидывает Стёпу на плечо. Стёпина голова свешивается вниз, волосы словно встают дыбом, и все они слипшиеся, в чёрной, густой крови.

Я поднимаю Степкин автомат. Спешу, отяжелевший, за Язвой. Мы заглядываем в коридор, но никого не видим.

Язва вызывает Столяра. Костя сразу откликается.

- Коридор чистый? - спрашивает Язва.

- Да! Чистый! - отвечает Столяр.

Бежим в «почивальню».

Бросается в глаза огромная спина Андрюхи-Коня, его белые руки на пулемете. Он надел разгрузку на голое тело.

Несколько пацанов стоят у бойниц, беспрестанно стреляя. На полу - сотни гильз.

- Чего? - кричит Столяр, глядя на Стёпу Черткова.

Монах молча сваливает Стёпу на кровать. Щупает у него пульс. Какой там пульс, вся голова разворочена. Из пулемета, что ли...

- Кто прорвался? - спрашивает Язва.

- Влезли... - начинает Столяр, и обрывает себя, всматриваясь в мертвое лицо Стёпы. - Влезли, - продолжает он, будто сглотив, - на первый этаж двое... Их Плохиш гранатами закидал.

- А может они ещё где? - спрашивает Язва.

- Не знаю. Я отправил своих и ваших по классам, по два человека. У всех рации есть.

- Чего, отошли они, Кость? - спрашиваю я.

- Вроде...

- ГУОШ отзывается? - спрашивает Язва.

- Хули отзывается... Говорят, сидите, ждите, они в курсе.

- Чего «в курсе»?

- Да не знают они не хера! Может, чечены опять город берут? Может, в ГУОШе также сидят, как и мы, запертые?

Я подхожу к Андрюхе. От него, кажется, валит пар. Он возбужден. На белом лбу ярко розовеет небольшой угорь.

- Чего там? Куда бьешь? - кричу я.

- По «хрущёвкам», - отвечает Андрюха злобно, ответ я угадываю по губам. - Все стреляли, никто не попал! - говорит он, уже о другом - о нас. - Их, бля, человек двадцать было во дворе. А мы сначала обоссались все, потом окосели все на хуй!

«Мы обоссались, а он нет», - думаю я об Андрюхе.

Аружев сидит у без умолку гомонящей и, кажется, готовой треснуть рации, неотрывно глядя на мертвого Стёпу. Монах стоит рядом с кроватью, и тупо смотрит на свой ботинок, весь покрытый кровью, Стёпиной, застывающей...

Дима Астахов, возле которого стоит труба гранатомета, оглядывается на мгновение, глядывается в Стёпу, и снова стреляет, серьезный и сосредоточенный.

Столяр начинает поочередно вызывать всех, кого разогнал по кабинетам, спрашивая, как обстановка.

Я слышу голос Скворца. Кличу его, дождавшись пока Столяр закончит проверку:

- Ты где? - спрашиваю, прибавляя громкость рации на полную.

- Рядом с «почивальней», в соседнем классе, - слышу далёкий Санин голос.

Иду к Скворцу, предупредив Столяра.

- Егор! - говорит мне Столяр вслед, - Все посты обойди! Посмотри, что где. Доложишь.

Я выхожу из «почивальни», и останавливаюсь в коридоре. Прижимаюсь спиной к стене, смотрю вокруг. Вся школа вибрирует, мелко дрожит, сыплется известью. Вдруг вспоминаю, что у меня до сих пор расстегнута ширинка, - с того момента, как я увидел дядю Юру. Застегиваюсь ледяными, негнущимися пальцами. Помочиться не хочется. Дую на руку, пытаюсь отогреть пальцы.

Дверь в комнату, где находится Скворец, открыта. Юркнув в помещение, согнувшись, подбегаю к Скворцу, присаживаюсь у стены. Достая сигарету.

Саня, дав, не глядя в окно, короткую очередь, встает у окна боком, ко мне лицом.

Я киваю ему головой, - как, мол? Пытаюсь улыбнуться, но не выходит.

Саня смотрит на меня, не отвечая. Лицо его, покрытое белой и серой пылью, кажется, спокойно, лишь щека чуть дергается.

Прикуриваю, затягиваюсь. Вкуса у сигареты нет. С удивлением смотрю на неё, и, тут же забыв, зачем смотрю, хочу бросить. Останавливаю себя в последнюю долю секунды, чтобы проверить, глядя на сигарету, не дрожат ли пальцы у меня. Не дрожат.

- Ну, чего? - говорю я вслух.

- Обстреливают. Вон - попали, - Саня показывает на выщербленную стену напротив окна. - Сейчас пристреляются и...

- 7,62... - говорю я, глядя на стену. - Если из 5,45 жажнут, может отрекошетить по заднице.

Кеша молча смотрит на меня, он стоит у другого окна, держит в руках «эсвэдэшку».

- Чего ты тут делаешь, снайпер? - обращаюсь я к нему, - Тебе позицию надо... Иди к Столяру, пусть он тебе место найдёт.

Кеша выбегает, высокий, с длинной винтовкой, которую он иногда раздраженно, иногда нежно называет «веслом».

- Пойдём со мной. По постам, - говорю я Сане.

Выбегая, краем глаза, я вижу, как от простреливаемой стены летят

куски покраски, битый кирпич.

Когда тебе жутко, и в то же время уже ясно, что тебя миновало, - чувствуется, как по телу, наступив сначала на живот, на печёнку, потом на плечо, потом ещё куда-то, пробегает, касаясь тебя босыми ногами, ангел, и стопы его нежны, но холодны от страха.

Ангел пробежал по мне, и, ударившись в потолок, исчез. Посыпалась то ли известка, то ли пух его белый.

Я оглядываюсь на дверь комнаты, где мы только что были. Машинально трогаю стены, - не картонные ли они, - а то сейчас пробьёт навывлет.

Мы бежим по коридору. На площадке между первым и вторым этажами пацаны поставили два стола, привалили их мешками с песком. Руководит всем Хасан. Рядом Плохиш сидит, ухмыляется. Ещё Вася Лебедев и Валя Чертков, с распухшей хуже вчерашнего рожей, бордовое месиво совершенно залепило правый глаз.

«Убили братика твоего, Валя», - хочу я сказать, но не могу.

- А у нас тут чечецы, мочёные в сортире... - говорит Плохиш.

Зная, что у Плохиша спрашивать что-либо бесполезно, обращаюсь к Вальке:

- Чего случилось?

- А пробрались двое... В туалет влезли, в окно. Плохиш прямо к туалету подбежал, кинул две гранаты. Потом зашёл туда, вон автоматы притащил...

Гордый, что есть такие пацаны в мире, я смотрю на Плохиша...

- Всё в говне, и в мозгах... - начинает Плохиш, и тут же оборывает себя, - Слышь, Хасан, давай твоим братьям бошки отпилим? Хули они, дядю Юру обкарнали всего?

Хасан кривится и не отвечает.

Плохиш, вытаскивает нож, хороший тесак, и, косясь на Хасана, начинает им забавляться, колупать стол.

- Ну, бля, будут они атаковать? - говорит Вася Лебедев спокойно, и я удивляюсь его спокойствию, - неужели ему хочется, чтобы кто-то полез сюда!

- Чего там? - спрашивает у меня Вася, имея в виду положение дел на крыше, в «почивальне»...

- Сюда ведь могут из гранатомета ебануть. От ворот. Или если в упор к школе подбегут, - говорю я, не отвечая, чтобы не обмолвиться о Стёпке Черткове.

- Учтём, - говорит Вася Лебедев.

- А вы там на хуй сидите? - спрашивает Плохиш, - «В упор к школе!» Вы хер ли там делаете? Спите, что ли? Как там дела, у тебя спросили.

- Нормально, - отвечаю я.

- Если они подбегут, мы им Валю покажем, они охуеют, - говорит Плохиш.

Мы все смотрим на Валю, на его искаженное, вздутое, бордовое, одноглазое лицо.

- Ты целиться-то можешь? - спрашиваю я.

- А чего ты в двух разгрузках? - перебивает меня Плохиш, - Ты лучше бы запасные трусы одел.

Вася Лебедев косится на меня, иронично, но добро, и Валька Чертков готов засмеяться, хоть ему и больно это делать, но неожиданно обрывает себя.

- А это ведь Стёпкина разгрузка, - говорит он, - Ты чего?...

Валя смотрит на меня, пытаюсь раскрыть второй, затекший глаз, рот его чуть приоткрыт, он хочет ещё что-то сказать, но ждёт меня.

Я смотрю на Валю, сжав скулы.

- Иди. Он в «почивальне», - говорю я.

Валя хватает автомат и бежит.

Пацаны смотрят на меня.

- Убили Стёпу, в голову, на крыше, - говорю я и закуриваю.

Пацаны тоже закуривают.

- Надо связь держать, - говорит Хасан, помолчав, - А то сейчас из ГУОШа подъедут, а вы своих же перестреляете. Куда там все палят?

- Известно, куда, - говорит Плохиш, и, подняв автомат над своей круглой башкой, положив его на мешок, сам не высовываясь, скорчив умильную испуганную рожу, затряс им, как отбойным молотком. - Они не смотрят, - поясняет он свою пантомиму. - Им не интересно.

Я улыбаюсь, и думаю одновременно, что, - как это странно, - вот Стёпу убили, а Плохиш все придуряет, и мы улыбаемся, и вот меня тоже убьют, и будет то же самое... Ну не будут же все рыдать, сжимая береты в руках. Да и надо ли мне это?

- Стёпу жалко, - говорит Саня, единственный, кто не улыбается.

- Ничего, - отвечает Вася Лебедев, и не заканчивает фразы. Нет, он не хотел сказать, что всё это, мол, ерунда, - он хотел сказать, что Стёпу мы помним, и сделаем всё, что бы...

И все поняли, что Вася сказал.

- Учтём, Саня, - говорит Вася, и толкает Скворца в плечо.

Мы встаём и уходим, я и Саня.

В большой классной комнате, смотрящей в овраг одними окнами, а другими - на правую сторону школы, на пустыри, пацаны говорят нам, что чеченцы сорвали растяжку в овраге.

- Одного раненого видели! - кричат возбужденно, - Его аж подбросило. И заорал! Они полезли за ним, мы ещё одного подстрелили. А они потом как дали из «граника»! И не попали! Но все стекла на хер вылетели...

- Чего там слышно из ГУОШа? - спрашивают меня.

- Ничего. Приедут, наверное. Вызвоят.

Мы заглядываем ещё в несколько комнат. Все целы, стреляют или снаряжают магазины.

«Уже скоро, наверное, приедут, - думаю я о помощи из ГУОШа, - знают же они, что мы тут окружены. Должны нас вытащить отсюда. Главное, чтоб не убили, когда мы будем выезжать».

«Может быть, нас не будут штурмовать, - ещё думаю, - Дядя Юра и Стёпка, и всё - больше никого... Зачем мы полезли на крышу? Пересидели бы. Кто предложил на крышу идти?»

Не могу вспомнить.

«Или, наоборот, не надо было с крыши уходить? Что мы стали так суесться? Как глупо всё...»

Мне не очень страшно. Вовсе не страшно.

«А почему Стёпа последний спускался? Ведь должен был я последним уходить. Или Язва...»

Отмахиваюсь от мысли. Потом, всё потом. Так получилось.

Воздух в комнате треснул, метнулся по углам, уполз в щели. Во все стороны густо и жёстко плеснуло песком, полетело щепь и стекло. Сетка, висящая на окнах, затряслась. Язву отбросило, он с грохотом упал на пол, на спину, и остался лежать, с раздробленным лицом, в котором, как мне показалось, шевелил раскрываемыми губами похожий на рыбий рот.

В бойницу, в мешки и плиты, вlepили заряд гранатомета. В ушах звенит.

Тут же под окном гакнул и осыпался ещё один взрыв. И сразу ещё один.

Андрюха-Конь, вытерев голой рукой лицо, едва расщурив глаза, вновь встаёт к пулемёту. Вслепую дав очередь, он вновь трёт глаза.

- Второй номер! Лента! - орёт он, и снова трёт глаза. Я вижу под его глазами красные кровоточащие борозды, глаза тоже смазаны красным, и, кажется, веко порезано, - наверное, в его ладонь впился кусок стекла, и он трёт себя этой ладонью, не замечая.

- Они идут! - кричит кто-то.

Глядя в окно, я вижу перебегающие фигуры, много.

«Господи! Господи, как их много!» - хочется заорать.

Кажется, что чеченцы движутся неспешно. Да, они неспешно бегут, прямо к нам. Зачем они сюда, к кому?

Один из бегущих, выхваченный моим суматошным зрением, прячется за сараюшку, где располагается кухонька Плохиша, присаживается, и, скалясь, кладет гранату в подствольник.

Прицеливаюсь и стреляю, в присевшего за сараем удобно стрелять - по диагонали, спрятавшись за стену. Чеченец дергается, но, не боясь выстрела, выворачивается в мою сторону и... Не знаю, стреляет ли он, - я отстраняюсь, поднимаю вверх автомат.

«Косая тварь...» - ругаю себя.

И снова: «Зачем они бегут сюда?»

Торопясь, словно опаздывая, стреляем.

- Граната! - вскрикивает кто-то рядом со мной.

Вскидываю взгляд, стремясь увидеть легкий овальный слиток, готовый разорваться, и вижу. Граната бьётся в сетку на окнах и падает назад, вниз, под окна школы.

Услышав уханье разорвавшейся гранаты, и надеясь, что взрыв отпугнет чеченцев, я снова пытаюсь выстрелить, но рожок пуст.

И другой, привязанный синей изолентой к вставленному в автомат, тоже пуст. Бросаю их Аружеву, к его столу, где он сидит у радики и снаряжает пацанам рожки.

- Руслан, быстрее! - кричу.

Он смотрит на меня озлобленно, загоня патроны в чей-то рожок.

Я смотрю вокруг, замечаю автомат Язвы, под кроватью Сани Скворца. Подбегаю туда и вижу чей-то носок.

«Мой или Саньки?»

Отстегиваю от Гошиного автомата рожки, - вижу, что один полный, а в другом - последний патрон. Пристегиваю к своему, смотрю на спины, на лица пацанов. Они перебегают от окна к окну: мокрый, с бешеными глазами Столяр, взвинченный Федька Старичков, Кизя, с алюминиевыми, спокойными скулами и тонкими губами, Дима Астахов, повесивший трубу гранатомета за спину, Валя Чертков с одним глазом раскрытым до предела и другим, совсем не видным, Скворец...

- Андрюха! - ору я Суханову, который так и не сходил с места. - Смени позицию!

Андрюха-Конь хватает пулемет за ствол, и перебегает.

«Он же руку сожжет!» - мелькает у меня в голове.

Присев на корточки, я примериваюсь, куда мне встать, и вижу чью-то руку, цепляющуюся за сетку, - чёрную лапу с крепкими ногтями в грязной окантовке. Вслед за рукой появляется лицо, вполне довольное, обильно бородатое. Другой рукой, взобравшийся прямо к «почивальне» чеченец кладет в бойницу, от которой только что отошёл Андрюха-Конь, автомат, и я вижу, как ствол начинает подпрыгивать на кладке бойницы, стреляя в глубь «почивальни».

Бегу к окнам, зачем-то бегу к этому лицу, делаю, кажется, два прыжка и стреляю почти в упор в бороду. Палец мой изо всех сил тянет на спусковой крючок, но автомат больше не стреляет: суматошно я вставил тот рожок, где был последний патрон. Вытаскиваю из разгрузки гранату, срываю кольцо, бросаю ее в бойницу, вслед упавшему, словно боясь, что он снова полезет вверх.

«Ползут как коларадские жуки...» - думаю я, в голове мелькает детская картинка, какая-то сельская дорога, конец августа и коларадские жуки, уныло уползающие с картофельного поля, и мои детские ноги в красных сандалиях, подошвы которых уже покрыты влажной коркой жуциных внутренностей, с вклеенными в едко пахнущее месиво

полосатыми, желтыми крылышками.

- Семёныч на связи! - выкрикивает Аружев.

- Семёныч! - орёт стреляющий Столяр, не отходя от бойницы, - Семёныч! - ревёт Костя, словно Куцый может его услышать. - Они в окно к нам лезут, Семёныч! Прямо в окно! Вы где там, бляди?

Аружев, подумав мгновенье, вытягивает руку, с зажатым в ней динамиком, и большим пальцем нажимает на тангенту, - давая Семёнычу послушать Столяра. Если, конечно, можно здесь что-то услышать.

Астахов, как ужаленный, отскакивает от бойницы, приседает, держа себя за голову.

К нему кидается Скворец.

Астахов убирает руку, кажется, в голову ему попал осколок. Течёт кровь, Астахов зло морщится. Скворец танцующими руками бинтует его. Наверное, Астахову кажется, что бинтует слишком долго, он вырывает бинт из Саниных рук, связывает концы, и возвращается к бойнице. По его шее течет кровь. Лицо у него страшное, взгляд -дикий.

Столяр, пригибаясь, бежит к Аружеву, поскальзывается на гильзах, переворачивается через голову, и, сидя у ног Аружева, выходит на связь.

- На приёме! - кричит он, назвав свой позывной.

Я не слышу, что говорит Семёныч.

- Нас штурмуют! Мы в осаде! Три «двухсотых»! Дока убили! - выкрикивает Столяр, кажется, тоже не услышавший Семёныча.

- Когда будете? У нас раненые! Когда помощь? - кричит он, подождав.

Слушает ответ.

- Не понял!

Ещё слушает.

- Кашкин не приезжал! Я за старшего!

Опять слушает. Бросает рацию на стол.

- Снаряжай, хули сидишь! - орёт он на Аружева.

Заставляю себя выглянуть в окно. Кидаю ещё одну гранату, и будто в отчаянье, стреляю, поводя автоматом во все стороны, пытаюсь хоть что-то увидеть, и в то же время уверенный, что вот сейчас, прямо сейчас вот, в следующую секунду получу в лоб пулю.

Дима Астахов бьёт из «мухи» в сарайчик Плохиша. Во все стороны летят доски, банки. Отстраняюсь от бойницы, словно вынырываю. Хватаю воздуха, и снова стреляю. Я вижу несколько человек, отбегающих к воротам. Быть может, мне мерещится... И ещё нескольких, лежащих на земле, в грязи. Неужели мы их всё-таки убиваем?

...Патроны, кончились патроны, рожок пуст.

Нырря возле бойниц, подскакиваю к Аружеву. Беру свои уже снаряженные рожки, и только здесь вспоминаю, что у меня в боковых карманах разгрузки лежат ещё два рожка, не тронутые.

- Аружев, к окну! - орёт Столяр.

Тот, нервно схватив автомат, пытается встать, но автомат цепляется ремнем за стол.

Приседает у бойницы Кизя, падает на колени. Никто к нему не спешит, - может, не видят. Бегу к Женьке, он держит себя за плечо. Сквозь Женькины пальцы, толчками бьётся кровь.

Аружев начинает орать, я не разбираю ни слова, но понимаю, что ему не нравится всё происходящее вокруг, не нравимся мы, и он не хочет идти к бойницам и стрелять.

Не знаю, что делать с Женькой. Перевязать надо? Нет, укол, сначала укол. Кажется, я говорю вслух.

- Женья! - говорю я, едва слыша свой голос. - Сейчас, Женья!

Лезу в задний карман разгрузки за индивидуальным пакетом.

- Скворец, помоги! - прошу я, боясь, что обязательно что-нибудь спутаю. - Саня! Санёк!

Делая укол, раскручивая бинт, при этом поглядывая на кривящегося в муке Женьку, лоб которого покрывается крупным потом, ошалевший от грохота, с липкими и красными руками, оставляющими следы на разматываемых бинтах, которые все равно сразу насквозь пропитываются кровью, как только я их криво и путано прикладываю к Женькиному плечу, пропуская под мышкой, и, передавая Сане, сидящему за спиной Жени, - вот в эти мгновенья, я вдруг понимаю, что всё происходящее погружает меня в состояние некоей одурелой невесомости. И я начинаю видеть вокруг себя всё, кажется, что я вижу даже то, что происходит у меня за спиной.

Вижу мертвого Стёпу Черткова, лежащего на кровати, повернувшего в сторону окон деформированную голову, и его брата, Валю, который, отстреляв, меняя рожки, смотрит на Стёпу неотрывно. И я вдруг понимаю, что они похожи с братом, - сейчас ещё больше, чем когда один из них был жив, - своими бордовыми, одноглазыми, страшными лицами.

Дима Астахов, идёт за рожками к столу, где все ещё кричит Аружев. Подойдя, Дима бьёт Аружеву в лицо, очень спокойно и очень сильно, и тот падает, сшибая стул, и рацию, и ещё что-то. Взвизгнув, выскочил из под Аружева Филя, оказывается лежавший где-то возле.

Аружев пытается подняться, и даже поднимает вверх автомат, но Астахов, перешагнув через стулья, вырывает у него ствол, и наступает ему на лицо. И даже не убирая ногу, которую силится сдвинуть Аружев,

отстегивает рожки от его автомата, и вставляет в свой. Тельник Астахова бурый, сохлый, пропитавшийся кровью, текущей из-под кривой повязки его на голове.

Федя Старичков, сделав короткую очередь, отбегает в угол. Уверен, что его ранило, - но его рвёт.

И ещё вижу Столяра, который вызывает по рации Кешу Фистова, отправленного им на чердак, к чердачному окну.

- Кеша! - кричит Столяр в рацию. - Работай по «хрущёвкам»! Там снайпер!

Ритм сердца, ритм восприятия, ритм происходящего схож с ритмом движения ложки или нескольких ложек, положенных в кастрюлю ребенком, бегающим по квартире с этой кастрюлей, с целью произвести как можно больше шума.

И, наверное, надо просто успокоиться, принять какие-то решения, но как трудно это сделать, как трудно.

- Ташевский! - кричит Столяр. - Вниз, к Хасану надо сходить! Не отзываются они! Может, чехи в школе! И к Фистову зайди, тоже молчит. Всю школу обойди!

Мы тащим скривившегося от боли Женьку к кроватям, укладываем его.

- Пойдем, Саня! - зову Скворца, пытаюсь перекрычать грохот, - Магазины полны? Гранаты есть?

- Рация! Рацию проверь! - орёт Столяр, - не слыша слов, я угадываю по его губам и по жестикуляции, о чём он говорит.

«Что там, на улице? - думаю, - Где они?»

Не хочется смотреть в бойницу.

Не хочется бежать вниз, к Хасану.

Ни в чём себе не признаваясь, бессовестно глупя, направляюсь сначала на чердак, подальше от ужаса, от огня, как кот на пожаре.

Бегу и матерю себя за страх безбожный.

«Всё нормально! Сейчас к Кеше забежим и вниз!» - клянусь себе.

Кажется, что со стороны оврага вообще нет стрельбы. Значит, мы не окружены? Быть может, нам стоит уйти? А как же пост? Школа, что ли, - пост? Кому он на хер нужна? Что вообще мы тут делали?

- Кеша! - удивляюсь я, забравшись на чердак. - Ты чего?

Кеша сидит у самого выхода, сжимая в руках винтовку.

- Я снаряжал, - отвечает Кеша. Возле ног его рассыпаны патроны.

- Чего ты «снаряжал?» Ты почему не на позиции? Кеша, сучий сын, быстро, блядь, на место!

Крича, я возбуждаю себя, и сам забываю, что трусил только что.

Кеша послушно ползёт к одному из мелких окошек, обложенному мешками с песком. Мешки сверху придавлены короткой плитой, которую мы в муках притащили сюда ещё в первые дни после приезда.

Я хочу ещё что-то прокричать ему в спину, злобное, но не кричу, - мне кажется, что сейчас не надо кричать. Хочу сказать ему, что убили Язву и ранили нескольких парней, но боюсь его напугать, боюсь, что едва мы уйдем, он снова забудется куда-нибудь в угол.

- Кеша, я прошу тебя. Поработай, брат.

Кеша, не оборачиваясь на меня, укладывается. Передёргивает затвор и сразу стреляет.

Мы поочередно забегаем с Саней в открытые комнаты, где организованы посты.

В соседних с «почивальней» кабинетах нескольких парней зацепило, никто не знает, что делать с ранеными, как перевязать, как положить, чего вколоть.

Стреляем с Санькой отовсюду.

Из кабинетов, выходящих на овраг, никого не видно, - чичи напоролись на растяжки и, видимо, больше не полезли. Кроме того, там грязь непролазная, жуткая. Пацаны всё равно стреляют, не жалея патронов. Отдаю себе отчёт, что мне не хочется уходить из тех кабинетов, где стрельба ведется для остротки, где пацаны кусты бреют. И заставляю себя уходить.

В каждой комнате спрашивают, когда помощь. Я не знаю, когда.

Перескакивая через несколько ступеней спускаемся к посту Хасана.

Плохиш сидит на лестнице, между первым и вторым этажами, и пускает длинную слюну.

- Плохиш, ранен? - я заглядываю ему в лицо, присаживаясь рядом.

Плохиш поднимает коричневую рожицу, смахивающую на торт, с двумя вензелями белесых бровок.

- Песка обожрался... - говорит он.

И снова плюет.

Глаза его чуть дурные, словно он пьян.

- А пацаны? - спрашиваю я, и, глядя на Плохиша, понимаю, что он не слышит.

Саня спешит вниз.

- Контузило? - кричу я Плохишу.

Плохиш снова поднимает на меня взгляд, и спокойно отвечает:

- Какой, бля, «контузило»... Хасан прямо над ухом ебанул из автомата.

Не слышу ни хера. Придурок чеченский...

Иду вслед за Саней. Отмечаю, что стрельба чуть поутихла. Несколько раз слышу голос Столяра по рации:

- Прекратить огонь! Прекратить огонь! Вести наблюдение!

«Неужели отошли?» - думаю я недоуменно и радостно.

Увидев пацанов, Хасана и Васю, я готов заплакать от счастья, и пыльная рожа моя расплывается в самой нежной улыбке, которую способно выразить моё существо.

- Ну, и позиция! - говорит улыбающийся и возбуждённый Хасан, - Стреляем только в дверь.

- Егор, ты прав был, - перебивает его Вася, - из «граника» дали по нам.

- Попали?

- Попали, мы бы тут не сидели. От ворот, наверное, стреляли. Под лестницу выстрел пришелся. Нас всех аж подбросило... А потом, как чичи до школы добежали, стали гранаты в коридор кидать. Катятся как... как его, блядь, когда шары катают?

- Как в боулинге... - подсказывает Хасан.

Вася смеется, довольный.

- Весь туалет гранатами закидали, ироды... - добавляет Вася.

Стены коридора изуродованы, словно их вывернули наизнанку. Потолок осыпался до деревянных перекрытий.

- Сань, ты сказал... про Гошу? - спрашиваю я.

Саня кивает головой.

Пацаны молчат. Закуриваем, - ну что ещё можно сделать?

По школе, кажется, уже не стреляют. Но кто-то в школе не унимается, бьёт одиночными.

Столяр, вызвав по рации Кешу, ругается:

- Хорош, друг! Уймись. Мёртвые они, мёртвые...

Видимо, Кеша стрелял по трупам, валяющимся во дворе.

В коридоре тоже лежит труп, - лицом вниз, руки вытянуты, кулаки сжаты. Натекла лужа крови.

- Он... точно убит? - спрашиваю я.

- Ты на голову посмотри ему, слепой что ли? - говорит Вася Лебедев.

Я смотрю, и вижу, что темя лежащего словно изъедено червями. С отвращением отворачиваюсь.

Спускается вниз Плохиш. Прикладывает руки к ушам, крутит головой.

- Чабан, он и в Святом Спасе чабан, - говорит Плохиш. - Чего смотришь? - с деланной злобой кричит он на Хасана.

Снова смотрю на мертвого.

- «Хаса-а-ан!» закричал, когда вбегал, - улыбаясь, врёт Плохиш, заметив мой взгляд, - «Хасан! Нэ стрэляй! Я же брат твой!» Этот придурок встал ему навстречу: «Узнаю тебя, брат!» - вопит...

Смеёмся, даже Хасан скалится.

- Плохиш, а ты знаешь, что Астахов твою кухню разхерачил из «граника»? - спрашиваю.

- Серьёзно? Идиот, у меня же там заначка. Нет, правда? Ну, идиот!

А жрать чего будем?

Я стал называть ее «малыш». Так называл меня отец.

Мне так мечталось, что бы отец выжил, не умер тогда, увидел ее, в лёгком платье, Дашу. Он нарисовал бы ее мне.

Например, сидящую в ее комнате с синими обоями, где она в голубых джинсах и коротенькой маечке расположилась на полу у стены, поедающая креветки, и запивающая их пивом, маленькими глотками. И губы ее, на которых в нескольких местах была «съедена» помада, влажно блестели бы и глаза смеялись.

Или сидящей на стульчике, чтобы на ней был тот минимум одежды, в котором ее допустимо было бы показать отцу.

«А что бы вошло в понятие минимум?» - долго думал я, то чуть приодевая, то совсем разоблачая мысленно Дашу.

Или стоящую среди других людей, на промозглой остановке, где ее сразу можно было бы увидеть, удивиться ей, легко одетой, изящной, на высоких каблучках.

Казалось, я воспринимал ее, как своё веко, - так же близко. Тем большее было.

- Разве вы не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Разве ты не знаешь?

Вновь заглядывал ей в глаза, ничтожный, непонимающий ни ее, ни себя.

На ней лежали мужчины, давили ее своим весом, своей грудью, своими бедрами, волосатыми ногами, каждый трогал ее руками, губами, мял ее всю. Между ее разведенными розовыми изящными коленями, шевеля белыми ягодицами, помещались мои кошмары.

- Тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и душах ваших, который суть Божии.

И видел снова, как дурно зачарованный: внутри ее, окруженный нежнейшей... в сладкой тесноте... как перезревший тропический плод,

лопался...

«Ты меня обворовала», - всё хотел сказать я, и не мог сказать. Обворовала или одарила?

Она тихо улыбалась.

- Разве ты веришь, Егор? - спрашивала она.

- Не хочу мочь без тебя. Хочу без тебя не мочь. Чтобы время без тебя невмочь было.

Она пыталась меня отвлечь. Да, она любила, когда чувство кровотоцит. Но она не любила истерик. И пыталась меня отвлечь, переводя разговор на то, что должно было отвлечь меня, отвлекало всегда.

- Знаешь, какая разница между нами? Даша любит сухой и жесткий язычок - кошачий, а Егор - мягкий и влажный - собачий.

- Перестань.

Даша вглядывалась в меня, раздумывая о чём-то.

- Я тебя обманула с преподавателем. Ничего у него со мной не было. Не знаю, зачем придумала...

- А больше ни с кем... не обманула?

- Нет.

Не знал, радоваться или огорчаться.

«Бред, бред, бред», - повторял зло.

«Почему всё так глупо...»

«Ты появишься как-нибудь утром, и даже не поймешь по моему сонному виду, что я рад видеть тебя безумно. Это просто особый сонный вид безумия...» - так думал, не знаю о чём, - откуда она должна была появиться?

Придумывал, что всё изменилось, всё стало иначе, но мы остались. Фантазировал болезненно.

Узнал, что Даша вела дневник, - с тринадцати лет. Мне несколько раз попадались листки из него, - Даша мне сама дала почитать. Там было о ней, о том, что я хотел знать.

- Дай ещё? - попросил я, но она отказала мне в возможности заняться психологическим мазохизмом.

На следующее утро я сказал, что не выспался и попросил ее сходить в магазин:

- Дашенька, купи мне пива! - сонно шептал я, из-под век трезвыми и спокойными глазами глядя, как она выходит.

Как только хлопнула дверь, я вскочил и принялся перерывать Дашину квартиру.

- Ну что, нашел? - прокричала Даша, открывая дверь.

- Не стыдно? - спросила она, войдя, - догадавшись, чем я занимался в ее отсутствие.

- Дай, пожалуйста, - попросил я.

- Тема закрыта. Я его выкинула. Ты понял, я его выкинула? - сказала Даша, и ушла в ванную.

Когда она вышла, я сидел на кухне.

- Ты - мой первый мужчина, - сказала Даша, - Если бы я знала, что у меня будешь ты, я бы ни разу никогда ни к кому не прикоснулась. Я тебе клянусь, Егор.

Я обнял ее. Я даже хотел заплакать, но не стал. Зачем плакать, если я ее люблю?

«А дневник она не выкинула, - подумал я, успокоившись. - Вчера она никуда не ходила, а сегодня ничего с собой не брала».

Через день мне выдался ещё один вечер, - Даша ушла.

Я перетряс всю Дашину библиотеку, влез на антресоли, в одежные и кухонные шкафы, под ванную, даже в туалетный бачок заглянул, - в том же месте мой дедушка от сожительницы прятал водку. Я надеялся, что там, в бутылку упрятанная лежит рукопись, повесть о Дашиной жизни. Но нет, - не лежала. Нигде ее не было.

Прошло ещё два дня и утром, за чаем, Даша спросила:

- Ты выкинул мусор?

- Да, ещё вечером.

- Ничего не видел?

- Где.

- В ведре?

- Да я туда не заглядываю.

- Я дневники туда положила... Хотела сама вынести мусор и забыла. Вспомнила только сейчас и очень испугалась.

Надо ли говорить, что я допил чай и пошел то ли Тошу искать, который ещё вечером не вернулся с улицы, то ли за пирожными для Даши.

У контейнера стояли два миролюбивых, уже знакомых мне бомжа.

- Пошли вон, - сказал я им и заглянул вовнутрь железного бака, почти до верху наполненного мусором. Сверху тетрадей не было. Я извлек из мусора детскую без колес машинку и попробовал орудовать, как лопаткой, ей. Но машинкой копошиться было неудобно, и я обломил сук у дерева.

«Как же так! - чуть не плакал я, ничего не находя. - Мусорной машины, вроде ещё не было! Где же они? Может, бомжи взяли?»

Бомжи стояли неподалеку и равнодушно взирали на меня. Похоже, они даже разучились удивляться.

- Идите сюда! - сказал я, своим скотским голосом бестактного спецназовца с многолетним и позорным стажем разгона нищего люда.

Бомжи послушно засемили ко мне.

- Сумки раскройте!

В сумках лежали объедки, плафон от лампы, пластмассовая бутыль, стеклянная бутыль...

- Всё, идите!

Я порылся ещё минут десять, совершенно не чувствуя брезгливости. Дневников в контейнере не было. Наверное, мусорная машина всё-таки приезжала.

Потом уже, я спросил у Даши, где она прятала дневники.

- В старой швейной машинке, в коробке, - сказала Даша.

Я вспомнил, как я долго смотрел на эту деревянную коробку, обыскивая дом, постучал по ней пальцем, и почему-то даже не подумал, что... И потом даже в столике нашел ключ от нее... И не открыл.

«Какой ужас, какая, господи, жалость, что я теперь никогда, никогда не узнаю ту Дашу, - ее мысли, то, что она думала, то над чем я гадал так некрасиво и так долго» - терзался я.

В припадке тихого идиотизма, я поехал за город, на дребезжащем трамвае, - на городскую помойку, - чтобы перерыть там всё, и в грудях склизкой дряни, почти закопавшись в отбросах и ошметках, найти искомое...

Помойка издавала целую симфонию запахов. У нескольких гигантских куч кормились сотни птиц и несколько деловитых нищих. И они не удивились моему приходу. Быть может, нищие с лёгкостью принимают себе подобных? Но мало кто считает себя нищим...

Я долго смотрел на завалы гнили и мусора, выискивал блаженно надеющимся взглядом.

Всё это должно было как-то разрешиться.

Первое почти радостное возбуждение скоро прошло. В городе слышна постоянная стрельба. Тем более странно и тошно от тишины в школе и вокруг неё. И ещё - от наступающей мутной и сырой темноты.

В «почивальне» стонет Кизя. У его кровати сидит Саня Скворец.

- Чем руку смазать? Бля, как горит. Чем, а? - спрашивает Андрюха-Конь. Коричневый рубец ожога от схваченного за ствол пулемета на его левой руке вспух. - Чего там у нас в аптечке?

Он, одной рукой, вываливает на стол содержимое медицинского пакета. Раздражённо копошится в ворохе лекарств и шприцов. Отходит от

стола, ничего не найдя. Лицо его рассечено в нескольких местах розовыми, влажными бороздами. И веко вспухло, изуродованное. Он постоянно щурится от боли. И когда щурится, ему ещё больнее.

Пацаны затравленно смотрят по сторонам, стараясь не зацепиться зрачками за мёртвые руки, ледяные челюсти тех, кто...

Валя Чертков сидит в углу «почивальни», подальше от брата, - будто обиделся на него. Единственный Валин глаз слезится, второго не видно.

Пришел Плохиш, спросил, нет ли у кого пожрать. Никто не ответил. Все раздражены и молчаливы.

Плохиш постоял около Кизи, и вышел.

Вспоминаю, что убил, кажется, убил, почти наверняка убил человека. Сдерживаю желание высунуться по пояс в бойницу, и посмотреть вниз, - быть может, он лежит там, на земле, смотрит на меня исковерканным одноглазым лицом.

Потерянный и оглушенный бродит, принохиваясь к кровавым лужам, Филя. Федя Старичков одной рукой вскрывает банку тушенки, жмурясь от боли в боку, кидает несколько ложек пахучей массы на пол - псу. Филя, щелкая зубами, съедает всё в одно мгновение.

- Чего творишь? А сам что жрать будешь? - спрашивает Столяр.

- А что, мы зимовать тут собираемся? - отвечает Федя.

Сидящий на своей кровати Аружев, с раздувшимися и растрескавшимися губами, которые он ежесекундно трогает пальцами, услышав диалог Столяра и Старичкова, настораживается.

Но Столяр, ничего не ответив Старичкову, забирает у него банку, и убирает в тумбочку дневального.

- Аружев! - зовёт он, - На место. Порядок организуй, что у тебя тут...

Русик нехотя возвращается.

Злобно переживая приступы боли, тихо рыча, ходит взад-вперед Астахов.

- Надо отнести ребят, - говорит Столяр. - Егор, организуй!

Голос Столяра звучит неприятно громко среди общего вялого копошенья.

Зову Саню Скворца.

- Дим, не поможешь? - прошу я Астахова, забыв о его ране, и едва задав вопрос, чувствую, что сейчас он на всех основаниях обматерит меня.

Но Астахов кивает головой. В руке у него, замечаю я, луковица, и он кусает ее.

Подходим к Стёпке, - тихо, словно к спящему.

- Ну, чего смотрим? - спрашивает Астахов, - Взяли, понесли.

Дима засовывает луковицу в рот и хрустит ей, зло сжимая челюсти.

Беспрестанно глотаю слюну. Мы с Саней стараемся не смотреть на мёртвого, поэтому идём нескладно, шараясь.

Астахов, который держит Стёпу за ноги, ругает нас:

- Что, кони пьяные?...

Стёпа уже начал коченеть, мы положили его в кладовке без окон, неподалеку от «почивальни». Стёпина голова приняла глиняный оттенок. Показалось, что она расколется, если ударится об пол.

Язва, которого понесли следом - ещё мягкий. Держа его за руку, вернее, за рукав «комка», я неотрывно смотрю на прилипшую к его почерневшему лбу прядь палёных волос.

В коридоре встретили Андрюху-Коня, он, не стеснясь, мочится на свою обожженную руку.

На улице раздались выстрелы, и сразу - шум на первом этаже. Спешим вниз.

- Бля! - смеется неунывающий Плохиш, он быстро дышит, словно прибежал откуда-то, - Посмотри-ка на меня! - просит он Васю Лебедева, - Не убили, нет? Пулевых ранений не видно? Осколочных? Шрапнельных? Колото-резаных?

- За жратвой, что ли, бегал? - спрашиваю я, видя две банки консервов, которые Плохиш положил на пол. - Ну, дурак.

- Заначка целая, наверное... - говорит Вася Плохиш, - Завалило просто. Надо доски разгрести.

«Они уверены, что их не убьют, - с удивленьем понимаю я, - уверены и всё».

По лестнице спускается Столяр.

- Хасан, я вам, блядь, устрою всем! Вы что, сдурели, ублюдки? Ты, спринтер хренов! - орёт он на Плохиша, - Ещё раз выбежишь, я тебя сам ебану. Ты понял? Я тебе обещаю - сам!

Плохиш молча открывает консервы.

- Кильки хочешь? - спрашивает он у Столяра, протягивая банку.

Столяр пытается выбить ее, но замахивается слишком широко, и Плохиш лёгким движением уводит банку из-под удара, приговаривая:

- Не хочешь, как хочешь...

- Костя! - говорит Хасан Столяру, - Нам всё понятно.

- Ты почему здесь? - никак не может остыть Столяр, обращаясь на этот раз ко мне.

- Стреляли, - говорю.

- Отделение где твоё?

- Скворец - вот он, Фистов на чердаке, Монах контролирует сторону дороги... Какие сейчас отделения, Костя! Все перепутались.

- Ни хера не перепутались. Иди и обойди всех. Пусть автоматы почистят, гранаты возьмут в «почивальне». Расслабились? Думаете, что всё?

- Чего со связью? - спрашивает Хасан у Столяра, отвлекая его гнев.

- Русик уронил на рацию. Астахов ему вписал в лоб, и Русик осыпался вместе с рацией. Наебнулась она. А эти, - Столяр кивает на свою переносную, выставившую антенну, рацию, - не берут. Надо подзарядить.

Идём с Саней по коридорам. Воздух сух, тянет на кашель. После безудержного автоматного грохота собственные шаги кажутся далёкими, тихими.

На чердаке застаём Кешу, он смотрит в прицел.

- Ну чего, много подстрелил? - говорю.

Кеша не реагирует.

- Скоро наши? - спрашивает он, помолчав.

- Не знаю, - отвечаю сухо.

В одной из комнат, где выставлены посты, сидит у стены Монах, полузакрыв глаза. Его напарник спит прямо на полу, лицом к стене, - даже не вижу, кто.

- Спим? - говорю, заходя.

Монах открывает глаза, но не отвечает.

Я прохожу к окну, смотрю на улицу. Неподалеку от школы лежит труп, ткнувшись в лужу лицом.

- Сергей, вас что, выжали всех? - говорю, отстранившись от окна, - Что вы квёлые какие?

Монах закрывает глаза.

- Обед будет? - хрипло спрашивает тот, кто лежит.

- Почему не ведём наблюдение? - спрашиваю я, не ответив.

- Мы с соседями по очереди, - говорит Монах.

Выхожу злой.

- Чего они, Сань? Сдурели все? - спрашиваю у Скворца.

- Устали...

В «почивальне» Столяр заставил пацанов устроить раздолбанные бойницы, на скорую руку почистить автоматы, сделать уборку. Гильзы сгребли в угол, при этом кровь размазали по полу. Кажется, она пахнет. Ее обходят.

- Сейчас будем ужинать, - говорит Столяр. Он отнял у Плохиша консервы. Я, когда уходил с поста Хасана, слышал, как Плохиш выл: «Я за

них жизнью рисковал, в меня за каждую кильку по пуле выпустили!»

- Все извлекаем свои запасы, - говорит Столяр, - Сколько просидим здесь, - не знаю. Разделим пищу на два дня.

Пацаны лезут в рюкзаки, - в свои, и в чужие - тех, кто на постах. Но к рюкзаку дока, и к рюкзаку Язвы и к Стёпому хозяйству, никто не прикасается.

У кого-то находится банка-другая рыбки в томате. У кого-то сухари.

- Аружев! - говорит Столяр, - Давай-ка, посмотри у себя...

Запустив руку в свой туго набитый рюкзак, где царит образцовый порядок, Русик выхватывает четыре банки. Шпроты, хорошая тушенка, сардины в масле.

Столяр делит добытое.

Лениво жуем. Астахов мнёт зубами пищу с диким выражением лица, - видимо, ему очень больно. Аружев ест, придвинув к себе одну из своих банок, закладывая сардинки в широко раскрываемый рот, - губы болят. Астахов, косясь на Русика, ухмыляется, смягчая дикое выражение своего лица.

Валька Чертков есть отказывается, - кажется, он даже не может говорить. Приглядываясь к нему, я вижу, что щека у Вальки лопнула, как больной плод.

- Тебя бы зашить надо, - говорю. - Зарастет так - будешь кривой.

Кизя стонет.

- Столяр! - зовёт он дурным голосом. - Водка есть? Дай водки.

Астахов при упоминании о водке начинает медленнее жевать.

Столяр, подумав, идет к своему рюкзаку и возвращается с бутылкой самогона.

- Горилка, - говорит он. - Куда ее беречь, будь она проклята...

Целую кружку наливают Кизе.

Я несу ее, как лекарство больному.

Присев на корточки рядом с Кизей, с нежностью смотрю, как он пьет, клацая зубами о кружку. Тут же подаю ему лепесток лука и бутерброд с безглазой рыбинкой.

Вернувшись к столу пью сам, - как воду.

Пацаны пригубляют по очереди.

- Ну, когда за нами приедут? - ругается кто-то, ни от кого не ожидая ответа.

Кто-то, бродя по «почивальне» закуривает. И тут же в «почивальню» бьёт снайпер, - пуля, чмокнув, входит в стену.

Закуривший поднимает сигарету с пола, которую выронил,

чертыхнувшись.

- Курить в коридор, - говорит Столяр. - И жратву разнесите пацанам.
На улице совсем стемнело.

Стрельба то в одной, то в другой стороне города разрастается, не стихает. Иногда одиночными или короткими очередями бьют по школе.

Курим, рассыпается пепел, сшибаемый корявыми, не разгибаемыми после долгих трудов, указательными пальцами... Иногда кто-то появляется в тёмных коридорах, бредет. Узнаём, кто - только с нескольких шагов.

«Сейчас влезет в школу какая тварь, разве углядишь... Камикадзе, весь надинамиченный...»

«А я ведь человека убил», - думаю устало, и не знаю, что дальше надо думать.

«Человека убил», - повторяю я, словно вслушиваясь в эхо, но эха не слышу.

- Егор, часы есть? Будешь до трёх дежурным. Обходи посты, чтоб никто, как вчера... После трёх тебя сменят, - это говорит Столяр.

Киваю головой.

Сижу на корточках, медленно докуриваю. Понимаю, что Столяр не видит, как я кивнул головой, но говорить лень.

«Даша».

«Где-то есть Даша».

«...есть Даша?»

Рядом сидит Скворец. Спросить у него?

Морщусь неприязненно, не понимая, откуда она взялась, - неприязнь, что она, к чему, зачем...

Не шевелясь, сидит Скворец.

За сутки я так привык к тому, что он рядом. Мы даже не разговариваем, - иногда касаемся плечами, иногда переглядываемся. Он так молчит хорошо, что я точно знаю, что он всегда на моей стороне, - когда я кричу на кого-то, прошу парней о чём-то. И когда молчу, он тоже на моей стороне. Или я на его? Почему я всё время о себе думаю? Нет, всё-таки, он на моей...

Разносим пацанам банки с консервами.

Прислушиваемся к пальбе.

Пацаны жадно глотают пахучую массу, - говядину или рыбу.

Опять хочется есть.

Мы идём с Саней вниз, к Хасану, - может быть, там накормят?

Слышен говор внизу.

- О! Егорушка! Родной! - Столяр заметно поддатый, встречает меня

радостно, - ну как?

Я не знаю, о чём именно он спрашивает, но тоже улыбаюсь. Лиц друг друга мы почти не видим, но улыбки слышны по голосам.

- Всё хорошо. Загадили только всю школу. Может место какое определим?

Столяр не отвечает, наливает мне в кружку дурнотно пахнущей горилки, - он принёс ещё один пластиковый пузырь.

Пью, передаю Сане.

Тот, захлебнувшись, кашляет.

- Ну-у... - гудят пацаны разочарованно, каждый считает своим долгом ударить его по спине. Плохиш даёт оплеуху.

Саня отмахивается от него недовольно.

- А чего? Всем можно, а мне нет? - смеётся Плохиш.

Появляется откуда-то тушенка, ее держит на широкой руке Вася.

Заедаем.

Что-то говорим о произошедшем и происходящем, много материмся, кажется, что только материмся, изредка вставляя глаголы или существительные, обозначающие движение, виды оружия, калибры. На каждую «муху», на каждого «шмеля», летевших в наши бойницы, раскурочивших школу, приходится россыпи дурной, взвинченной, крепкой, как пот, матерщины.

Поминаем пацанов, снова материмся...

Немного, почти истерично, смеёмся, вспоминая, как гранаты, что бросали чичи, бились о сетку и летели вниз.

- Мы, пусть пацаны меня простят, хорошо отделались, бля буду! - говорит захмелевший Плохиш. - По идее, нас должны тут всех уже положить...

Столяр выпрашивает у Хасана куда можно отсюда уйти через овраг. Все замолкают. Хасан подолгу молчит, не отвечая. Он часто так делает - ему зададут вопрос, он паузу тянет, - усиливает значимость ответа. Сейчас все ждут его слов с нетерпением.

Но он, похоже, искренне затрудняется.

- Я всё здесь знаю. Но я не знаю одного, - где... боевики. Куда идти? К ГУОШу? Или в сторону Черноречья? В заводской район? К Сунже? Везде можно нарваться. При чём на своих.

Все молчат.

Где-то в стороне заводской комендатуры слышна серьёзная перестрелка.

Школа тиха. Раздаётся бульканье горилки.

Повторяем - по кругу. Говорим что-то несущественное...

Обходим с Саней школу. Чувствую себя бодрее. Водка, славная отравка.

Никто не спит. Все надеются, что утром за нами приедут.

Монах хмур. Он вглядывается в темь за окном, стоя у бойницы.

Я встаю рядом с ним и долго молчу. Отстранившись от бойницы, закуриваю, пряча сигарету в ладонях. Табак вновь обрел вкус.

- Сереж, а правда Бог есть? - спрашиваю.

- Есть, - отвечает он, безо всякой ненужной твердости, - так как если бы я спросил у него, есть ли у него родители, или друг, или сестра...

- А зачем он?

Монах молчит. Ему не хочется со мной разговаривать. Кажется, что Монах часто разговаривал со мной мысленно, пытаясь меня убедить в чём-то. И, наверное, уже так много всего сказал, что понял: бестолку мне что-то объяснять.

- Чтобы люди не заблудились, - отвечает Монах.

- Это живым. А мертвым?

- А ты как думаешь? - спрашивает он вяло.

- Я не знаю... Бог наделяет божественным смыслом само рождение человека - появление существа по образу и подобию господа. А свою смерть божественным смыслом должен наделить сам человек, - говорю я.

«Тогда ему воздастся», - хочу добавить я, но не добавляю.

«Иначе, зачем здесь умирают наши парни...» - хочу я сказать ещё, но не говорю.

- Это, что ли, смысл? - спрашивает он, кивнув за окно.

Там, я помню, лежал труп.

- Божественный смысл... - повторяет за мной Монах тихо, - Ты очень много говоришь о том, чего не способен почувствовать.

Спустя несколько часов я укладываюсь спать в «почивальне».

Брожу и рвусь во сне как в буреломе.

Приснились слова. Кажется, такие: Бог держит землю, как измученный жаждой ребенок чашку с молоком - с нежностью, с трепетом, - но может и уронить...

Проснулся.

- Уронить, - повторил я внятно.

- А? - зло спросил кто-то.

- Уронить, - отвечаю.

XI

Филя ест то, чем тошнило Старичкова.

На улице опять льёт. Стоит тупой, нудный, наполняющий голову мутью, шум воды.

Под утро ранило ещё одного пацана из взвода Столяра, в бок срекошетило пульей.

Ему так плохо, что все боятся - умрёт.

У Аружева вылезла черная густая щетина, - впервые за всю командировку он не брился два дня подряд. Он смотрит на осипшую рацию.

Непроспавшиеся, с красными глазами, подрагивающие в ознобе, ждём: быть может, Семёныч приедет за нами.

Город всю ночь горел, дымился, беспрестанно стрелял. Что там происходит, а... Может, уже убили всех? А кто стреляет?

Хочется есть. Кошусь по сторонам, вижу на полу несколько пустых консервных банок. Пожевать что-нибудь, корку - хлеба или лимона, - хочется.

Шнурки, обращаю внимание на свои шнурки. Кажется, что они кислые на вкус, их можно пожевывать и посасывать, гоняя по рту приятную солоноватую слюну. Откуда-то из детства помню об этом. Рот наполняется слюной. Глотать ее, почему-то холодную, не хочется. Сплёвываю.

Кую на голодный желудок. Дую на серые пальцы. Вижу свои неприятно длинные грязные ноги. Не поленившись, лезу в свой увязанный рюкзак за ножницами. Никогда не выносил длинных ногтей, даже ночью просыпался, чтобы постричь, если, проведя рукой по простыне во сне, чувствовал, что отросли.

С щёлканьем ножниц на грязный пол падает кривая мелко струганная роговица, сухая мертвечина.

Слышна тяжелая стрельба. Не хочется вставать, идти смотреть, - кто там стреляет, куда стреляет, зачем стреляет. Подумав об этом, бросаю на пол слабо звякнувшие ножницы, встаю, иду.

- Три «коробочки» на дороге! - докладывают наблюдающие, - Двигутся в нашу сторону.

«А может, за нами едут?»

Останавливаюсь, чувствую, что дрожат руки, но уже не от страха, нет,

- от волнения за тех, кто едет к нам, и ещё, наверное, от усталости.

Ещё не дойдя до поста, слышу гам, крики, стрельбу из автоматов.

Забываю, что устал, не выспался, голоден. Кто-то обгоняет меня. По невнятным суматошным голосам, понимаю, что на дороге наши, - наверное, Семёныч, - они уже близко, и по ним стреляют. И по школе тоже стреляют. Опять стреляют, сколько можно...

Вхожу в помещение, съездившись от безгливой дурноты. Запах пороха и железа и пота, битый кирпич, битое стекло и этот беспрестанный грохот, - чувствую, вижу и слышу, - и не хочу чувствовать, не хочу видеть, не хочу слышать.

Но руки уже сами снимают автомат с предохранителя, и патрон уже дослан в патронник.

- Прикрывайте, ребята, плотнее прикрывайте! - это голос Семёныча, я слышу его по радиации, и вздрагиваю, не понимаю сам от чего, - наверное, от ощущения счастья, готового, подобно тяжелой рыбе, вот-вот сорваться, кануть в тяжелую воду.

Хочется высунуться в окно, и бить, и бить безжалостно и без страха, - ведь нас просит Семёныч, - командир, который приехал за нами, нас, непутёвых, забрать.

Три БТРа, - едва выглянув, я сразу вижу три БТРа на дороге, и бесконечную грязную сырость, и дождь, и дым, и одна из «коробочек» горит. От неё спешат бойцы, волоча за руки раненого.

По БТРах стреляют прямо из дома у дороги, - полощут в упор.

Наверное, ещё из «хрущевок» стреляют, бляди.

Всё начинает заволакивать дымом, - наверное, угодившие в засаду, бросили шашки.

- Семёныч! - выкрикивает кто-то из наших.

Да, это он, наверняка, - прямой, с крепкой спиной, с трубой «граница» на плече. Он бьёт в упор в дом, где сидят чичи. И теряется в дыму, больше его не видно.

- Берите выше! - кричу я стреляющим рядом со мной пацанам, боясь, как бы не порешили своих, не видных за дымом.

Рядом цокают пули, я не прячусь. Не знаю, боюсь или нет. Просто, какой смысл прятаться, если уже не попали. Тем более, что стреляющие по школе, бьют наугад. Слышу - Столяр вызывает Хасана:

- Внимательнее! Подъезжают «коробочки». «Коробочки»! Внимательнее! Понял, нет?

- Понял он, понял, - отвечает Плохиш.

Дым, порывами, рассеивается. Один БТР горит, двух других нет.

«Где они? - думаю, усевшись, снаряжая магазины, - Должны уже приехать».

Хочется сорваться, сбегать вниз, чтобы посмотреть.

«Сколько я рожков отстрелял за сутки? - думаю, присев у бойницы и снаряжая. - Штук сто...»

Зачем-то считаю вслух снаряжаемые патроны, - пытаюсь отвлечь себя от мысли, - где Семёныч, здесь ли наши, или нет, - пытаюсь, и не могу.

- Егор, сходи? - просит меня Скворец.

Оставляю его за старшего, спешу в «почивальню».

Ещё не дойдя до нее, вижу на улице, зайдя, в одну из комнат, «коробочки» - две железных гробины, стоящие у левой стороны школы, у самой стены, - так их не видно из «хрущёвок», а пустырь хорошо простреливается.

- Наши! Приехали! Семёныч там! - говорят мне пацаны, сияя.

Они бьют по пустырю, - жестко, упрямо, длинными очередями, не жалея патронов, - наверное, от хорошего, почти задорного настроения, - рубят кусты и полевую дурнину, корни, проволоку, сучьё поваленных неведомо кем кривых и хилых деревьев. Чтоб никакая гадина не подползла к нашим машинам.

- Собираться, что ли? - спрашивают меня пацаны, когда я направляюсь к выходу.

- Сидите пока, - говорю и ухожу, и тоскливое предощущение ноет в моём мозгу, понимание чего-то до предела простого, чего я сам не хочу понимать.

- Только три «коробочки», Костя, только три! Взвод липецких СОБРов и три коробочки! - слышу я, подходя к «почивальне» рокочущий, хриплый, родной голос Семёныча, радуюсь этому голосу, и тут же постигаю смысл сказанного им, - нас не увезут, мы просто не вместимся в «коробочки».

Семёныч с хорошо перевязанной головой и Столяр стоят в коридоре.

- Я эти три БТРа выбивал всю ночь! И весь день! Они «вертушек» не дают, - говорят «нелетная погода»! В первый день была лётная, а они не дали. А сегодня - нелётная! Я говорю: «Ребят моих покрошат всех!» Я, Костя, умолял их. А командира у липецких «собров» убили! Он на моей, Костя, совести... - Семёныч говорит зло, в его словах нет желанья оправдаться, - он говорит, как есть.

Заметив меня, Столяр недовольно хмурится.

- За патронами... - поясняю я своё появление.

- Егорушка, сынок! - говорит Семёныч, и обнимает меня.

Прохожу в «почивальню», не мешая их разговору.

- Где Кашкин? Он позавчера вечером к вам уехал, где он? - слышу голос Семёныча за спиной, он задаёт вопрос Столяру.

«Нет больше Кашкина», - думаю я тоскливо.

В почивальне стоят незнакомые крепкие бородатые мужики, пьют из горла водку.

- Командира нашего убили, ты понимаешь? - обращается ко мне один из них, со слезящимися глазами, весь прокопченный, - Он в БТРе горит!

Я смотрю в глаза говорящему, молча. Бутылка снова идёт по кругу.

- Выпей, браток! - говорят мне. Я пью, не стремясь к бойницам, не торопясь наверх, - стрельба стоит бестолковая. Чечены стреляют со зла, от обиды, что пропустили «коробочки».

- У него рука застряла, когда я его вытаскивал из БТРа, рука... - рассказывает один из них тяжелым, сдавленным голосом, с трудом вырывающимся из глотки, - Кровь видишь на мне? Это нашего командира кровь.

Я вижу штанину в крови.

- Я его тащу, а у него голова болтается мертвая. Из дома прямо по нам бьют, в упор... - он тяжело дышит, и сбивается на рёв; рассказывая, он готов разрыдаться, и сдерживается, - Семёныч ваш саданул в упор из «граника». Попал прямо в огневую точку, точно говорю, - я слышал, как там заорал кто-то. Заткнулись они...

У «собров» один раненый, - в живот. Он лежит в «почивальне», его перевязывают.

«Собры» допивают водку, кто-то бросает в угол бутылку, лезут к окнам, матерясь. Стреляют вместе с нашими.

- Что в городе? - спрашиваю я у одного из «собров», который не стреляет, - снаряжает, сидя на корточках.

Мы закуриваем. Чтобы услышать его, я сажусь близко, и смотрю ему прямо в обросший полуседым волосом рот, небрезгливо чувствуя запах перегара, несколько железных зубов вижу...

- «Чехи» вошли через Черноречье вчера ночью, - говорит «собр», - Часть «чехов» в Грозном уже две недели ошивалась. Чеченские милиционеры говорили, что боевички в городе, - нам говорили, мне лично говорили. Говорили: «Скоро будут город брать». И нашим генералам говорили тоже. А генералам по херу. Как это, блядь, называется? Предательство!

Мысль его прыгает, словно обожженная, но я всё понимаю.

Он затягивается сигаретой, так глубоко, что сразу добрая половина ее обвисает пеплом.

- Сразу весь город осадили, все комендатуры. И ГУОШ осадили, - продолжает «собр», - но в Ханкале «вертушки» подняли, расхерачили вокруг ГУОШа всю округу, а потом мы зачистили всё. У нас одного убили вчера на зачистке. На площади «Минутка», говорят, много положили «собров», из Новгорода... Несколько комендатур до сих пор в осаде. Пацаны на блок-постах натерпелись, - им тяжелей всех пришлось... К вам до последней минуты не знали пробиваться или нет, - связи никакой, есть коридор или нет, - ничего никто не знает, бардак обычный... Ваш Семёныч за вас там душу рвал на портянки...

Зашёл Семёныч, что-то сказал, или просто кивнул оставшемуся за старшего из «собров».

- Собираемся, мужики! - командует тот своим. - Грузите раненых.

У меня гадко и тошно ёкает внутри: остаёмся. Точно остаёмся. До последней минуты глупо надеялся, что уедем. А мы остаёмся.

В углу «почивальни» стоит несколько ящиков с патронами, гранатами и подствольниками, - нам привезли, развлекаться.

Несут ещё одного раненого, из взвода Столяра, - снайпер сработал, голова в кровище, помрёт парень. Дока нет, у «собров» тоже дока нет, перевязывают сразу несколько человек, корявые, грязные мужские руки мелькают.

Семёныч морщится, будто в муке, ругается, - не знаю, не слышу на кого.

Раненых вытаскивают через окно на первом этаже, - Кизю, «собра», пацанов из Костиного взвода. Тронул руку Женьки, когда его проносили, - дрожит. Глаза закрыты, зажмурены, больно ему.

Костя гонит в БТР других покоцанных - Старичкова - у него загноился бок, Астахова - в грязно-ржавой тряпке на голове и Валю Черткова, лицо которого вовсе потеряло привычные человеческие очертания.

Валю, совершенно ослепшего, уводят «собры».

Астахов, на приказ собираться, не реагирует. Кажется, он забыл, что его зацепили. Замечаю, что тряпка на его голове заново перевязана, - туго, на несколько узлов.

- Дима! - повторяет Столяр, - Собираться, я сказал.

- С хуя ли? - отвечает Астахов.

- В чём дело, Дима? - орёт Столяр.

- Идите на хуй, я остаюсь! - огрызается Астахов, и уходит из «почивальни».

- Я тоже остаюсь, я нормально... - говорит Старичков.

- А, как хотите, - говорит Столяр раздражённо.

«Собр» жмёт руки Косте и мне, я с нежностью чувствую его горячую, шершавую лапу.

Ах, мужики мои, забубённые мои мужики...

- Нам командира надо забрать! - говорит «собр», - Прикройте, мужики, как следует.

БТРы ревут, вязнут в огромных лужах, выжимают всё возможное. Мы стреляем, глохнем, дуреем и стреляем, стреляем.

При повороте на трассу по первому БТРу бьют из «хрущевок», но «муха» мажет и сносит, сбивает крону дерева у дороги.

Всё, больше ничего не вижу, - БТРы уходят из вида, вывернув на дорогу.

Ещё стреляем, набивая на плечах огромные, бордовые синяки.

Спешу из «почивальни» в комнату, из которой ушел, оставив Скворца и несколько парней. Тащу, согнувшись, две «эрдэшки» патронов в одной руке, «эрдэшку» гранат в другой.

Вбегая в комнату, не верю своим глазам, видя спину Семёныча.

«Так он здесь!» - думаю радостно.

Бросаю на пол, оттянувшие руки, сумки.

Семёныч поворачивается ко мне.

- Проехали, вроде! - говорит мне, и Столяру, стоящему рядом с ним.

Семёныч идёт мимо бойниц к выходу, не пригибаясь, спокойно.

- Работайте, ребятки, работайте! - улыбаясь, говорит он, и выходит.

«Неужели он уехал бы, оставив нас! - думаю я, - Как дурь такая могла мне в голову придти!»

Семёныч придумает что-нибудь, уверен я.

- За нами приедут ещё? - спрашивает Скворец, явно ждущий положительного ответа.

Оборачиваюсь к нему, ещё не решив, что ответить, но, почему-то улыбаясь, и несущую эту улыбку, чувствую ее как искажение мышц на лице в неожиданно образовавшейся полной темноте, пока меня непонятным образом подсекает под ноги и медленно, как осенний лист на безветрии, качая в разные стороны, бросает на пол. Паденья я не ощущаю.

Она смотрела в сторону, моя Дэзи. Всю дорогу она смотрела в сторону, не обращая внимания ни на меня, ни на пассажиров электрички, в которой мы ехали к Святому Спасу. Когда пассажиры вставали, переходили с места на место, брали вещи с багажных полок, ставя рядом с моей собакой грязные тяжелые ботинки, она осторожно отодвигалась, едва шевелила хвостом, щурила хмурые глаза. Она казалась усталой, моя сучечка. И не

родной.

У меня так мало осталось близких душ на свете, честное слово, мало. Мне так хотелось, чтобы Дэзи дружила со мной, - мне не было ещё и десяти лет, и что у меня ещё оставалось из детства?

В детстве были очень просторные утра, почти бесконечные. Часы не накручивались нещадно, один за другим, сгоняя слабосопротивляющийся день к вечеру, обесмысливающему ещё один день на земле. Нет, в детстве было не так. Пробуждение наступало долго. Поначалу разум вздрагивал, вырывался на мгновенье, цеплял какие-то звуки. Потом глаза открывались, и начиналось утро. Оно не начиналось раньше пробужденья, как происходит сейчас. Утро звучало, источало запахи, казалось, что в мире раздаётся тихий звон, звон преисполняющий. Всё самое важное в моей жизни происходило по утрам. Каждое утро просыпалась Даша. Что может быть важнее.

И каждое утро, там, в детстве, на улице, лаяла моя собака. Радуюсь моему пробуждению, так ведь? Иначе что ей лаять...

А сейчас она смотрела в сторону. Я кинул ей печенье, и она съела. Сидя ко мне спиной, лязгнула зубами, проглотила, и не повернувшись, не стала заглядывать мне в глаза, выпрашивая ещё. Стёкла окон были грязные, и за стёклами текли сырые просторы, и порой моросил дождь. Казалось, что всё находящееся за окном имеет вкус холодного киселя.

Граждане, сидевшие вокруг, были хмуры, лишь что-то без умолку говорили две бабушки, сидевшие напротив. Мне очень хотелось, чтобы Дэзи укусила кого-нибудь из них за ногу.

Полы были грязны, затоптаны. Дэзи лежала на полу, и когда снова и снова кто-то двигался, вставал курить, заставляя ее волноваться, передвигаться, мне становилось жалко моей собаки, - до ощущения физической боли.

Хотелось затащить ее к себе на колени, обнять. Но она бы наверняка начала вырываться, не поняв, что хочу от неё, мазнула б мне по брючкам грязной лапой, спрыгнула бы на пол. И соседи мои посмотрели бы на меня осуждающе, а бабушки начали бы выговаривать за то, что я измазал одежду.

Мы ехали на могилу к моему отцу.

Я думал о чём-то всю дорогу, дорога была длинной, но бестолковые и нудные размышленья не кончались. Странно, людям часто не о чем разговаривать, - встретившись - они молчат; и при этом думают всё время, неустанно болтается в их головах какая-то бурда, безвкусный гоголь-моголь сомнений или обид или воспоминаний...

С шумом открывались двери электрички, и все поднимали глаза, словно желая что-то необыкновенное там увидеть, человека о трёх головах. Ну, кто там может войти, господи...

Лишь собака моя вела себя достойно, никуда не оборачивалась. Может, ей никогда не бывало скучно? Лишь иногда она поводила носом, - в баулах старушек таилось и теплилось что-то съестное, издавая запах.

Когда электричка приехала, и все встали, и долго, молча, перетаптываясь на месте, стояли, потому что находящиеся впереди выходили медленно, собака моя продолжала лежать, никуда не торопясь.

- Дэзи! - окликнул я.

Раньше она вскинула бы лёгкое тело, и вильнула бы несколько раз хвостом, и обернулась бы на меня, выражая готовность идти, бежать. Так было бы раньше...

Мы вылезли из электрички, и шли рядом, обходя лужи. Я обгонял мою собаку, пытаюсь заглянуть ей в глаза, вставал ей на пути. Но она обегала меня, делая большой полукруг, пугая меня, опасавшегося ее потерять. Я звал ее, и отдал ей свои съестные запасы, - бутерброды. Немного отщипнул себе, и отдал ей почти всё, только затем, чтобы чуть-чуть погладить ее, пока она ела.

Заглатывая большими кусками, Дэзи быстро съела всё предложенное ей, и побежала дальше.

Я забыл, где кладбище, и спрашивал дорогу у прохожих.

Бабушка в чёрном платке предложила мне идти вместе с ней, - она тоже шла на кладбище. Но мне не хотелось с ней, не хотелось отвечать к кому я, и слушать к кому идёт она, и, выпросив дорогу, я попытался уйти вперёд. Но собака моя не шла, она неспешной трусцой бежала рядом с бабушкой, иногда отбегая к обочине, вынюхивая что-то.

Мне показалось, что Дэзи оживилась, - вспомнила, что жила здесь, бегала здесь, вспомнила запахи знакомые.

Я снова звал ее, но она никак не спешила ко мне.

А бабушка смотрела в землю, передвигая усталые, больные ноги, опираясь на клюку, - большую деревянную палку.

Я уже увидел кладбище, - оно располагалось на небольшой возвышенности, окружённое редкой посадкой, - и, отчаявшись дозваться собаки, пошёл один, спотыкаясь от детского, предслёзного, одинокого раздражения.

Кто-то выходил из давно не крашенных, ржавых ворот кладбища, несколько старушек. Они крестились, выходя.

Я не умел и не хотел креститься, и юркнул между них, и пошёл, как

мне объяснил дед Сергей, - сразу направо и вдоль ограды. Отец был похоронен где-то в углу, я уже забыл, где именно.

Шагая по густому и злому кустарнику, стараясь не встречаться взглядом с покойниками, строго смотревшими с памятников, я выбрал к могиле отца. Она открылась мне неожиданно, заросшая и разорённая. За ней некому было ухаживать, быть может, тётя Аня иногда приходила, но редко.

Памятника давно не было, - он упал на первый же год, потом его поставили, но он снова упал, а потом пропал вовсе, быть может, кто-нибудь унёс.

На насыпи стоял деревянный крест, и на нём имя человека, породившего меня на белый свет.

Я присел на корточки, и смотрел на крест, не зная, что делать.

На могиле разрослась и овяла травка. Осмотревшись, я заметил, что на других могилах травы нет, наверное, ее вырывали с корешками родные и близкие покойных. Но я не стал этого делать, мне показалось, что украшенная жухлой травкой могила смотрится лучше. Со всех сторон могилу уже обступали кусты, заросли репейника и лопухов. Вот они мне не понравились.

Отломив от хилого деревца сук, чтобы вырубить буйную поросль наглых сорняков, я уже изготовился ударить, но был едва не сбит с ног Дэзи, выскочившей из кустов.

- Дэзи, стой!

Я побежал за ней, виляя между могил, попадая в лужи, сначала не догадавшись, что ее пугает палка в моих руках. Собака не останавливалась. Я выбросил палку и остановился, едва не плача.

- Ну Дези же! - сказал я в сердцах.

Она остановилась, глядя на меня.

- Дэзи, Дэзинька, девочка... - я пошёл к ней, двигаясь от страха и унижения на полусогнутых ногах, готовый на колени пасть, лишь бы она не оставляла меня одного.

Я сел рядом, прямо на землю, и начал гладить ее, недоверчиво смотрящую, цепляющую опасливым взглядом мои руки, поёживающуюся.

- Пойдём, Дэзи? - попросил я.

Мы сели на могилу, в ногах отца, и я стал нежно расчесывать руками мою собаку, извлекая, вырывая из ее шерсти, замурзавшейся в лазанье по кустам, репейники. Жадное, цепкое репье облепило ее всю, висело на длинной давно не стриженной шерсти по бокам, на ногах, на грудке, на шее.

- Ну что ты какая неряха, Дэзи... - приговаривал я, стараясь коснуться

ее щекой, прижать ее к себе, не напугав ещё раз.

Репейники перекатывались по могиле, их сносило ветром, и они катились до первой лёгкой грязцы или терялись в траве.

Сознание вернулось так: будто с оглушенной, полумёртвой змеи сняли кожу и под кожей обнаружили десятки живых рецепторов.

Одновременно с возвращением сознания вернулась всеобъемлющая как кожа боль. Потом она, не исчезнув, но, скорее, затмившись, сменилась ощущением, что я лежу на плоту. Лежу, и меня мерно и тошнотно качает. Вокруг парная и тёплая вода, которой я не вижу. Солнца в небе нет. Я чуть-чуть двинул головой, чтобы увидеть воду и почувствовал, что затылок мой прилип. Мне даже показалось, что прилипли мои волосы, которых не было на моей бритой в области черепа и не бритой в области скул...

Я силился приподнять голову, и каждый раз чувствовал, как на прилипшем затылке оттягивалась кожа, причем оттягивалась на несколько сантиметров, словно голова моя была сдувшимся воздушным шаром. В ужасе, я прижимал голову к поверхности, на которой лежал, и голова моя вдавливалась в мягкую дегтеобразную жижу.

Я вспомнил, как давным-давно, цыплята нашей соседки, гуляя, зашли в свежеуложенный гудрон. Попадали сначала лапкой, потом другой, пищали, пытались высвободиться, падали, заляпывали крылья, - и вот уже лежали, все в черных отрепьях, беспомощно глядя перед собой, не в силах даже раскрыть прилипший клюв. Потом мы вытащили их, - я и соседка, и мой друг. Замазались сами, и соседка ругалась, а друг плакал от жалости. Дома мы попытались отчистить цыплят, рвали перья на них, болезненных и жалких, но они всё равно передохли...

Я подумал, что умру, и не испугался.

«Усталость выше смерти» - подумал я, и мысль моя мне показалась безмерно глубокой.

Время накатывалось на меня беспрестанно, перекатывалось через меня; я чувствовал себя то в прошлом, то в будущем. А потом я увидел себя распятой бабочкой, или каким-то нудным насекомым, засушенным, - и понял, что на меня смотрят.

Я открыл глаза и догадался, что пришёл в сознание несколько секунд назад, и всё, что я успел передумать, просто вспыхнуло в моём мозгу. Мои размышления длились пока звучал выстрел, - стрелял Саня, одиночными, прячась после выстрела за косяк окна.

Он взгляделся сквозь пыль в меня, и я почувствовал его сумасшедший взгляд.

- Это ты? - странно спросил он, впрочем, звучание вопросительного знака после «ты», затуманилось, и вопрос словно канул в воду. Я не стал отвечать на вопрос, потому что вопрос исчез.

Я закрыл глаза, под веками, порожденные оплавленным сознанием, ещё передвигались и высвечивались остатки видений, промелькнул цыпленок, еле таща замазанные гудроном крылья, несколько раз махнул, разгоняя пыль и вызывая приступ тошноты, хвост Дэзи. Я поспешил открыть глаза.

Плиты бойницы лежат на полу. Сверху на одной из плит, стоящей горизонтально, виднеются положенные Саней рожки.

Некоторое время я внимательно смотрю на локоть правой Саниной руки, который вздрагивает от каждого выстрела. В дальнем углу комнаты, находящемся вне поля моего зрения, стреляет кто-то ещё. Я двигаю зрачками с трудом, словно их притягивает, магнитит на дно глазниц.

Возле ног Скворца я вижу много песка, наверное, высыпался из упавших мешков, они лежат здесь же, распустив тугие, вязкие потроха, выказывая своё неслышно оползающее и осыпающееся нутро. Замечаю неподалеку от Сани чёрными комьями слипшийся песок, смотрю на эти комья, вижу хвост темной жидкости, ведущей от залежей песка куда-то ко мне, но куда именно я не вижу. Чтобы увидеть, я чуть двигаю головой, потом, морщась от боли и неприязни, - двигаю ещё, и, наконец, взгляд мой падает на лежащего рядом со мной, лицом вниз, парня, нашего бойца.

Течёт из-под него, и он умер. Не сомневаясь в этом, я всё же двигаю рукой и касаюсь его, неестественно вывернутых, скрюченных пальцев.

Ощувив холод, в одно мгновение поняв, что жижка под моей головой, тоже, наверное, его кровь, и подумав зло «Какого хуя меня положили рядом с трупом?», я рывком дёргаюсь и сажусь. Кажется, я вскрикиваю от боли, от того, что мозг жутко ёкнул, а в глаза плеснуло горячим, мутно-красным, медленно отёкшим.

Закрыв глаза, я скрипнул зубами, ощущая дурной, железный, кислый вкус во рту.

Трогаю свой затылок ладонью, в ужасе отдёргиваю руку, - кажется, что моя голова раскурочена, и кости, мягкие, поломанные кости черепа торчат во все стороны...

В ужасе, готовый завывать, кривлю лицо, морщу лоб, и только сейчас ощущаю, что у меня тряпка на голове, голова повязана, жёстко обкручена.

Смотрю на руку, она грязная. Вытираю о штанину.

- Егор! - это как будто Саня, его голос. Поднимаю глаза. Да, он, его лицо, редкую щетину замечаю, почему-то до сих пор ее не видел.

- Что со мной? - спрашиваю, трогаю себя руками, тряпку на голове, почему-то расстёгнутый ворот, грудь, живот, ляжки, колени, снова лицо...

- Из «граница» вклеили. Тебе, наверное, плитой по затылку... или кирпичом... попало. Я не видел. Я сначала подумал, что ты всё... Егор.

- Время... сколько? - спрашиваю.

Поняв, что руки и ноги мои целы, я вновь трогаю, касаясь любопытными и пугливыми пальцами, затылка.

- У тебя часы на руке, - говорит Саня.

Смотрю на часы и тут же забываю, что увидел. Стрелки, цифры, никакого значения, ничто не имеет никакого...

- Убили кого-то?

Саня называет имена двух пацанов.

- А где второй?

- В коридор я вынес, - говорит Саня.

Неправильные конструкции произносимого Саней, с трудом перемалываются у меня в голове.

- Ему... изуродовало его. Невозможно видеть, - говорит Саня.

Кто-то в углу продолжает стрелять одиночными. Очень редко, словно по мишеням.

- Это в голове шумит? - спрашиваю.

- Это ливень льёт... Весь овраг залило... Наводнение будет, наверное.

- Где мой автомат?

С закрытыми глазами застёгиваю разгрузку. Ещё раз вытираю ладонь о штанину. Вытаскиваю из кармана разгрузки пачку сигарет. Извлекаю сигареты одну за другой, - все поломанные. Саня кладёт мне на ноги автомат.

Опираясь на него, встаю. Бреду к бойницам. Качает и мутит. Съезжаю по стене вниз, сижу на корточках.

Прикуриваю мягкий обломок сигареты, без фильтра. Сразу чувствую сухие табачинки на языке. Сплёвываю их, затягиваюсь и снова сплёвываю.

Надо встать.

Ещё раз оглядываю комнату, стены... труп... белые, облупленные двери, они заперты. В крови, прилипшие, лежат россыпи гильз. Медленно, с усилием, снимаю автомат с предохранителя.

Кто-то стреляет в углу одиночными, чёрная шапочка на глаза, небритая скула, никак не различу, кто это. Стреляющий дёргается, я вижу, как рвётся материя на его колене, но почему на колене? Он падает на зад, тут же поднимается, хватая себя за ногу, но его толкает в плечо, в бок, его расстреливают...

Кто-то ломится в дверь, пиная по ней, никак не догадываясь, что она открывается в сторону коридора. И стреляет сквозь дверь.

Я выворачиваю автомат в сторону двери, я валюсь вместе с автоматом на пол, ничего не понимая, ни о чём не думая, просто стреляя по дверям, за которыми...

Двери дёргает, летят щепки. По ним стреляют с обеих сторон, мы и кто-то с той стороны. Совершенно глухой, я чувствую теменем, как звучит автомат над моей головой, Санькин автомат.

Одна из створок изуродованной двери открывается, и зависает на изуродованных пружинах в полуоткрытом состоянии...

«Сейчас гранату бросят! Сейчас к нам бросят гранату!»

Вывернувшись из-под Саниного автомата, ни на мгновение не переставая стрелять, я бегу вдоль стены к дверям, у дверей хватаю себя за карман разгрузки, где должна лежать граната, но ее там нет, нет ее там, нет...

Я пинаю дверь, по наитию поворачивая налево, а не направо. Если стрелявший в дверь стоит справа, он сейчас выстрелит мне в спину. Он стоит слева, с гранатой в руке. Если он, человек с черной бородой, вскидывающий в мою сторону автомат левой рукой, уже выдернул кольцо гранаты, которую зажал в правой, она сейчас взорвётся. Я стреляю ему в живот, заполняя живое человеческое тело свинчаткой. Он падает, я вижу в комьях грязи берцы, их подошвы, и гранату покотившуюся по коридору, и еще одного бородатого человека, выпрыгивающего из соседней комнаты.

Делаю шаг назад, и то место, где я только что стоял, простреливается, изничтожается.

Щёлкает спусковой механизм, - рожок моего автомата пуст.

Я слышу шаги, он идёт к нам, стреляя. Бежит к нам. Отсоединяю рожок, он падает на пол, подпрыгивая. Тянусь к запасным рожкам, - они в заднем кармане разгрузки, тянусь и знаю, что не успею, что сейчас человек вбежит и всё прекратится.

Саня, суетным, шальным движением кидает гранату в коридор, - так поправляют поленья в печке, боясь обжечься.

Человек, бегущий к нам, на долю секунды появляется в проёме дверей, поворачивая автомат в нашу сторону, на Саню, на меня, истощно нажимающего на безжизненный, холостой, вялый спусковой крючок автомата. За спиной пытающегося убить нас, с жутким звуком, похожим на скрип открываемой двери, взрывается граната, и его бросает вперёд, он исчезает, наверное, уже мёртвый, с разорванной, разодранной спиной.

Тяжёлый дух взрыва касается лица. Я живой.

Я сижу, - неосознанно присел, когда понял, что не успеваю присоединить рожки, - колени дали слабину. Быть может, это меня спасло, - кажется, бежавший к нам успел засадить в комнату очередь, но она прошла над моей головой. И над Саниной, - оборачиваясь, я вижу, что он тоже сидит на корточках.

Поднимаю свои рожки, два, перевязанные синей изолентой, и вижу, что один из них полон. Не нужно было бросать рожки, - надо было всего лишь перевернуть их. Меня могли убить из-за этой глупой ошибки. И Скворца...

- Саня, надо уходить, - говорю я, и встаю.

- погоди... - Саня бежит к парню, лежащему в углу.

Я выглядываю в коридор. В школе слышна пальба, но неясно внутри здания идёт бойня, или ещё нет. Откуда взялись эти, убитые нами, люди? Не вдвоём же они пробрались...

- Саня! - кричу я. - Ну что там? Что с ним?

Саня тербит лежащего, трогает его шею, веки.

- Пойдём! Мы вернёмся! - я не уверен в том, что говорю правду. - Саня!

Скворец нехотя встаёт, хватая с пола тряпье, кидает на лежащего, прикрывает его.

- Только до почивальни добежим и вернёмся! - обещаю я.

- Ты налево, я направо, - говорю в коридоре.

Ощетинившись стволами в разные стороны, бежим по коридору. В голове дурно ухаёт. Саня крутит башкой, я тупо смотрю в комнаты, расположенные справа. Где-то здесь был Монах с напарником, ещё несколько ребят было в другой стороне коридора. За поворотом коридора - «почивальня».

«Надо было запросить по рации „почивальню“... а то прибежим сейчас...»

«Вроде, здесь Монах», - думаю, чуть приостанавливаясь у закрытых дверей.

- Егор! - кричит Саня, увидев что-то.

Неведомым органом, быть может, затылочной костью догадываясь о том, что нужно сделать. Делая дурные прыжки, мы мчим к повороту коридора, запинаясь друг о друга, падаем, рискуя сломать ноги, но уже за поворотом. Вслед нам стреляют с другого конца коридора длинными очередями.

- Монах! - ору.

Не рискуя высунуться, и боясь стрелять, - вдруг из комнаты выбегут в

коридор свои, - кричу:

- Монах! Чеченцы в коридоре! Монах! Серёга!

Выдёргиваю из кармашка рацию, приближаю ее к губам, но не помню позывного Монаха.

- Монах! - кричу я в рацию, - Всем, кто меня слышит! В школе чеченцы! На втором этаже!

Саня показывает мне гранату, молча вопрошая: «кинуть»?

Киваю головой, не в состоянии ничего решить, быть может, руководимый только ужасом.

Саня с силой кидает гранату, мы слышим, как она падает и тут же взрывается. Кажется, кто-то кричит.

...Да, кричит. После взрыва слышен крик.

- Чеченец! - говорит Саня.

Крик раненого перемежается не русскими словами.

Слышу по рации несколько голосов. Не могу разобрать, - Семёныч, Столяр, Монах, все говорят одновременно. Но уже хорошо, что говорят, значит, мы с Саней не одни, в школе ещё кто-то есть.

Саня кидает ещё гранату в коридор.

- Монах, ты жив? - кричу я в рацию.

- Коридор свободный? - неожиданно ясно и близко раздаётся его голос в динамике.

Не глядя, даю очередь в коридор, высовываюсь, никого не вижу.

- Выходите! - говорю.

Почти сразу же вылетают из-за угла, сшибая нас, Монах и ещё один парень.

Вслед им стреляют, и парень бежавший за Монахом, выворачивает криво, и падает на пол лицом вниз. Я сразу вижу его раздырявленную в нескольких местах спину.

- Скворец! Будь здесь! - приказываю я, чувствуя дикую, непоправимую вину, что я всё делаю не так, что из-за меня гибнут пацаны, что я всё перепутал.

Мы хватаем раненого под руки и тащим его с Монахом к «почивальне».

Слышно как кто-то дурным голосом орёт в рацию:

- Пацаны, сдаёмся! Пацаны, сдавайтесь! Это я... Я скажу, скажу! Ай, бля, не надо! Идите, суки, на...

«Кого-то взяли в плен!» - понимаю я, и всё моё нутро дрожит и ноет, тщедушная моя душа готова сойти на нет, стать пылью...

Навстречу нам бегут из разных комнат Семёныч, Столяр, ещё кто-то.

- Там! - показываю на сидящего у стены, возле поворота коридора, Скворца.

Мы оставляем раненого у «почивальни», кто-то присаживается возле него, разрывая медицинский пакет.

«А ведь к посту Хасана сейчас могут сбоку подойти, из коридора, они, быть может, не ждут!» - думаю.

Бегу вниз.

Пацаны, - Плохиш, и Хасан, и Вася с разных позиций стреляют не в дверь, а в коридор первого этажа.

«Они уже здесь! Везде! По всей школе!»

Первый этаж залило водой. Грязная вода дрожит и колыхается. Беспреданно сыпется в нее с потолков труха и извёстка, - кажется, что в помещении идёт дождь.

Водой приподнимает и шевелит трупы, лежащие на полу. Кажется, что трупы покачиваясь, плывут...

- Сюда все! - кричит сверху Семёныч.

- Уходим! - кричу я пацанам.

Хасан, Плохиш, Вася срываются с мест, мы прыгаем через ступени.

Грохает, скрежеща взрыв - я слышу, как мешки, плиты и доски парты поста Хасана разлетаются в разные стороны.

Из «почивальни» вывалили грязные, сырые, чёрные, бессонные, безумные, похожие будто братья, пацаны.

Заглядываю внутрь «почивальни», нашего остывшего, выжженного порохом и гарью приюта, - валяются рюкзаки и одеяла, всё усыпано гильзами и грязным, в крови, песком. Из окна надуло сыростью, влагой. Гильзы перекатываются, и, кажется, издают легкий скрежещущий звук, словно собравшееся оплодотворяться жучьё. Впрочем, вряд ли я могу это услышать сейчас.

У разбитой, расхристанной, словно изнасилованной бойницы, стоит Андрияха-Конь, вросший в пулемёт, сросшийся с ним, почти бессмертный, беспреданно стреляющий, с тяжелыми, тяжело дрожащими от напряжения белыми, даже под налетом пыли, песка, сажи, - всё равно белыми и живыми руками. Единственный, оставшийся в «почивальне». Его зовут, он будто не слышит...

XII

Семёныч оставил Хасана и Плохиша держать выход на второй этаж. Им подтащили полную «эрдэшку» гранат. Они, не останавливаясь, кидают их вниз, в пролёт лестницы.

Бойцы толпятся в коридоре, злые, с воспалёнными, красными глазами, которые иногда накрывают чёрные, пыльные веки.

- Столяр! Егор! - это Куцый, - Посмотрите своих... Все здесь? Надо всех собрать! Будем уходить через овраг...

Всё прыгает перед глазами, всё дрожит, саднит, чадит, путается...

Кого сосчитать, кого?

Сколько было во взводе человек?

Я... Я здесь. Кто ещё? Скворец. Здесь Скворец. Скворец здесь. Здесь... Монах.

Смотрю вокруг, взгляд прыгает по лицам, по стенам, по спинам, как дурная, опалённая белка, насмерть напуганная, безумная...

«Монах, монах, монах, монах...» - повторяю я бездумно. Закрывая глаза на мгновенье, пытаюсь унять сумятицу, дурноту, бессмыслицу...

Открываю глаза, всё неизменно, всё вокруг неизменно, всё дрожит, гроыхает, хохочет, готовое провалиться в тартарары...

Хасан и Плохиш кидают гранаты, беспрестанно, упрямо. Мелькают пухлые руки Плохиша.

В другой стороне, у поворота коридора сидят несколько пацанов, тоже кидают гранаты, стреляют...

Мы стоим тяжело дышащей, дурноглазой толпой.

- Я ненавижу мою мать! Если бы она меня не родила, я бы не умер! - неожиданно выкрикивает кто-то рядом. Его то ли обнимают, то ли начинают душить, не вижу. Отворачиваюсь, - не знаю отчего, - брезгливо или боясь, что закричу сам...

Несколько раненых лежат на полу, двое или трое. Один силится встать. Один сидит у стены, закрыв глаза. Один лежит, кое-как забинтованный...

- Всем подготовиться! - кричит Семёныч несколько раз, надо же, его слышно...

Семёныч даёт знак Астахову, тот, - грязная тряпка на лице, закопченное лицо, кровь на шее, - спешит с трубой «граница» к повороту коридора.

Резко вывернувшись, он стреляет в коридор. Кажется, заряд бьёт где-то близко, в пол.

Астахов ругается, снаряжая «граник» ещё раз...

- Егор, сосчитал? - спрашивает меня Куцый, и вновь повторяет всем, не дождавшись моего ответа, которого и не могло быть, - Через овраг будем уходить, ребятки! Через овраг!

Я ещё раз смотрю вокруг, начинаю считать, несколько раз сбиваюсь, вычитаю Шею и Язву... Тельмана... Черткова... уехавшего Кизю... Кеша! Где Кеша? На чердаке, Кеша на чердаке. Снова сбиваюсь...

«Сейчас мы отсюда выйдем, и всё кончится! Господи, помилуй, господи! Прости меня, господи! Я больше никогда, никого, никогда!»

Астахов делает ещё один выстрел.

- Пошли! - ревёт Семёныч.

«Надо забежать за Кешой, надо забежать... Он давно не откликается по рации».

- Скворец! Будь со мной! - кричу я. - Надо Кешу забрать с чердака!

Тупой, бестолковой гурьбой бежим по коридору, куда только что вlepил два заряда Астахов, зачищая нам путь. Те, что бегут впереди - стреляют...

Посреди коридора сквозная дыра в полу, - первый выстрел Астахова разхерачил, проломил пол.

Дыру обегают, кто-то бросает туда, на первый этаж, гранату.

Заглядывают в комнаты, в нескольких лежат убитые наши пацаны.

- Егор! погоди! - зовёт меня Скворец. Он забегает в комнату, где я отлёживался прибитый кирпичом. Вбегаю за Саней.

Сплёвываю кислую, горькую, поганую слюну.

Это глупо, что Скворец пошёл к тому парню, раненому, которого он забрасывал тряпьем. Блядь, это глупо, Скворец! У парня нет лица, ему отстрелили на хуй всю башку, чего ты идёшь на него смотреть? чего ты хочешь увидеть? чего ты тянешь мне нервы? может, когда мы уходили, он уже был мёртвый?

Я молчу, глядя в спину Скворца. У меня дёргается веко.

Скворец разворачивается, идёт мимо меня, не видя меня.

Я хватаю его за грудь левой рукой, рывком прижимаю к стене.

- Саня! - ору я, - Мне на хер это не надо, понял? Так вышло! Чего ты сам не унёс его на шее? Так вышло!

Саня бьёт меня по руке, освобождаясь. Вырывается, уходит.

Подбегаю к окну, даю длинную очередь в густой, мутный, безвкусный дождь, в полумрак... Рожки пустые, выбрасываю их с силой на улицу.

Присоединяю, вытащив из разгрузки, полный рожок.

Выхожу в коридор. Иду туда, где толпятся сырые спины, грязные затылки, грязные руки, сжимающие горячие автоматы.

Несколько человек бестолково палят из автоматов вниз, в пролёт лестницы, пытаясь очистить проход, чтобы нам спуститься на первый этаж и вырваться в овраг, чтобы уйти отсюда, убежать.

Астахов бросает пустую «трубу» вниз, - у него больше нет зарядов.

- Патроны есть? - спрашивают у меня несколько человек.

Я не отвечаю, злой, пустой, никчёмный, никакой, прохожу мимо.

Нет патронов, нет патронов, нет. Есть, но мало. Не дам.

Бегу по лестнице вверх, на чердак.

На чердаке полутьма, сырая затхлость. Кеша лежит спокойно, словно спит. На затылке его бугрится сукровица. Его убили выстрелом в лицо, - вижу я, присев рядом.

Забираю Кешино «весло». Кеша валится на бок. Иду, пригибаясь под балками к выходу, - у выхода меня ждёт Скворец. Ничего не говорю.

Где-то рядом грохает разрыв, нас подкидывает.

По нам бьют снизу, с первого этажа. Они нас не выпустят. Они нас всех здесь угробят.

Быстро, молча спрыгиваем вниз, не оставаться же здесь, на чердаке...

Видим, что нескольких наших парней, рванувших на первый этаж, сразу положили из пулемёта... Они скатились по лестнице, их, нелепо раскоряченных, убивают в сотый раз, стреляя и стреляя в мёртвые тела, которым больше не ведомо отчаянье, преисполняющее нас.

Все остальные толпятся на втором этаже.

Бросаю на пол ненужное мне «весло».

Прибежал Хасан:

- Семёныч! Три гранаты осталось! У Плохиша - три гранаты!

Стоим в коридоре, грязные, сырые, усталые, но не желающие смерти.

Смотрю на Семёныча.

Семёныч, ну выведи нас...

- Туда! - указывает Семёныч на большое, побитое окно - в пролёте между вторым и третьим этажами, - Некуда больше, ребятки!

Будем прыгать в овраг, в грязь и воду, заполнившую его, подошедшую в упор к школе...

- У кого гранаты остались? - орёт Семёныч.

Несколько парней выходят из толпы.

- Костя, - Куцый обращается к Столяру, - организуй! На первый этаж - «дымы»! И прикрытие, пока ребятки будут выбираться! Плотней огонь,

гранаты! Последний рывок, ребятки! Выйдем, родные!

Пацаны извлекают «дымы» из разгрузки, - длинные трубки, которые, расчавившись, должны спрятать нас от стреляющих в нас.

- Первыми кто пойдёт? - Семёныч оглядывает пацанов, указывает на близстоящих, на Диму Астахова, на дёрнувшегося от указующего пальца командира Аружева, - Как выпрыгните, ебашьте в дверь первого этажа! В запасный выход! Вася, Руслан, ясно?

Спустя несколько секунд на первый этаж летят «дымы» и следом - последние гранаты...

Столяр, сам Семёныч, Вася Лебедев, прыгая по ступеням, бегут к площадке, подскакивают к окну, лупят ногами, обивая стекло. Выпрыгивают первые, я не вижу, как они падают...

Хасан кричит на рацию, вызывая Плохиша.

Взглядываю на Саню, - ему даже не надо ничего объяснять.

- Хасан, мы сбегает! - говорю я Хасану, - Там ещё Конь.

Грохочем разбитыми, серыми берцами по коридору. У поворота чуть замедляемся, выглядываем. Плохиш присел на одно колено, держа в чуть отведенной назад левой руке гранату, без кольца, - напряженный, словно прислушивающийся.

- Плохиш, уходим! - кричу, подбегая.

Плохиш кидает гранату, берёт автомат.

- Чего, трап подогнали? - спрашивает.

Не понимаю, о чём он говорит.

Дав напоследок длинную очередь, Плохиш не очень спешно бежит по коридору.

- Ну, вы скоро? - орёт он, обернувшись.

Машу рукой, - иди, мол.

Вызванный Скворцом, Андрюха-Конь выходит из «почивальни», - почему-то с распухшим лицом, весь в глубоких, полных влагой, - то ли потом, то ли гноем, то ли кровью, - царапинах, с желтыми оскаленными зубами, раздражённый, словно никуда не собирался идти, словно он зверюга, зверина у которого отняли кровавый кус мяса или женщину, голую, розовую.

- Быстрее, Андрюха! - прошу я.

- Куда «быстрее»? - спрашивает он презрительно, - Напугались? Сдали школу?

Он поворачивается в ту сторону, откуда только что ушёл Плохиш, запускает длинную очередь.

- Пошли! - говорю я зло. - Там раненые, понял? Надо их выносить!

Иду по коридору, готовый перейти на бег, но Андрюха-Конь, идущий позади, не торопится, и это заставляет меня придерживать шаг, дико и дурно злиться на себя, на него. Я готов его убить.

- Быстрее, парни! - говорит Скворец, самый нормальный из нас, поспешающий впереди.

Андрюха-Конь разворачивается там, где коридор уходит вправо, даёт ещё одну очередь. Мы ждём его за углом, кривя злые лица.

Убежал бы, ей богу, если бы не Скворец.

- Ебать! - произносит Андрюха-Конь, выскакивая к нам, скорее раздражённый, чем испуганный, - Ублюдки!

Ему стреляют вслед. От стены, замыкающей коридор - видимой нам, отваливаются крупные куски побелки.

Чечены орут, и топают, бегут к нам, не переставая орать и стрелять.

Как дичь загоняют, как овец тупых и пугливых.

Мы бежим, я бегу, не оглядываясь на Андрюху-Коня, по херу на Андрюху, заколебал он, мать моя...

Саня с разлёту попадает в дыру, пробитую выстрелом Астахова в полу.

Саня, что ты натворил, Саня...

Готовый зарыдать, заорать, расколоться на глиняные черепки, останавливаюсь. На сотую долю секунды встречаемся глазами с Андрюхой-Конём, взгляд его словно намылен, - то ли бешен, то ли бессмыслен, но мы сразу понимаем, что и кто из нас будет делать.

Падаю на пол, выискивая взглядом Саню, и нахожу его, прижавшегося к стене спиной, сидящего на корточках в грязной воде, озирающегося по сторонам, и кажется, видящего людей готовых его убить.

- Саня! - ору я, и тяну вниз руку.

Андрюха-Конь, расставив ноги, стоит надо мной, полосуюя из пулемёта туда, где вот-вот... должны...

Саня, бросив автомат, подпрыгивает, цепляясь двумя руками за мою ладонь, за пальцы мои, за рукав, и я чувствую его цепкую, живучую, жаждущую силу. Но тут же эта сила исчезает, сходит на нет, и Саня, простреленный насквозь, разжимает свои пальцы, и я не в силах его удержать, и мне не за чем его держать...

На затылок, на спину мне падают тяжелые гильзы, выплёвываемые из ПКМа.

Внизу на первом этаже смеются люди, я слышу их смех.

- Сдохните, мрази! - ору я в пролом, - Мы всех вас выебем!

Кто-то снизу стреляет по потолку.

Мы бежим с Андрюхой-Конём, к своим, к выпадающим в окно, в грязь

и дождь пацанам.

Снизу, с первого этажа тянет дымом, сквозняком разгоняет слабую гарь по этажам, по коридорам.

На площадке несколько трупов, кровища, кишки, неестественно белые кости, куски мяса, - видно снизу вальнули из «граница» прямо в толпу. Кто-то визжит истошно, неумолчно.

Никто никого не прикрывает.

Семёныч, вся безумная рожа в крови, подгоняет оставшихся пацанов. Кажется, он рыдает, - у него голос, словно он рыдает...

Кто-то выпихивает раненых, те бестолково валятся за окно.

Андрюха-Конь остервенело смотрит на происходящее, пытаюсь понять, почему всё это происходит, почему все лезут в окно, зачем...

- Давай! - толкаю я Андрюху-Коня.

Кажется, он отвечает «я не вылезу», или - «я не полезу». Наверное, последнее.

Я ору на него, не понимая, что ору, возможно, вообще не произнося слов.

И рыдающий голос Семёныча...

Андрюха-Конь морщится, сплёвывает длинно, поправляет на плече ремень ПКМ, выворачивает на площадке, тяжело наступая на чьи-то внутренности.

- Я через дверь выйду, - сказанное я понимаю по его губам. Он сказал это для себя, ни для кого больше.

Семёныч не останавливает его.

Старичков толкает Филю, но пёс вырывается, не хочет прыгать. Старичков выпрыгивает один. Филя жалобно смотрит вниз, долго примеривается, прежде чем прыгнуть, но кто-то пинает его, и Филя, лязгнув зубами, выпадает.

Чтобы выпрыгнуть, надо присесть. Присаживаюсь. Перед глазами, - кривые, в чьей-то крови, зазубрины недосбитого стекла. Слева - берцы Семёныча, тяжело вдавленные в кровавую лужу, в ошмётья человечины, от которых, кажется, идёт пар...

Внизу, в воде под дождём лежат, никуда не бегут, никуда не плывут, пацаны, наваленные друг на друга.

Оглядываюсь, вижу спину и белые плечи Андрюхи-Коня, спускающегося по лестнице, стреляющего куда-то в дымную тьму, где слышен гадливый ор, и гортанный хохот. И ещё собачий визг, визг подстреленного пса.

Вылезаю, чувствуя теменем, хребтом оконный проём... выпадаю,

кувыркаюсь, с брызгами и чмоканьем падаю, не понимаю куда... на податливые, скользкие, сырые спины... сразу теряю автомат, кувыркаюсь ещё, прыгаю, отталкиваясь ногами, приземляясь на руки, как убогое млекопитающее, решившее стать рыбой... пытаюсь избавиться от скрюченных, белых и сырых пальцев, и спин, и оскаленных голов... с визгом дышу, и дождь бьёт в лицо, в глухое, слепое, обрастающее жабрами и теряющее веки, лицо...

Как много трупов!

Валюсь в воду, в надежде нырнуть, и плыть, невидимый, по дну оврага, подальше от «почивальни»...

Взбиваю руками ледяную воду и грязь. Сжимаю грязь в руках, скольжу ногами, толкаясь. Не получается, не получается уйти на дно. Здесь по колено воды. На дне чавкающая, обилившаяся почва, и ноги путают кусты и сучья.

Вязну, путаюсь в кустах, вязну. Путаюсь и вязну...

Как здесь передвигаться, боже!

Пытаюсь бежать по воде, ноги двигаются медленно, берцы засасывает, ничего не вижу вокруг, ничего не понимаю. Брызги, и дождь, и автоматный гам.

Глубже, тут чуть-чуть глубже, быть может, по пояс воды. Падаю, хлебаю грязь и воду, потому что дыхания нет, воздуха нет, легкие вывернуты наизнанку.

Вырываюсь из-под воды на свет, пытаюсь бежать, перед глазами прыгает, качается школа, и разбитое окно, из которого я только что выпрыгнул, и завал трупов под окном...

Чего? Куда я? Почему школа передо мной?

Разворачиваюсь, двигаюсь в другую сторону, тяну себя за кусты, сдирая кожу с ладоней. Резко уходит почва, - проклятая, гнилая, засасывающая почва, - уходит из под ног, валюсь в воду, бью всеми конечностями, ползу по дну, отталкиваюсь ногами, пытаюсь плыть...

Здесь глубоко, но плыть дико, дико, дико тяжело.

Скидываю разгрузку, крутюсь в воде, беспрестанно хлебая воду, кашляя, снова хлебая...

Плыву, толкаю по-лягушачьи себя ногами.

Нет сил, сил больше нет.

Ухнуло, - показалось, будто из-под воды вылетел некий радостный подводный дух.

Бьёт в лицо грязью, меня переворачивает, толкает в грудь, ухожу под воду.

«Меня не убили», - ясно стучит в голове.

...на одной ноге нет берца, голая ступня чувствует дно...

Лениво шевелю руками, мозг тяжело и сладко саднит, словно переполняя голову, готовый выплеснуться...

«А я ведь тону...»

Лениво, лениво, лениво...

Тяжелые веки, красное, тяжелое зарево под веками, и мозг тяжело и сладко саднит. Внутренности рывками, с каждым горловым спазмом, с каждой попыткой вдоха заполняются грязной, тяжелой водой... Вода тёплая. И выдохнуть нет сил.

Голая нога, пятка моя чувствует дно. Нет моего тела, тело растворилось, только живая белая пятка, и жилка на ней, мёрзнет...

Толкнись ногой!

Вылетаю на поверхность, с лаем хватаю воздух, плашмя бью руками по воде, разодранными, рваными, с изуродованными линиями жизни и судьбы, ладонями.

Вижу, я вижу человека.

Уйдя под воду, помню, что видел человека.

Стегающий по воде, тяжёлый дождь... Тяжелый дождь, стегающий по воде, тысячи тяжелых капель, - вижу, странно близко вижу. Только что видел грязную подводную тьму, а теперь - капли по воде.

- Егор! Плыви, Егор!

Двигаю руками, ногами, слушаюсь кого-то, кто тянет меня за шиворот.

Монах, это Монах.

Двигаю, дёргаю конечностями...

Вдыхая и выдыхая, лаю сипло, визгливо.

Бьюсь в падучей на воде, на грязи, долго, долго.

Дёргаю, дрыгаю...

- Егор, не лупи руками! Егор! Стой! Стой! Здесь мелко. Сиди.

Держась распахнутыми руками за кусты, сижу...

Рвёт, меня рвёт. Не в силах поднять глаза, равнодушный ко всему, - нет, не смотрю, - просто вижу, как в воду рывками изливается из меня дурная, густая жидкость.

Монаха тоже рвёт.

Нас колотит и рвёт...

Всё тело дрожит. Кусты, за которые держусь, гнутся и ломаются в руках, падаю на четвереньки, стою на четвереньках.

Изо рта изливается, с рыданием изливается изо рта рвота.

И длинная, неотрывная слюна висит на губе.

Дышать трудно. Внутренности мои, кажется, разорваны, все кишки перекручены...

Сажусь на зад, сморкаюсь грязью... Рука пляшет у лица, ледяная рука пляшет, дрожит, трясётся, чужая рука... протираю глаза.

Школы не видно, она на той стороне оврага, далеко...

Ничего не страшно. Кто бы не пришел, что бы не сделали с нами, - ничего не страшно.

Сидим по пояс в воде, нагнув головы, вцепившись в ляжки ледяными, скрученными, кровоточащими пальцами.

По спинам, по затылкам бьёт дождь.

Пытаюсь сплюнуть. С онемевшего, безвольного языка свисает слюна. Всё тело моё, онемевшее, сошедшее с ума, колотит, лишь под языком горячо...

Выстрелов уже не слышно. Темно...

Слюна сладкая...

Было не раннее сентябрьское утро, навстречу по тротуару шли алкоголики и молодые мамы с колясками; и те, и другие имеют обыкновение появляться на улице именно в это время.

Припухлые лица алкоголиков и молодых мам вызывали во мне нежность; лица пьяниц были иссини-серого цвета, лица женщин - бледно-розового.

Алкоголики топали деловито, им очень хотелось, чтобы все думали, что они идут на работу. Завидев меня, или какого-либо другого молодого человека, они всматривались в нас, определяя для себя, уместно ли позаимствовать у встречного несколько рублей, скажем, на хлеб.

Мамы смотрели вперед, старательно объезжая канавы и лужи, взгляд их был одновременно преисполненным смысла и отсутствующим - мне кажется, такой взгляд у Марии на иконах. Женщины тихо покачивали своими располневшими после родов бедрами, познавшими тяжесть плода.

В знакомом дворике, куда я бесхитростно свернул от алкоголика, намеревавшегося за счёт моего видимого благодушия обогатиться на пару монет, всё тот же, что и два месяца назад юноша носил ящики с овощами; в ящиках лежали огурцы.

Во дворе я увидел старых своих знакомых, колли: мальчика и девочку.

Отец был счастлив. Хозяева выпустили его из вольера, он вертелся во дворе, ища с кем бы поделиться прекрасным настроением.

В вольере, нежная и заботливая, суетилась мать, колли, вокруг нее дурили три щенка, два черных, один рыжий.

Мать давно оставила попытки собрать их вместе, и только изредка полаивала, не строго, но жалобно.

Почти обезумевший отец, казалось, не замечал семейных проблем, непослушанья детей, и мне, медленно подошедшему, улыбающемуся, немедленно поднес небольшую сухую палочку, вихляя даже не хвостом, а всем рыжим, пушистым, ласковым телом. Я принял палочку и под его восторженный взгляд откинул ее на несколько метров. Отец подпрыгнул, будто хотел ее поймать ещё в воздухе, и, касаясь земли тонким изящным мушкетерским носом, помчался искать; пролетел дальше, чем нужно, схватил другой, мало похожий сук и принес мне его, счастливо подрагивая всем телом.

- Вот где была твоя девочка! - радовался я вместе с ним, - Рожала она! - я ласково прихватил его за шиворот, приобнял пса, чувствуя ароматное роскошество его шерсти. - Домой ее увели, а ты тосковал, да? Ах, ты псинка моя...

Он снова сбегал за палочкой и принес ее; когда я выдернул сучок из его рта, на языке пса осталась черная, как мне показалось - сладкая весенняя грязь. Розовый язык его вяло и влажно колыхался, как флаг.

Дашу я дома не застал, и ничего не сказал ей.

«Сколько мы здесь сидим?...»

- Монах! Сколько мы здесь сидим?

- Не знаю... Пол часа... Или час...

У меня часы на руке, неожиданно чувствую я. Запястье левой руки чувствует браслет.

- Пойдём... На сушу...

Ноги тяжело ступают по грязи. Неудобно идти в одном берце... Снять?

Сажусь в воду, снимаю. Монах, стоя рядом, ждёт.

- Оружие есть? - спрашиваю я.

- Нет...

Встаю, смотрим вокруг, сырая темнота...

Пошёл легкий, мелкий, жёсткий снег.

Едва выговаривая буквы, спрашиваю:

- Школа там? - и указываю.

- Нет, вроде вот там...

- Значит, дорога - в той стороне.

- Ночью пойдём? - спрашивает Монах. - Может, до утра?...

- Мы сдохнем в этой луже до утра...

Внутренний жар спадает, и пот, смешавшийся с грязью, начинает

леденеть на слабом ветру.

Шлёпая ногами, выходим из воды, ссутулившиеся, мёрзлые...

Поднимаемся, цепляясь за кусты, из оврага. Несколько раз падаем. Помогаем друг другу встать.

Чувствую свои ноги до коленей, ниже - обмёрзшие колтуны.

Выбравшись, вглядываемся в темень. Где-то стреляют...

Долбят зубы, невозможно удержать челюсти... Трясутся руки, плечи, ноги.

Я не в состоянии расстегнуть ширинку, чтобы помочиться, - рука всё-таки стала клешнёй, я орыбился, стал рыбой с пустыми, белыми глазами, с белым животом, как хотел того...

Мочусь в штаны, чувствуя блаженство - горячая, парная жидкость сладко ошпаривает, на несколько мгновений согревает там, где течёт, кожу.

Пляшут челюсти...

Губы, щёки стянула грязная корка, даже снег ее не размывает. Я не в состоянии двинуть ни одной мышцей лица.

- Чего? - спрашивает Монах.

Я ничего не говорил.

Быть может, в горле клокочет от холода.

Не в силах ничего ответить, молчу.

Мозг, кажется, тоже обмёрз, он не в состоянии повиноваться.

Хоть бы нас взяли в плен. У костра бы положили, перед тем как зарезать...

Я прямо в костер бы ноги протянул...

Так хочется жара, обжигающего жара на тело. Кажется, счастливо бы принял прикосновение раскалённого, красного, мерцающего железа.

Бредём, почти бессмысленно, бредём...

Воды почти везде по щиколотку. Иногда проваливаемся, в наполненные водой ямы. В сторону оврага текут обильные, грязные ручьи.

Надо шевелиться. Надо взмахнуть руками, присесть, разогнать застывающую, как слюда кровь. Но не гнутся ноги, и если я попробую присесть, они обломятся. И останутся, вдавленные в грязь, стоять два обрубка, с неровной, рваной линией надлома, ледяные изнутри, с обмороженной прослойкой мяса, и холодной костью.

- Егор! - губы у Монаха тоже пляшут, моё имя в его пристывших устах звучит, как наскоро слепленные четыре буквы: «е», «г», «г», «р».

Не отвечаю. Голова трясётся, ни один звук не склеивается с другим.

- Еггр! - ещё раз повторяет Монах, и ещё что-то говорит.

Медленно и неприязненно пережёвываю, как ледяное сало, его слова,

пытаюсь понять их.

«Там огонь», - он сказал...

Он сказал «там огонь». При чём «там» произнёс как «тм», а к слову «огонь» с большим трудом прилепил мягкий знак...

Несколько раз перекатив в голове произнесённое Монахом, догадываюсь поднять глаза, которые до сих пор равнодушно взирали вниз, тупо отмечая поочерёдное появление белых ног в поле зрения. Моих белых ног, облепленных шмотками беспрестанно обваливающейся вместе со стекающей водой и вновь прилипающей грязи. Поднимаю глаза, и вижу огонь.

- БТР горит, - неожиданно внятно произношу я.

Нелепо, но речевой аппарат сработал быстрее мозга, - произнеся фразу, я слушаю ее, будто ее сказал кто-то другой, и раздумываю, верно ли сказанное.

Да, это БТР, или разлитое вокруг него топливо горит... Слабо, еле-еле, но горит...

Идём по пустырю, по чавкающей земле, ленись обходить кусты, проламываясь сквозь них, к дороге, к огню, - не сговариваясь, ничего не ожидая, ни о чём не думая. Желая только тепла. Отгореть клешни, войти в огонь, стоять блаженно посреди него...

Медленно идём. Пытаюсь прибавить шаг. Скольжу, резко падаю на бок, чувствуя щекой грязь, и, вроде бы, налёт снежка на грязи... совсем невинный, свежий снежок, опавший только что...

Монах помогает подняться, - он просто подходит, и не в силах нагнуться ко мне, стоит рядом. Хватаю его за ногу, приподнимаюсь, перехватываюсь за твёрдую, безвольную и холодную руку Монаха, и он делает несколько шагов вбок, таща меня. Встаю... Бредём, спотыкаясь дальше...

- Люди, - говорит Монах.

Мы видим: у дороги лежат люди, в военных одеяниях.

«Может быть, они оборону заняли? БТР подбили, и они заняли оборону? Сейчас застрелят нас...»

Пытаюсь поднять руки, но не удаётся. Может быть, они сейчас крикнут нам, окликнут... Прежде, чем стрелять.

Подходим ближе...

Они мёртвые, все мёртвые лежат, в тяжёлых и тёмных лужах. Некоторые изуродованы. Иные обгоревшие.

Проходим мимо, к огню.

Метрах в ста пятидесяти на дороге вижу ещё один БТР, тоже

подбитый...

Надо поднять автоматы валяющиеся. Сейчас возьму...

Я вхожу прямо в тихо пылающую жидкость, в слабый, догорающий огонь, ловящий снежинки. В их соприкосновении, огня и снежинок, есть некая нежность. Монах толкает меня плечом, выгоняя из огня, мы едва не падаем. Сажусь на корточки у БТРа, позади его, рядом чадит догорающее колесо... Я тяну к нему ладони, их овеивает дым. Готов обнять это колесо, прилепиться к жженой резине. Чувствую жестокую ломоту в ногах и руках, касающихся тепла.

- На, одень, - Монах кидает к моим ногам два ботинка. Снял с кого-то.

Валю ботинки на бок, встаю на них, - чтобы ноги не стояли на земле. Надевать берцы нет сил, - на обляпанные грязью культы их не натянешь.

Не дышу, и глаза закрываю от дыма, зажмуриваюсь. И кажется, что безболно лопаются щеки, но это всего лишь грязь на щеках, корочка грязи...

«А ведь колонну недавно разбили...» - понимаю я.

Неподалёку, метрах в ста или ста пятидесяти раздаются выстрелы, автоматные очереди.

Монах садится рядом. Чувствую задевающее меня, дрожащее плечо Монаха.

- Автоматы надо взять, - деревянно произношу я.

Слышу стон. Кто-то стонет.

Стучат, выдавая неритмичную дробь, челюсти Монаха.

- Тихо! - говорю, сжимая и свои лязгающие челюсти.

И шаги. И вроде бы русская речь.

Я поднимаю, закидываю назад, ударившись о борт БТРа, голову, прислушиваясь. Надо мной звёзды, и снег. Снег падает на глаза.

Почему-то сидим, не встаём, не стремимся к своим...

- Эй, братки! - зовёт кто-то надрывно и тошно, - Братки, помогите!

Это не нам, это тем, кто идёт, разговаривая...

Монах порывается встать.

Но резко, оглушая притихший мозг, раздаются выстрелы: близко, здесь возле БТРа.

Смех, и негромкий, словно захлёбывающийся голос, и слова, масляные, разноцветные, как винегрет, какие-то «хлопцы», какие-то «чи!... сгасав...»

Кто-то выёбывается, косит под хохлов?

Разум оживает, мысли начинают прыгать, как напуганный выводок лягушек, - каждая в свою сторону, в мутную воду.

«Да это настоящие хохлы, никто не выёбывается... Раненых убивают».

Ещё ничего не успеваю не решить, не придумать, когда передо мной возникают две ноги, мощный берец в двух десятках сантиметров от моей несчастной стопы, заляпанной грязью... и бушлат, небрежно расстёгнутый, и рука в перчатке с отрубленными пальцами... из перчатки торчат пухлые, с длинными грязными ногтями...

Человек стоит к нам левым боком, глядя по сторонам. В правой руке, - автомат, он небрежно держит его за рукоятку. Только что из этого автомата...

Меня вскидывает легко, словно разрядом. Клешня моя смыкается не на горле, - на кадыке резко обернувшегося ко мне человека, и я тяну этот кадык на себя, и другая моя рука лезет в глаза ему, сразу в оба глаза, выщипывая их, выковыривая...

Стреляет автомат возле ноги, - он нажал на спусковой крючок... но я уже сижу на нём, на груди его, - мы упали... и я рву, пытаюсь порвать лицо человека, словно оно резиновое... словно это тушка курицы, - курицы уже лишённой перьев, но ещё почему-то живой, пускающей кровь и курлыкающей.

Ухо! Моё ухо отрывают! Тянет за ухо чья-то рука, скребя пальцами по черепу, собирая мою кожу под длинными ногтями...

Лежащий подо мной человек крикает, хекает, и слабнет.

Ещё несколько секунд держу его. Правая моя рука ещё лежит на горле, пальцы судорожно, насмерть сведены на так и не вырванном, твёрдом кадыке. Левая рука, четырьмя пальцами в его полном крови рту, между пальцами что-то мягкое и тёплое, словно рука опущена в свежее коровье дермо... Большой палец вдавлен, воткнут в щёку снаружи.

- Слазь! - говорит Монах, - Надо уходить.

Я оборачиваюсь, он сидит у меня за спиной с окровавленным ножом в руке.

Озираюсь. Рядом, лицом вниз, лежит ещё один труп, - человек, зарезанный Монахом в спину. Я даже не видел, что хохлов было двое.

Брезгливо извлекаю руки, слезаю с человека...

Брюхо его проткнуто. Это Монах его зарезал.

- Надо уходить, - повторяет Монах, глаза его раскрыты широко, торчит квадратный кадык, и даже дрожать он перестал.

- Автоматы! - говорю я.

Пока Монах поднимает стволы, я вытираю грязные ноги о бушлат прирезанного, пускающего тихую кровь. У него в грудном кармане рация, лопочет что-то. Зачем-то беру ее, сую в карман.

Тянусь за берцами, вижу скрюченные, окровавленные пальцы своих рук.

Влезаю в ботинки, грязные обледенелые лапы с трудом всовываю. Монах торопит меня.

- Ни хуя больше не будет... - отвечаю, сам не зная, какой смысл вкладываю в свои слова.

Монах подаёт мне автомат, когда я поднимаюсь.

- Подожди, - говорю, отстраняя ствол, - Помоги.

Снимаем бушлат с изуродованного мной и Монахом хохла. Словно пьяного раздеваем, - корявые руки его торчат в разные стороны, не слушаются, мешают. Сдираю с себя куртку «комка», сырой, одеревеневший тельник. Обряжаюсь в бушлат, чувствуя голым телом тёпленькое ещё нутро его. Монах суёт мне автомат, снова торопит.

- Брюки бы ещё переодеть... Яиц не чувствую, - говорю.

- Пойдем, Егор.

«А чего уходить? Их так легко убить... И теплей стало».

Задерживаюсь возле лежащих у дороги, - Монах уже сбежал вниз, на обочину.

- Монах, а это ведь наши «собры»... Которые в школу приезжали.

Там чьи-то ноги обгоревшие торчали из БТРа. Может, это Кизя?

Бежим по пустырю, разбрызгивая тяжелые, глубокие лужи, разбрасывая из-под ног комья грязи.

«Куда? К зданиям? В овраг? Куда?»

Бежим, просто подальше от дороги, вниз, обгоняя стекающие в овраг ручьи. Никто не стреляет. Почему никто не стреляет?...

Луна трясётся, отчетливая и близкая. Из Святого Спаса ее тоже видно, такую же.

Влетаем в яму, - и сразу чуть по пояс в воде. Вылезаем... Опять обдаёт холодом.

Еле таща ноги, прёмся куда-то, меся грязь...

Останавливаемся у кустарника, дышим.

«Надо бы в воду залезть, обратно в овраг спуститься... Не полезут чичи в воду. Забраться там в кусты, сидеть жопой в воде... Холодно, но зато выживем...

...А утром приедет дед Мазай и заберет нас...

...Стволы зачем-то взяли... Чтобы с ними бегать, что ли? Туда-сюда по полю...

...Иди воюй, если хочешь...

...А мне всё равно...»

Но, нет, мне не всё равно, - что-то внутри, самая последняя жилка, где-нибудь бог знает где, у пятки, голубенькая, ещё хочет жизни.

- Эй!

Нас дёргает с Монахом, приседаем, разом остановив дыхание. Топорщим стволы в сторону оклика.

- Кто? - спрашиваю зло, предрешённо, держа палец на спусковом.

- Ташевский, ты?

Встаём... Кажется, Монах тоже улыбается.

- Хасан? Хасан, ты что ли?

- Я, я... Не ори.

Идём, шлепая по воде, навстречу друг другу.

Со стороны дороги раздаётся очередь. Пригибаем головы, словно это поможет, и всё равно идём.

«Бля, а рация? - вдруг вспоминаю, - Где рация? Выронил, наверное, когда бежал...»

Подходим в упор друг к другу. Ба, тут ещё и Вася. И Плохиш!

У всех троих автоматы, отмечаю я.

- Вот, блаженная троица... - произношу, имея в виду их, парней.

- На дорогу, что ли, ходили? - спрашивает Хасан.

Парни тоже трясутся от холода. Но впятером веселей трястись... Как славно впятером трястись.

- БТРы горят. «Собров» положили... - отвечаю.

- Я знаю. Больше никого не видели?

- Нет. А вы?

- Там ещё четыре человека, - говорит Вася, кивая неопределенно мелко дрожащей головой.

Идём куда-то, в темноту. Входим всё глубже и глубже в воду. Плохиш матерится, и мне радостно это слышать, голос его.

- Кто ещё? Кто жив? - спрашиваю.

Кажется, меня от счастья трясёт, а не от холода.

- Семёныч жив, - говорят мне. И ещё называют имена.

- Мы к школе пробовали сходить... может, раненые остались. Обстреляли нас... - говорит мне Вася. - Они гранаты кидают под окна... туда, где мы убегали... там наших человек тридцать осталось...

Чавкаем ногами, подняв автоматы над головами.

- Чего будем делать? - спрашиваю.

Никто не успевает мне ответить, - вспыхивает ракета, висит в воздухе. Вдруг вижу школу, - стоит в метрах трёхстах от нас, чёрная.

«Из школы ракеты запускают, собаки», - понимаю мгновенно.

- В воду! - приказывает Хасан.

Разом присаживаемся, пригибаем головы к воде, корябаем пальцами левых рук за дно (в правых - автоматы), цепляемся за осклизлые коряжки.

Сразу раздаётся стрельба, но куда-то в сторону стреляют.

Ракета гаснет, - вижу по отражению в воде.

Встаём, вновь бредём, не взирая на стрельбу. Вода по грудь...

На кустистом возвышении, - островком его не назовёшь, оно тоже в воде, но воды там по колено, а где и по щиколотку, - сидят наши... В кустах.

Кому-то, - тяжело раненому, - накидали веток, деревце сломленное разложили, - получилась лежанка, сырая, ребристая, но всё не в воде лежать.

В наши лица вглядываются, нас называют по именам, и мы называем оставшихся по именам. Голоса хриплые сдавленно звучат, произносящие русские имена.

XIII

Дымящимся ледяным утром, когда танки начали бить по школе, она была уже пуста.

Мы, очумевшие за ночь, потерявшие рассудок от холода, едва рассвело, побрели куда-то, не способные ни к чему, тупые...

Но по школе начали стрелять с дороги, и мы остановились.

Стояли по пояс в воде, глядя на школу, кривили рты, издававшие сиплые звуки. А школа была пуста. Там уже убили почти всех, кто приехал сюда за тем, что бы умереть. Мы, оставшиеся, стояли, с обожженными лицами, с обледеневшими ресницами, с больным мозгом, с пьяным зрением, с изуродованными лёгкими, испытывшими долгий шок...

...вышли к дороге и нас подобрала, недоверчиво глядя на нас.

Горелый, чёрный асфальт растрескался, как сохлый хлеб, когда мы взошли на него. Мимо летела ласточка, и коснулась крылом моего лица.

«Мир будет».

В комендатуре мы обмылись тёплой водой. Вяло плескались, - голые, худые мужчины, - касаясь друг друга холодными ногами, усталыми и ослабевшими руками, осклизлыми спинами.

Под ногтями, в густой, чёрной окаёмке, собралась овражная слизь и грязь, и кора древесная, и, наверное, Санина кожа, содранная, когда я цеплялся за него, и кожа того, зарезанного...

Болели разодранные ладони, тяжело ныло надорванное ухо, туманно и тошно саднило пробитую голову.

Переоделись.

Нас поили чаем, и водкой, и кормили. Мы лязгали зубами, глотая пищу и скрябали ложками о дно банок. Пили и никак не могли разогреться, развеселиться. И кашляли долго, нудно, истошно. И редко смотрели друг другу в глаза.

Появился деловитый чин, знакомое лицо, обросшее бородой. Ну да, Чёрная метка... Увёл Семёныча.

Через час мы поехали к школе, приодетые в тёплое, отстрелявшие своё бойцы, недобитки расформированного отряда...

Несколько сапёров с нами, солдатики.

Ходили молча по коридорам, искали что-то.

Никого уже не было в коридорах, ни Скворца, ни Кеши, ни Андрюхи-

Коня, никого...

В овраге, возле школы, выставив локти и колени, и разбитые головы лежали неузнаваемые, неузнаваемое...

Трупы своих чеченцы забрали.

Плохиш раздобыл под досками своей порушенной кухоньки бутылку водки. В «почивальне» стоял и пил ее один, из горла...

- Меня ведь никто не ждёт. А я приеду, - сказал Плохиш.

«А они нет» - вот что хотел он сказать.

Сапёры сняли несколько растяжек на лестницах, и в «почивальне».

- Качели посмотрите... - попросил я сапёров.

Они накинули верёвку на качели, потянули, - и стульчик для качания улетел к воротам, покорёженный. Я, стоявший в грязном коридоре, в воде, дёрнулся от звука взрыва, и потерял сознание...

Били по щекам, плескали водой на лицо...

«Даша» - подумал я. Имя прозвучало во мне близко и тепло, как удар сердца.

...Снова пили, приехав в Ханкалу, и наш куратор обещал нам ордена. Вася послал его на хуй, и куратор ушёл, и больше не приходил.

Пьяных нас отвезли в Моздок. Ехали с колонной, в одной из машин, в кузове.

Кто-то блевал за борт.

При выезде из Чечни, парни вылезли из машины, и расстреляли знак, на котором так и было написано «Чечня». Всем почему-то казалось, что если по нему долго стрелять, то он упадёт. Но пули лязгали, а знак не падал. Тогда его выкорчевали и бросили, не смотря на то, что откуда-то взялся целый полковник и толкал нас, и орал матом на Семёныча.

Семёнычу же было всё равно, - Хасан сказал, что они с Чёрной меткой выбили на нас, на побитый отряд деньги, много денег. И Семёныч зажал себе треть, и Чёрная метка треть. А остальные, быть может, отдадут нам. Но, может, и не отдадут.

- А ты хули хотел? - сказал Хасан, хотя я ничего не хотел, и ничего не говорил, - Помнишь, он нас гонял по ночному Грозному? От этого задания спецы из ФСБ отказывались...

- Галимый кандец светил, - вставил кто-то.

- Семёныч сам напросился тогда... - закончил Хасан, и потом ещё что-то говорил.

Монах непослушно и непонимающе тряс головой, словно поражённый какой-то дурной болезнью. Он не слышал и не слушал никого.

В Моздоке парни уже протрезвели, и несколько часов лежали на

рюкзаках, глядя в небо так долго и так внимательно, как никогда в жизни, наверное, не смотрели. Если только в детстве?

В самолёт, вместе с нами, хмурыми, полезла пугливая, замурзанная псина.

Ее шуганули, она отбежала, а потом снова метнулась в развернутое нутро «борта», увиливая от пугающих и топающих ног.

- Куда! А! Ах, ты! - заорали пацаны, отчего-то развеселившись.

- Ну, давай сука, давай! - необыкновенно нежно зазвал ее к себе Вася, - Сука чеченская! В России кобели такие есть! Ого-го! Давай, милая...

В самолёте Хасан, что-то разыскивая в куртке камуфляжа, вытащил из кармана карты, - те самые, в которые мы играли, когда летели сюда. Карты отсырели, раздулись, стёрлись.

Подумал вяло, что в этом есть какой-то смысл, - карты... мы в них играли... в карты... когда летели сюда... Но в этом не было никакого смысла.

Я смотрел в потолок, поднявшегося в небо борта, и касался безвольной рукой псины, всё ещё боящейся нас. Бока ее, худые и грязные, дрожали.

«Вся тварь совокупно стенает и мучится донине» - выплыла в моей голове большая, как облако фраза.

Мне казалось, что я плачу и собаку обнимаю. Что шепчу «сученька моя, прости меня, сученька... пусть меня все простят... и ты, сученька моя...»

Мне так казалось. Но я не плакал, глядя сухими глазами в потолок. Ни у кого и ни за что не просил прощенья.